

ПИСАТЕЛИ О ПИСАТЕЛЯХ

МИХАИЛ ЛЕВИДОВ

ПУТЕШЕСТВИЕ в некоторые отдаленные страны МЫСЛИ И ЧУВСТВА ДЖОНАТАНА СВИФТА, сначала исследователя, а потом воина в нескольких сражениях

Annotation

Всем знакомы с детства «Путешествия Гулливера». И гораздо меньше знаком нам их автор – Джонатан Свифт, человек, публицист, политик, один из величайших умов своего времени. В книге Мих. Левидова он предстает перед нами со всеми своими надеждами и разочарованиями, окруженный сложными интригами, борьбой честолюбий и противоречий. Глубоко воссоздана в книге эпоха с ее спорами и страстями. Книга М. Левидова впервые вышла в 1939 году, была переиздана в 1964 году, высоко оценена читателями и специалистами.

Издание иллюстрировано. Адресовано широкому кругу читателей.

Михаил Юльевич Левидов
Путешествие в некоторые отдаленные страны мысли и чувства Джонатана Свифта, сначала исследователя, а потом воина в нескольких сражениях

Предисловие
Джонатан Свифт и его биограф

В самом деле, если мы разберем, что обычно понимается под счастьем как в отношении ума, так и в отношении чувств, то найдем, что все его свойства и признаки можно охватить следующим коротеньким определением: ***быть счастливым значит вечно находиться в состоянии человека, ловко околпаченного.***

Свифт. «Сказка бочки», разд. IX

Читатель будет, пожалуй, удивлен, каким образом я мог решиться изобразить наше племя в столь неприкрытом виде <…> должен чистосердечно признаться, что <…> я воспитал в себе глубокую ненависть ко всякой лжи и притворству, и ***истина*** *стала для меня столь любезной, что ради нее я решил пожертвовать всем.*

Свифт. «Путешествия Гулливера», ч. IV, гл. VIII

Книга, которая предлагается вниманию читателей, вышла в свет в 1939 году. Четверть века спустя, в 1964 году, она была напечатана вторично, и вот, еще почти через четверть века, перед нами ее третье издание.

На фоне стремительно развивающихся естественных наук гуманитарные знания выглядят порой консервативными. Это впечатление, однако, обманчиво. Накапливаются новые данные, рождаются новые концепции, а главное, движущееся время побуждает нас ставить перед нашим прошлым все новые вопросы. Меняемся мы сами, меняются и наши представления об истории. Что же побуждает в таком случае переиздавать книгу полустолетней давности, многое в которой принадлежит эпохе ее создания, а кое-что не могло не устареть? Ответить на такой вопрос можно одним словом – эта книга талантлива.

«Михаил Юльевич Левидов родился в 1891 году и был коренным москвичом, но молодость провел в провинции, сначала в Баку, где он окончил гимназию в 1907 году, а потом в Харькове, где получил высшее образование на юридическом факультете (1911). Юриспруденция быстро перестала его увлекать. Он обратился к литературе, и год начала первой мировой войны был годом его литературного дебюта.

Направление его литературной работы в предреволюционные годы определилось сразу. Молодой Мих. Левидов не был заражен ни шовинизмом, ни декадентством. Не случайно стал он печататься в горьковской «Летописи», единственном легальном органе оппозиции мракобесию в годы первой мировой войны.

С первых дней Великой Октябрьской социалистической революции Мих. Левидов стал работать в советской печати. Во время гражданской войны и интервенции, в 1918–1920 годах, Левидов заведовал иностранным отделом РОСТА и отделом печати Народного комиссариата по иностранным делам. В качестве корреспондента советской печати он много раз выезжал за границу, был в Лондоне, Гааге, Берлине. Левидов выступал как политический фельетонист в газетах «Правда», «Труд», «Рабочая газета», «Ленинградская правда», печатал статьи по вопросам культуры, литературы и театра в журналах, преподавал литературу в первом институте журналистики.

Еще до революции Мих. Левидов написал несколько рассказов. В конце 20-х годов его опять потянуло на «художественное». Он пробует свои силы в драматургии, пишет сценарии, но журналистская «текучка» не дает ему сосредоточиться на работе над художественными произведениями, пока в середине 1930-х годов он не принимается за книгу о Свифте. Летом 1939 года книга была издана «Советским писателем»«, – так излагает биографию М. Ю. Левидова в предисловии к изданию 1964 года А. А. Аникст. Выделим в этих скупых сведениях одно немаловажное обстоятельство. В литературу Левидов пришел через публицистику. Таким же, по существу, был путь и героя его главной книги.

Не боясь преувеличений, можно, думается, сказать, что Свифт стал первым великим политическим писателем в истории европейской цивилизации. Речь идет не о том, что ему довелось попробовать свои силы, впрочем, без особого успеха, на ниве государственной деятельности – здесь у него было немало предшественников от царя Давида до Мильтона – и не о том, что его произведения обильно уснащены злободневными намеками – задолго до Свифта Данте населил ад своими противниками, а

еще раньше Аристофан издевался над приверженцами военной партии во «Всадниках» и «Лисистрате». Важно другое. Самые глубинные сферы художественной и философской мысли Свифта были напрямую связаны с современной проблематикой. И в «Божественной комедии» и в пьесах Аристофана нетрудно выделить мощнейшие смысловые пласты, не имеющие отношения к политическим взглядам писателя. В «Путешествиях Гулливера» сделать это совершенно невозможно. Именно здесь, как верно почувствовал Левидов, узел, в который стягиваются многочисленные парадоксы Свифта, и именно отсюда этот узел надо распутывать.

Начнем с самого трудного.

На протяжении всей своей жизни Свифт многократно и настойчиво выступал против попыток отменить так называемый «Тест-акт», законоположение, по которому тот, кто претендовал на ту или иную государственную должность, должен был засвидетельствовать свою приверженность господствующей англиканской церкви. Если называть вещи своими именами, великий писатель выступал против принципов веротерпимости и свободы совести, за которые не одно столетие боролась литература. Разумеется, такую позицию необходимо объяснить.

Объяснений, впрочем, давалось немало. Говорилось, что Свифт должен был отстаивать интересы англиканской церкви, служителем которой он был, что борьба против «Тест-акта» была пропагандистским маневром партии вигов, заинтересованных в голосах богатых диссентеров – сторонников многочисленных протестантских сект, наконец, что Свифт опасался узколобого фанатизма диссентеров. Все это верно. И все же подлинные причины неожиданного, на взгляд современного человека, поведения писателя лежат глубже.

Как хорошо известно, Свифт полагал, что оптимальное государственное устройство обеспечивается равновесием между монархом, аристократией и народом, или, в британской политической терминологии XVIII века, королем, палатой лордов и палатой общин. Умаление роли любой из сторон треугольника чревато, по мнению Свифта, столкновением между двумя другими, которое, в свою очередь, приводит к тирании. Нас не интересуют сейчас ни глубина этой схемы, ни ее оригинальность. Важнее вглядеться в ее психологические и исторические предпосылки. Очевидно, что требование, чтобы различные политические силы служили друг для друга противовесом, основано на недоверии к каждой из этих сил, недоверии, порожденном вполне конкретным социальным опытом.

Мы нередко определяем Свифта как духовного сына героического семнадцатого века, вынужденного жить в прагматическом восемнадцатом.

Небесполезно, однако, помнить, какой представлялась Свифту недавняя история Англии: «Мой краткий исторический очерк нашей страны за последнее столетие поверг короля в крайнее недоумение. Он объявил, что, по его мнению, эта история есть не что иное, как куча заговоров, смут, убийств, избиений, революций и высылок, являющихся худшим результатом жадности, партийности, лицемерия, вероломства, жестокости, бешенства, безумия, ненависти, зависти, сластолюбия, злобы и честолюбия!» – резюмировал Гулливер свою беседу с королем Бробдингнега, выражающим в романе взгляды писателя.[1]

Коренной дублинец, Свифт хорошо знал, как незадолго до его рождения кромвелевские солдаты, выступавшие под знаменем религиозной свободы, залили кровью католическую Ирландию. Он помнил, как революция, казнившая короля, установила единоличную диктатуру лорда-протектора, которая в свою очередь сменилась террором времен реставрации Стюартов. Он видел ирландское восстание, сопровождавшееся истреблением выходцев из Англии, и подавление этого восстания, на долгие столетия опустошившее страну. На его глазах самые благородные лозунги оборачивались своей противоположностью, и Свифт не верил красивым словам и боялся их. У него было поистине безошибочное чутье на любые формы социальной демагогии: «У лилипутов существует обычай <…> если суд приговаривает кого-либо к жестокому наказанию, то император произносит в заседании государственного совета речь, изображающую его великое милосердие и доброту <…>. Речь немедленно оглашается по всей империи, и ничто так не устрашает народ, как эти панегирики императорскому милосердию; ибо установлено, что чем они пространнее и велеречивее, тем бесчеловечнее было наказание и невиннее жертва».

Особенно ненавистна Свифту была милитаристская демагогия. Ее разоблачению был посвящен один из центральных эпизодов его публицистической деятельности – кампания в печати в поддержку мира с Францией, переговоры о котором вело правительство тори. Заметим, что задача Свифта была далеко не простой. Британской армии во главе с герцогом Мальборо противостояла мрачная деспотия Людовика XIV, и в глазах многих соотечественников Свифта военные действия англичан, кстати, довольно успешные, выглядели битвой за свободу целого континента. Через полвека в романе «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена» Л. Стерн заставит своего героя, добрейшего, чудаковатого и простодушного дядюшку Тоби сетовать, что заключение мира лишило Англию да и всю Европу плодов блистательных побед британского

оружия. Свифт, однако, был менее всего похож на дядюшку Тоби. За высокопарной риторикой он угадывал циничный расчет:

«Если мы сейчас откажемся от Испании, то возникает вопрос, за что же мы сражались все это время? Ответ ясен. Мы сражались, чтобы принести общественные интересы в жертву частным лицам. Мы сражались ради богатства и великолепия одного семейства (речь идет о герцоге Мальборо и лорде-канцлере Годолфине, связанных родственными отношениями. – *А.З.*), ради доходов ростовщиков и биржевых спекулянтов, ради того, чтобы в угоду гибельным замыслам небольшой группки людей разрушить наше земледелие. Нация начинает думать, что эти благодеяния не стоят того, чтобы продолжать за них сражаться, и она требует мира».

Устойчивое отвращение Свифта к изощренной жестокости, бессмысленному кровопролитию, лжи и фальши – неизбежным спутникам войн, умножалось на конкретную оценку положения дел в стране. Война обогащала и усиливала рвущихся к власти буржуа-диссентеров и разоряла крупных и мелких землевладельцев, ожесточая их и побуждая к поддержке изгнанных Стюартов. С каждым днем она усиливала взаимное озлобление, обостряла политические, социальные и религиозные распри, подтачивала самые основы хрупкого еще порядка, угрожая вновь ввергнуть страну в пучину раздоров и анархии, за которыми, по Свифту, с неизбежностью следует деспотизм.

Мы можем теперь отчетливее понять позицию писателя в вопросе о «Тест-акте». Немаловажно, что условия этого законоположения, по существу, не требовали от кандидата на государственную должность перемены убеждений. Свою приверженность англиканской церкви испытуемый должен был подтвердить чисто формально. Очевидно, что религиозный индифферентизм, граничащий с беспринципностью, был для Свифта меньшим злом, чем одержимость. В одном из своих памфлетов он задавался вопросом, захотели ли бы диссентеры, будь их религия национальной, предоставить иноверцам право не то что занимать государственные должности, но хотя бы просто исповедовать собственную веру. С точки зрения писателя, представители религиозных меньшинств должны были пользоваться свободами, предоставленными им законом о веротерпимости, и не претендовать на большее. «Если требование перемены убеждений является правительственной тиранией, – говорит Гулливеру король Бробдингнега, – то дозволение открыто исповедовать мнения пагубные служит выражением слабости». Обе эти крайности казались Свифту одинаково опасными, ибо нарушали равновесие, а, по его мнению, лишь оно одно могло уберечь Англию от самого худшего.

Однако, как бы сильно Свифт ни боялся нового взрыва насилия и фанатизма, как он ни дорожил социальной устойчивостью, он не делался от этого ни на йоту благосклонней к существующим порядкам. Он готов был предпочесть грязную современность кровавому прошлому, но не мог и не хотел стать снисходительней к грязи. Отсюда беспощадность и безысходность его сатиры.

Вершина творчества Свифта – «Путешествие Гулливера», вершина «Путешествия…» – четвертая часть, пребывание героя среди гуигнгнмов и еху. Интересно, что по времени написания и по первоначальному замыслу эта часть предшествовала путешествию в Лапуту. Однако затем Свифт поменял третью и четвертую части местами. После увиденного Гулливером в стране лошадей никакие поездки для него больше невозможны. Здесь вершина и итог пути, и здесь же оселок, на котором проверяется любой почитатель Свифта. «Ужасной, постыдной, трусливой и кощунственной» назвал мораль «Путешествия в страну гуигнгнмов» Теккерей, который сам был суровым сатириком. И в этой оценке он далеко не одинок.

В нашем веке родилась новая точка зрения, принятая и советскими свифтоведами. Ее сторонники утверждают, что мизантропия Гулливера не отражает позиции Свифта. Писатель иронизирует над своим героем, спутавшим еху с человеком и принявшим гуигнгнмов за образец совершенства. Эта утешительная гипотеза существует уже около семи десятилетий, однако за все это время ее защитникам, среди которых были эрудированные и одаренные исследователи, так и не удалось найти сколько-нибудь убедительных аргументов. В самом деле, мир гуигнгнмов холоден и бесплотен, в нем нет места ни любви, ни даже родительской привязанности. Однако, чтобы делать из этого выводы о замысле писателя, необходимо иметь свидетельства того, что Свифт считал все эти чувства ценными и необходимыми. Увы, таких свидетельств у нас нет, зато противоположных в избытке.

Свифт вообще с недоверием относился к эмоциональной сфере человеческой жизни. Молодому священнику, «имеющему несчастье думать», что он обладает способностью возбуждать в прихожанах эмоции, писатель советовал пользоваться этой способностью «как можно реже и с предельной осторожностью». Он с сочувствием вспоминал некоего «великого человека», который на вопрос, не был ли он тронут проповедью, ответил: «Был, о чем я глубоко сожалею, ибо проповедник мой друг». В любом проявлении чувств Свифт видел фальшь или слепоту, и внутрисемейные отношения не составляли для него исключения.

«Надеюсь, что вы не мечтаете больше о восторгах и упоениях, которые всегда заканчивались и всегда будут заканчиваться со свадьбой, – наставлял Свифт молодую леди, выходившую замуж, – кроме того, ваша пара основана на благоразумии и взаимном доброжелательстве без малейшей примеси нелепой страсти, существующей только в пьесах и романах».

Описывая «исконные установления» Лилипутии, «не имеющие ничего общего с современной испорченностью нравов», Свифт с сочувствием излагал мысль о том, что «воспитание детей менее всего может быть доверено их родителям». В одном из частных писем писатель с нескрываемым раздражением сообщал своим корреспондентам, что фаворитка королевы вместо того, чтобы посвящать себя государственным делам, проводит время у постели умирающего сына. Несомненно, предельно рационализированный образ жизни гуигнгнмов, изгнавших любые проявления неконтролируемой эмоциональности, был глубоко привлекателен для автора «Путешествий Гулливера».

Возникает вопрос, почему же в таком случае Свифт населил свою утопию лошадьми, почему, описывая их быт и поведение «огуигнгнмившегося» Гулливера, он прибегает к деталям, которые невозможно не воспринимать иронически? Ответ можно найти в третьей части «Путешествий…». В Лагадо Гулливер посещает школу политических прожектеров, где застает «людей, совершенно рехнувшихся». «Эти несчастные, – продолжал Свифт, – предлагали способы убедить монархов выбирать себе фаворитов из людей умных, способных и добродетельных; научить министров считаться с общественным благом, награждать людей достойных, одаренных, оказавших обществу выдающиеся услуги; учить монархов познанию их истинных интересов, которые основаны на интересах их народов, поручать должности лицам, обладающим необходимыми качествами для того, чтобы занимать их, и множество других диких и невозможных фантазий, которые никогда еще не зарождались в головах людей здравомыслящих». Отличительная особенность Свифта-утописта состояла в том, что он не верил ни в какие утопии, и тем большую горечь вызывал у него мир, лишавший этой веры.

Общество, подобное обществу гуигнгнмов, не может существовать, ибо устроить свою жизнь на разумных началах способны разве что лошади, а не люди. Поэтому описание мыслящих лошадей – не переход от сатиры к утопии, но усиление и обострение сатиры. Свифт рисует свой идеал не для того, чтобы убедить в необходимости воплотить его в жизнь – это, с точки зрения писателя, было бы «дикой и невозможной фантазией», а для того,

чтобы еще отчетливей показать нелепость и абсурдность окружающей действительности. По сути дела, Гулливер попадает во время своего четвертого путешествия в царство разума, в ослепительном свете которого становится ясна сущность мира, где живут автор и читатели книги – мира одетых еху.

«Сидите тихо, будьте спокойны, не лезьте не в свои дела, сократите круг знакомств и не ждите от человека больше того, на что способно это существо, – с каждым днем вы будете все больше убеждаться, насколько верно мое описание еху, – поучал Свифт своего младшего друга Томаса Шеридана. – Вам надо обращаться с каждым человеком как с негодяем, не говоря ему этого, не бегая от него и не относясь к нему от этого сколько-нибудь хуже. Вот старая истина».

Последняя часть этой рекомендации особенно поразительна. И если между позициями Свифта и его героя есть заметное различие, то оно проявляется как раз здесь. Гулливер не смог вынести открытия, что он принадлежит к числу еху, и единственное, что ему осталось, это провести остаток жизни на конюшне среди «выродившихся гуигнгнмов». Свифт, сделав это открытие, продолжал жить и бороться. «И при всем том, говорю вам, что я вовсе не испытываю к человечеству ненависти, это vous autres[2] его ненавидит, потому что склонен считать людей животными разумными, и негодует, обманувшись в своих ожиданиях». В конце своих «Путешествий» Гулливер пишет, что ему «было бы гораздо легче примириться со всем родом еху», если бы не его гордость. Избавить человека от гордости, открыть ему глаза на его пороки и заблуждения и было целью книги.

Для второго издания «Путешествий…» Свифт подготовил «Письмо капитана Гулливера к своему родственнику Ричарду Симпсону», содержавшее забавное признание: «Уже шесть месяцев, как книга моя служит предостережением, а я не только не вижу, чтобы она положила конец всевозможным злоупотреблениям и порокам, – по крайней мере, на нашем маленьком острове, как я имел основание ожидать, – но и не слыхал, чтобы она произвела хоть одно действие, соответствующее моим намерениям. Я просил вас известить меня письмом, когда прекратятся партийные распри и интриги; судьи станут просвещенными и справедливыми, стряпчие честными, умеренными и приобретут хоть капельку здравого смысла <…> самки еху украсятся добродетелью, честью, правдивостью и здравым смыслом; будут основательно вычищены и выметены дворцы и министерские приемные; вознаграждены ум, заслуги и знание; все позорящие печатное слово в прозе или в стихах осуждены на

то, чтобы питаться только бумагой и утолять жажду чернилами. На эти и на тысячу других преобразований я твердо рассчитывал <…> ведь они прямо вытекали из наставлений, преподанных в моей книге. И должно признать, что семь месяцев – достаточный срок, чтобы избавиться от всех пороков и безрассудств, которым подвержены еху, если бы только они имели малейшее расположение к добродетели и мудрости».

Смеясь над наивностью Гулливера, читатели книги едва ли догадывались, что Свифт пародирует в этих строках самого себя. Года за три до того, как она была написана, он сообщал Чарлзу Форду: «Я закончил свои „Путешествия“ и теперь переписываю их начисто. Это превосходная вещь, и она здорово исправит мир»«. В этих словах можно увидеть сарказм. И все же, сколь бы трезво-безиллюзорен ни был взгляд Свифта, он рассчитывал переделать словом человеческую душу. На чем же были основаны эти надежды?

«Главная цель всех моих трудов – раздражать мир, а не развлекать его. <…> Я всегда ненавидел все нации, профессии и разного рода общества; вся моя любовь обращена к отдельным людям: ненавижу, например, породу законников, но люблю адвоката имярек и судью имярек; то же самое относится и к врачам (о собственной профессии говорить не стану), солдатам, англичанам, шотландцам, французам и прочим. Но, прежде всего, я ненавижу и презираю животное, именуемое человеком, хотя от всего сердца люблю Джона, Питера, Томаса и т. д.», – писал он А. Попу. Это жесткое противопоставление человека как частички толпы, клана, группы, племени или фракции и человека как личности многое объясняет в Свифте. Так, например, исследователи нередко поражались контрасту между легкостью, с которой Свифт перешел от побежденных вигов к пришедшим к власти тори, и его неколебимой верностью лидеру тори – Оксфорду, когда тот попал сначала в опалу, а потом и в тюрьму по обвинению в государственной измене. Для Свифта тут не было противоречия. Партийные разногласия не стоили в его глазах человеческих отношений. Он мог оставить проигравшую партию, но не оказавшегося в беде друга. Невысоко ставя человечество, он никогда не забывал о людях, заслуживающих восхищения и любви.

Во время своего третьего путешествия Гулливер получает возможность встретиться с великими мужами древности. Особенно «долгие беседы» заходят у него с Брутом, который сообщает неизвестному англичанину, «что его предок Юний, Сократ, Эпаминонд, Катон Младший, сэр Томас Мор и он сам всегда находятся вместе – секстумвират, к которому вся история человечества не в состоянии прибавить седьмого

члена».

Юний и Юлий Бруты, как и Катон, боролись с единовластием цезарей, Эпаминонд сверг господство олигархии, а Сократ пал жертвой единодушной воли демоса. К этому перечню героев античности Свифт добавляет имя лишь одного англичанина – Томаса Мора. Несомненно, что на автора «Путешествия в страну гуигнгнмов» оказала свое влияние моровская «Утопия» – описание идеального государства, расположенного, по прямому значению слова «утопия», в несуществующем месте. Однако несравнимо больше, чем литературное творчество, значила для Свифта личность Мора, блестящего мыслителя и удачливого политика, который в решающий момент жизни предпочел умереть на плахе, но не подчиниться деспоту. Характерно, что казнивший Мора Генрих VIII был основателем англиканской церкви, к которой принадлежал Свифт, а сам Мор был канонизирован ненавистным сатирику католицизмом. Тем не менее Свифт назвал короля «самым адским чудовищем из всех монархов, когда-либо правивших на земле», а философа – «человеком величайшей добродетели, рожденным этим королевством». Личные благородство и низость были в его глазах важней доктринальных соображений.

Опасаясь экзальтированности, фанатизма, нетерпимости, вспышек общественных страстей, Свифт тем не менее считал сопротивление беззаконию и произволу не только правом, но и долгом человека и нации: «Угнетение делает мудрого бешеным, – писал он, – и, следовательно, если некоторые еще не взбесились, значит им не хватает мудрости. Можно все же пожелать, чтобы угнетение преподало мудрость дуракам». Свифт имел право произнести эти слова, ибо у него достало мудрости дойти до бешенства, когда на его глазах угнетали целую страну.

Обстоятельства, вызвавшие к жизни «Письма Суконщика», до сих пор служат предметом дискуссий экономистов и историков. Неясно, действительно ли патент, разрешавший Вуду чеканить мелкую медную монету для Ирландии, заключал в себе серьезную угрозу экономике острова, или же Свифт использовал для своего выступления по существу малозначительный повод. Суть дела, однако, как ни странно, от этого не меняется. Кучка высокопоставленных аферистов вершила в Лондоне судьбы Ирландии. И чем зауряднее была в реальности сделка с Вудом, тем унизительней она от этого становилась.

«Логически всякое управление без согласия управляемых есть рабство, однако в действительности одиннадцать хорошо вооруженных людей непременно подчиняет себе одного человека, на котором нет ничего кроме рубашки. Но я кончил. Ибо те, кто применил силу для удушения

свободы, зашли так далеко, что их возмущает даже свобода выражать недовольство, хотя никто еще не слыхивал, чтобы человеку, подвергнутому пытке, отказано было в праве вопить так громко, как он сочтет нужным».

В этом рассуждении из четвертого письма Суконщика – весь Свифт. Здесь и апелляция к разуму и здравому смыслу, и шокирующе-ясное понимание существующего порядка вещей, к которому ни разум, ни здравый смысл не имеют никакого касательства, и холодная ярость, порожденная невозможностью ни изменить этот порядок вещей, ни примириться с ним. Свифт был, однако, не только голосом кричащей под пыткой страны, он вел себя как трезвый политик, который увидел возможность нанести наглой от безнаказанности силе хотя бы маленькое поражение.

Еще за четыре года до «Писем Суконщика» в «Предложении о всеобщем употреблении ирландской мануфактуры» Свифт призывал население Ирландии бойкотировать английские товары. Теперь он еще с большей энергией настаивал на бойкоте монеты Вуда. По существу, речь шла о кампании гражданского неповиновения, и Свифт с редкой дотошностью и наглядностью убеждал своих соотечественников, что они могут вполне законно не подчиниться беззаконию английских властей. Писатель был вполне искренен. Он действительно не призывал к бунту и в ужасе отшатнулся бы от такого призыва. Но убедить запуганных и доведенных до отчаяния людей в том, что они имеют право отстаивать свои интересы, было едва ли не трудней, чем взбунтовать их.

Отмена патента Вуда сделала Свифта национальным героем Ирландии, но не принесла ему удовлетворения. Он блестяще использовал представившийся ему шанс и не ждал другого. Через шесть лет писатель заверил нового английского наместника в Дублине, что тому нет причин его опасаться. «Рассматривая положение в этом королевстве как совершенно безнадежное, я не стану прописывать лекарство мертвому», – пояснил он свою позицию. Свифту не улыбалась перспектива доживать свой век кумиром «страны рабов», как неоднократно называл сатирик остров, на котором ему довелось родиться и умереть. А обманывать себя он не умел. Счастье «человека, ловко околпаченного», было для него решительно недоступно.

В герои главной книги своей жизни М. Левидов выбрал Свифта. Выбор этот стал для него великим испытанием и великой школой. Читатель этой книги увидит, как мужает от начала к концу, от первых глав

к последним перо автора, как обостряется зоркость его исторического видения. Особенно, как и следовало ожидать, удалась М. Левидову политическая проблематика.

Точно и проницательно описана деятельность Свифта времени его близости к кабинету тори. М. Левидов смог избежать подстерегавшего многих зарубежных и отечественных свифтоведов соблазна представить писателя в тот период мозговым центром правительства, вершителем судеб Европы. Несомненно, что в формировании общественного мнения в стране Свифт-публицист сыграл огромную роль, но его влияние на выработку государственной политики было по существу эфемерным. При всем своем выдающемся уме Свифт так и не осознал, что оказался орудием в руках властолюбивых политиканов, поставивших себе на службу его полемический дар. «Ворчливая нянька, которую не пускали дальше передней», – эти горькие слова М. Левидова как нельзя лучше отражают суть дела. Недаром главу, рассказывающую о наибольшем возвышении писателя, биограф называет «Свифт получает счет». Как показал М. Левидов, счет этот был сполна оплачен «Путешествиями Гулливера» и «Письмами Суконщика», о которых в книге тоже рассказывается достаточно подробно и убедительно.

Журналистский опыт, несомненно, помог автору выпукло и рельефно очертить характеры людей, среди которых приходилось действовать Свифту: Уолпола, Оксфорда, Болинброка, обстановку, окружавшую писателя. М. Левидов знал и любил Англию, и глава, описывающая Лондон времени Свифта, – безусловно, одна из лучших в книге.

Пожалуй, в меньшей степени удались Левидову фигуры современных Свифту литераторов. В предисловии к изданию «Свифта» 1964 года А. Аникст точно заметил, что биограф «несколько преувеличивает одиночество» своего героя. Это и понятно. Влюбленность в Свифта делает М. Левидова излишне строгим ко всем, кто мог бы хоть немного затенить эту трагическую фигуру. Так, талантливый и тонкий писатель, один из родоначальников европейской журналистики Джозеф Аддисон, назван в книге «ласковым себялюбцем», а замечательный поэт Александр Поп наделен «утонченной кокетливостью эстета, под которой таилось болезненное самолюбие горбуна». Несправедливость этих оценок бросается в глаза, и, пожалуй, биографу здесь стоило бы прислушаться к суждениям самого Свифта.

В разгар борьбы вокруг Утрехтского мира, случайно встретив Аддисона, убежденного вига, уже ставшего из близкого друга непримиримым политическим противником, Свифт, вовсе не склонный к

всепрощению, не без растерянности признался: «Что ни говори, а я все же не знаю никого, кто был бы мне хоть вполовину так приятен, как он». Что же касается Попа, с которым Свифт познакомился позднее, нежность к нему писатель пронес через всю жизнь. Лучше, чем кто-либо из его современников, Свифт сумел увидеть за блестящей язвительностью человека, измученного физическим уродством и хроническим нездоровьем, доброе и любящее сердце. Отношения Свифта и Попа – пример трогательной и бескорыстной дружбы двух крупнейших талантов эпохи, дружбы, которую не могли охладить ни два десятилетия разницы в возрасте, ни редкость встреч – со времени возвращения Свифта в 1714 году в Ирландию ему лишь дважды довелось побывать в Англии.

Явно переруган в книге и покровитель Свифта времен его юности Уильям Темпл. Из фактов, которые сообщает читателям М. Левидов, перед нами явственно встает образ проницательного и осторожного государственного деятеля, сумевшего в драматическое время сохранить свою репутацию незапятнанной. По сути дела, единственная его вина в том, что в критический момент он не решился поставить на карту свою голову и предпочел удалиться на покой. Разумеется, Уильям Темпл не был Томасом Мором, но он не был и «помпезным, чванным, надутым ничтожеством», как пишет М. Левидов.

Биограф Свифта не может обойти его личную драму, и М. Левидов касается ее достаточно тактично и деликатно. Гипотезам на эту тему поистине нет числа, и среди них версия М. Левидова вполне имеет право на существование. В 1981 году в серии «Литературные памятники» вышел «Дневник для Стеллы» – практически полный свод сохранившихся документов, раскрывающих отношения Свифта с обеими любившими его женщинами. Ознакомившись с этим томом, образцово составленным и прокомментированным А. Г. Нигером, интересующийся читатель сможет самостоятельно разобраться в истории Свифта, Стеллы и Ванессы. Выскажем лишь известные сомнения по поводу утверждения автора книги, что Свифт отказался от женитьбы на Стелле, по тому что отвергал институт брака. Деятель церкви, строго настаивавший на пунктуальном соблюдении принятых обрядов, записавший в своем дневнике, что недостаток веры надо скрывать, если его нельзя преодолеть, Свифт вряд ли стал бы осложнять жизнь себе и любимой женщине из-за нежелания подвергнуться совершенно безобидной процедуре.

Быть может, если бы М. Левидову довелось вернуться к «Свифту», он бы сумел исправить эти и другие промахи, подняться, благодаря своей незаурядной интуиции, над уровнем исторических знаний тридцатых

годов. Однако, как бы то ни было, недочеты затрагивают в основном второстепенные для книги аспекты. В главном она точна.

«Я собрал материалы для трактата, доказывающего ложность определения animal rationale,[3] и покажу, что человек всего лишь rationis capax. На этом великом фундаменте мизантропии <…> построено все здание моих «Путешествий…», и я не успокоюсь, пока все честные люди не будут придерживаться того же мнения», – развивал свою мысль Свифт в письме к Попу, фрагмент из которого нам уже приходилось цитировать. «Rationis capax» – способный быть разумным, по свифтовским критериям, это далеко не так мало, и писатель брался за перо, чтоб снять с человеческих глаз пелену предубеждения, самообмана, демагогии и помочь людям реализовать эту свою великую способность.

Сегодня едва ли найдутся читатели, готовые безоговорочно отвергнуть все, что Свифт считал ложью и, тем более, принять все, что казалось ему истиной, но самый пафос «ненависти ко всякой лжи и притворству» не устареет никогда. Именно этот пафос определяет для нас лицо Свифта-писателя, и именно о таком писателе была написана книга, которая начинается со следующей страницы.

Андрей Зорин



Пролог

Свифт пишет завещание

Не дай мне бог сойти с ума.

Пушкин

Иль думаете, я заплачу?
Нет, плакать я не буду,
хоть плакать есть о чем – но пусть
скорей на тысячи осколков
сердце разобьется!
Шут – схожу с ума я!

Шекспир



Дом велик и пуст. Человек одинок и стар.

– Ты еще не умираешь, старик? Разве не сыт ты этой жизнью?

Он улыбается своей непередаваемой улыбкой, в которой презрение, гнев, боль. Но презрения больше, чем гнева, и боли больше, чем презрения.

– А разве на моем долгом и трудном пути был я когда-нибудь к жизни

жаден?

Он встает со своего спокойного деканского кресла. Всегда казался он выше своего среднего роста, а теперь, при ужасающей худобе, он странно высок. Черная шелковая сутана с белым пятном четырехугольного жабо – непременной принадлежностью чинов англиканской церкви – висит на нем мешком; морщатся на костлявых ногах черные чулки. Но аккуратно расчесан и даже надушен длинный парик; гладко выбрито строгое, худое лицо; не видно морщин на могучем, высоком лбу, а одинокие его глаза, далекие и ясные, как холодно-голубое предутреннее небо, они все так же умеют пронизывать ледяным блеском.

Джонатан Свифт, декан собора св. Патрика в Дублине, семидесятитрехлетний, до сих пор упрямо не хочет носить очки. Одна из причуд старого Свифта? Да, но, как и прочие, она обоснована – свифтовским, впрочем, обоснованием. К старости он стал еще более дальнозорким, и теперь ему трудно читать без очков. Но между собой и миром поставить искусственные стекла, отказываться от естественного своего зрения. Именно в нем, в этом умении видеть дальше и глубже своих современников, был торжественный и печальный пафос его долгой и трудной жизни. Уменьшать свою дальнозоркость теперь – у конца пути – смешно и трусливо. Да и к чему? Чтобы прочитать еще несколько сот страниц, прибавив их ко многим сотням тысяч уже прочитанных? Чтоб написать еще несколько десятков страниц, прибавив их ко многим сотням уже написанных?

И в улыбке нет уже презрения – гнева – боли. Только – тихая ирония. Много прочитано, много написано. Он не уверен, должно ли ощутить человечество благодарность, но он уверен – благодарности не будет. Как он сказал когда-то умершему своему другу Джону Арбетноту в бэттоновской кофейне, или было это в кондитерской Уилла и беседовал он с другим своим умершим другом, Френсисом Эттербери, – боже, все они уже умерли, – на днях, не то забавляясь, не то издеваясь над собой, сделал он подсчет: около тридцати умерших своих друзей он насчитал – сверкали они молодостью, пенилась жизнь… Да, как он сказал?

– Человек лишь изредка возьмет у вас совет, но всегда возьмет у вас деньги; по-видимому, деньги приятней совета.

Кой-какие деньги роздал Свифт людям, но сколько советов! Капля денег в море советов…

Случайно ли это выходило, что почти всегда его советы воспринимались как шутки? Года два назад, когда еще не висела над ним нынешняя угроза – теперь он так остро ее чувствует, – года два назад, на

обеде с гостями, был подан сочный бифштекс. Взглянув на него, декан приказал позвать кухарку:

– Бифштекс пережарен, возьмите его на кухню и устройте, чтоб он был зажарен в меру!

Кухарка не обладала чувством юмора.

– Но ведь это невозможно, ваше преосвященство, – сказала она, заикаясь от испуга, – если б бифштекс был недожарен…

– Так вот, моя милая, если уж вам суждено делать ошибки, делайте такие, которые поддаются исправлению: сервируйте ваши бифштексы недожаренными!

Но он-то сам всегда сервировал свои блюда человечеству пережаренными, переперченными, со слишком большой дозой горчицы: не потому ли советы его всегда предпочитали воспринимать как шутки? А когда он ошибался, то непоправимо. Он был максималистом в своих ошибках. И эта основная ошибка его нынешних дней, ошибка, что так упорно тянется его ненужная жизнь, – как же ее исправить?

– Почему ты не умираешь, старик? Разве не видишь ты, что впереди?

Декан встал, как всегда, голова высоко поднята. Суровый, гордый облик, внушающий почтение, смешанное со страхом: Свифт к этому привык. Но кому же внушать сейчас почтение, смешанное со страхом? Не министрам, не знатным лордам и дамам, не литературным своим противникам – это все в прошлом… Пожалуй, только своей домоправительнице миссис Энн Риджуэй.

Он взглянул на свой портрет, висящий на стене, – 1711 года, кисти Джофри Неллера, знаменитого художника: какое сумрачное и властное лицо было у вас тогда, Джонатан Свифт…

За окном серенькое небо, вялые облака, мутный дождь – тусклая дублинская весна: сегодня третье мая 1740 года.

– Разве я не вижу, что впереди? Разве я не мужественен и не дальнозорок? Настолько мужественен, чтоб сказать – честно и тихо:

«Это нечестно!»

Он знает, что обречен на жестокие физические муки – ведь все чаще припадки страшных головокружений, все отвратительней приступы унизительной глухоты. Пусть так – он вынесет это. Он знает, что обречен на все усиливающуюся с каждым днем моральную муку бездонного одиночества. Пусть так, ведь это налог на долгую жизнь – он вынесет и это. Но когда с подлой хитростью предлагает ему судьба замечательный выход – продолжать жить, не чувствуя ни физических, ни моральных мук,

но и перестав быть не только Свифтом, но и человеком, – он не может не сказать тихо и честно:

«С этим нельзя примириться, это нельзя вынести, это нечестно».

И однако это будет. Зачем же обманывать себя? Уже давно, гуляя с другом, сказал он, указывая на могучий вяз, гордая вершина которого была уже мертва, высушенная солнцем:

– Вот так буду умирать и я, начиная с головы…

А недавно сидел он с одним дублинским священником в нижней гостиной. И только они встали, уходя, как обрушилось тяжелое зеркало, висевшее над их креслами.

– Какое счастье, что мы успели встать! – воскликнул испуганный священник.

– Что *вы* успели встать, – поправил его мрачно декан.

Шутки и причуды старого декана? Пусть думают так. Он-то знает, как обоснованы всегда его причуды, – правда, свифтовским обоснованием. И он не хочет подлого выхода, подсовываемого судьбой, он не хочет прятаться от моральных и физических мук в темной дыре слабоумия, сумасшествия, идиотизма. «Я не хочу умереть в этой проклятой дыре, как отравленная крыса!» – писал он десять лет назад своему другу Болинброку. Имел он тогда в виду Ирландию. И оказывается, в этой проклятой дыре приготовила ему судьба еще более унизительную смерть – смерть слабоумной крысы…

«Но ведь это несправедливо!»

И он ходит по обширной комнате, от стены к стене, он взбегает вверх по внутренней лестнице своего обширного и пустынного дома, он сбегает вниз. Он должен двигаться. Он еще бодр и может делать прогулки по восьми-десяти миль. Но угроза приступа головокружения, когда уходит земля из-под ног, когда не может его острый взгляд проникнуть сквозь зыбкую пелену тумана, выключающую его из мира, удерживает его в четырех стенах. А декан стыдлив, всю жизнь был настороженно стыдлив этот мощный человек, внушавший почтение, смешанное со страхом, – и не хочет он, когда начнется головокружение, цепляться за прохожих, за уличные столбы, не хочет внушать жалость к себе – безжалостному бойцу.

Но ходить он должен: шаги, движение заглушают мысли, а мысли слишком тяжелы.

Мысли? Это не мысли, а гвоздь в мозгу.

«Как это несправедливо!»

Всю жизнь воинствовать за права разума – и умереть умалишенным; всю жизнь воздвигать крепости мысли – для того чтобы покончить жизнь в

трясине слабоумия…

Книгу Иова, самую печальную и самую насмешливую из всех книг человечества, он читает – снова свифтовская причуда – каждый год в день своего рождения, 27 ноября. С печальным насмешником, автором этой книги, было бы о чем побеседовать декану собора св. Патрика. Недоумевает декан: лишить человека дома, виноградника, жены, детей, здоровья – и это все? И человек дерзновенно роптал и усомнился, и человечество уже тысячелетия твердит – как страшно испытание Иова… Что же скажут свидетели о судьбе человека, который сам пожертвовал всеми свойственными человеку радостями, оставив себе лишь одну – видеть и понимать… и приходит слепая судьба и у самого конца долгого и трудного пути сталкивает мужественного путника в темную яму.

Нет, он не Иов и не сдастся.

Еще выше поднял Джонатан Свифт свою непокорную голову.

Он не сдастся до конца.

Не знает еще Свифт, как близок конец. Не знает он, что через два месяца и двадцать три дня продиктует ему безмерное отчаяние жалобные строки предпоследнего его письма:

«Всю ночь я невыразимо страдал и сегодня ничего не слышу и охвачен болями. Я настолько отупел и потерял разум, что не могу объяснить, какие муки унижения переживает мой дух и тело. Все, что могу сказать, – я еще не в пытке агонии, но жду ее ежедневно и ежечасно. Прошу, сообщите мне о здоровье вашем и вашей семьи. Я едва понимаю то, что пишу. Я уверен, что дни мои сочтены, они должны быть недолги и жалки». Подпись – и приписка: «Если я не ошибаюсь, сегодня суббота июля 26 1740 года. Если я доживу до понедельника, то надеюсь, что вас увижу, вероятно, в последний раз».

А через полгода наступила агония: дни ее были жалки, но долги – до конца 1745 года…

Но сегодня, третьего мая 1740 года, в этот жалобный день тусклой дублинской весны, Свифт не сдается. И это он докажет – спокойным и мужественным делом.

Свифт щелкнул ключом, достал из железного ящика – хранилища бумаг – тщательно сложенный документ, сел к столу, просматривает его. Строгий, холодный порядок на столе, все на своем месте. Плотная серебряная подставка, на ней серебряная чернильница, бокальчик с песком и остро очинёнными перьями. Рядом стопка глянцевитой, толстой, белой, с ворсистым краем бумаги, импортированной из Франции – в Англии только-только научились делать белую бумагу. Тут же – черепаховая

табакерка, четырехугольная, инкрустированная золотом. Серебряный колокольчик. Печатка с изображением Пегаса. Тяжелые золотые часы с суточным ходом и открытым циферблатом: Свифт всегда должен точно знать время, иначе кажется ему, что оно остановилось, застыло и не сдвинется больше.

Все аккуратно на столе, ни пылинки. «Чистота и аккуратность – вот чего я требую раньше всего от своей жены», – писал Свифт сорок лет назад, в 1700 году, влюбленной в него девушке. Этого он требует и теперь, от своей домоправительницы Энн Риджуэй.

Декан ею доволен:

– Что же я ей завещаю?… Нет, подождите, миссис.

Читает очень внимательно документ. Рука протягивается к остро очинённому перу, тщательно стряхивает чернила – всю жизнь не любит он клякс, – кой-что вычеркивает, кой-что приписывает быстрым, настойчивым и властным своим почерком. Черновик завещания, составленный еще три года назад, уточняется, приобретает окончательную, последнюю свою форму.

Что же завещает миру Джонатан Свифт? О чем его последнее слово? Что противопоставит он страшной и жалкой участи, уготованной ему судьбой?

Но ведь он уже завещал, оставил потомству замечательное наследство! Ведь за спиной около пятидесяти лет литературного труда: от первых юношеских стихов и до последней работы – оставшейся незаконченной блестящей диссертации «Наставление слугам» – последняя могучая вспышка его гениального сарказма. Свифт умрет, но они-то живут и останутся жить – его двойники и маски: Исаак Бикерстаф, эсквайр, Лемюэль Гулливер, хирург, Исследователь, Суконщик, Журналист, Мастер Тоби, Мерлин Предсказатель, Англиканский Церковник, Мартин Скриблерус, Тоби Зеленая Шляпа, Тоби Розовая Шляпа… О них, о написанных ими томах прозы и стихов должен сказать Джонатан Свифт в последнем своем литературном произведении – первом и единственном подписанном именем Джонатана Свифта, – в своем завещании!

Как будто должен – но не говорит. Ни слова об этом в завещании.

Потомки и это сочтут капризом старого декана.

Свифт пожимает плечами: чего ж естественней…

Когда пишет свое завещание плотник или столяр, не говорит же он в нем об инструментах своего ремесла – о долоте и стамеске, сверле и рубанке, топоре и пиле? Они служили ему верно для работы, теперь работа кончена, инструменты лежат в углу: пусть тот, кому они нужны,

воспользуется ими.

А слава?

Знает Свифт: тому, кто всю жизнь – в поту, в изнеможении, в страхе и надежде – взбирался по лестнице славы, карабкался, одержимый тщеславием, вползал, уязвленный завистью, цеплялся и задыхался, тому, как дети родные, дороги даже камни и песчинки, из коих сложены ступени лестницы славы.

Не о славе думал Джонатан Свифт, когда вгрызался в зло мира, рубил, пилил, не любовался своей смертоносной стрелой, когда пускал ее во врага.

Знает Свифт, что его считают великим писателем. «Величайший гений века» – так назвал его Джозеф Аддисон еще в 1705 году. И лишь недавно, перечитывая «Сказку бочки», не мог он удержаться от наивного восклицания: «Боже, какой я гений был, когда писал эту книгу!»

Но тщеславиться этим? Свифт слишком горд, чтоб быть тщеславным. Всю жизнь писал, но ни славы, ни денег не добивался. За долгие эти годы лишь однажды получил он вознаграждение за литературный труд: двести фунтов за «Гулливера» – и то устроил это без ведома Свифта друг его, поэт Александр Поп; за свой перевод Гомера получил Поп шесть тысяч фунтов. Свифт нежно любит Попа, последнего оставшегося в живых друга, Свифт признает его поэтический дар; Попу – тому нужно было взбираться по лестнице славы, в этом состояло его жизненное дело. Свифт охотно поддерживал его на шатающихся ступеньках; пусть Поп и пишет в своем завещании о «Дунсиаде», о «Похищении локона», о переводах Гомера.

Закончено дело Свифта, дело труженика и бойца, – и в пыльный угол рабочие инструменты, изношенные маски, вонзившиеся стрелы. И в единственном документе, подписанном его именем, вспоминать об Исааке Бикерстафе, Лемюэле Гулливере и Мастере Тоби? Нет, не нужно. Не хочет он признавать самостоятельную ценность тех орудий, коими случайно пользовался мастер Свифт.

Но о себе самом, о мастере, о смысле и цели своего жизненного труда он скажет потомству. Несколько слов, скупых, коротких.

Сначала предпослать документу окончательную и решающую формулу:

«Нижеследующее – моя последняя воля и завещание, отменяющее все предшествовавшие завещания».

Написано. Теперь вычеркнуть распоряжение в предшествовавшем завещании о том, чтоб тело декана св. Патрика было перевезено из Ирландии в Англию и похоронено в холлихэдской церкви. Писал он как-то

Александру Попу: «Не хочу, чтоб тело мое лежало в Ирландии – этой рабской стране». Отзвуком бешеного свифтовского гнева и было это распоряжение. Гнев справедлив, Свифт не намерен осуждать его или раскаиваться, Свифт отнюдь не собирается умирать как «умиленный христианин», простивший зло мира сего, поповского благочестивого лицемерия нет у Свифта, но, почтенный декан, немножко иронии, – зачем же причинять людям столько хлопот с телом Свифта, мало ли хлопот было у них со Свифтом живым…

Нет. Вычеркнуть это распоряжение. И распорядиться скромней и проще: пусть будет похоронено его тело тут же, в соборе, и в полночь, чтоб не было этой отвратительной помпы, торжественно-фальшивой похоронной церемонии. И над могилой – у стены, на высоте семи футов от земли, – скромная черная мраморная доска, и на ней пусть будет выгравирована надпись – Свифт не намерен лицемерить и притворяться, что не знает себе цены. Пусть будет эта надпись выгравирована «крупными буквами, глубоко врезанными и хорошо позолоченными», чтоб было легко прочесть, чтоб не стерлась она, чтоб веками напоминала она о Свифте потомству. А надпись такова:

ЗДЕСЬ ПОКОИТСЯ ТЕЛО ДЖОНАТАНА СВИФТА, ДЕКАНА ЭТОЙ КАФЕДРАЛЬНОЙ ЦЕРКВИ, И СУРОВОЕ НЕГОДОВАНИЕ УЖЕ НЕ РАЗДИРАЕТ ЗДЕСЬ ЕГО СЕРДЦЕ.

ПРОЙДИ, ПУТНИК, И ПОДРАЖАЙ, ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ТОМУ, КТО РЕВНОСТНО БОРОЛСЯ ЗА ДЕЛО МУЖЕСТВЕННОЙ СВОБОДЫ.

Считанные отобранные слова. Но если хочет знать потомство о Свифте, то пусть знают его таким, каким чувствовал он себя: тружеником и бойцом; пусть уразумеют смысл и цель его жизненного дела.

Ревностно боролся за свободу человека. Но боролся по-свифтовски. Значит – «суровым негодованием» и, можно было бы добавить, гневной иронией, жгучей издевкой, яростной мистификацией. В прошлом – «сумасшедший священник», ныне, в последние годы, – «причуды декана». Этот властный лейтмотив его жизни, стиль его жизненной борьбы, найдет ли он свой отзвук в последнем документе, единственном удостоенном подписи Свифта?

Жизнь его сложна и необычна – Свифт это знает, она – словно произведение искусства. Так где же последний, яркий штрих, где сильная убеждающая концовка? Персонажи свифтовского театра, его alter ego, двойники и маски в подписанных ими произведениях умели делать концовку; конечно, сумеет и Свифт, автор основного произведения – своей жизни!

Девять лет назад это случилось. В ноябре 1731 года, открыв книгу любимого своего автора Ларошфуко, прочел декан забавный афоризм элегантного скептика: «В несчастье самых больших наших друзей мы всегда находим некую деталь, нам приятную». Прочел – улыбнулся: это звучит почти по-свифтовски. И стал развивать эту тему. Какое же самое большое несчастье для человека? Очевидно – смерть. И вспомнил собственное рассуждение на близкую тему: «Преувеличивая вовне свою скорбь при смерти близких и друзей, не даем ли мы себе тем самым право внутренне уменьшить ее?»

Почему бы не попытаться реализовать эту мысль? Как будут реагировать друзья войне и что в действительности они будут чувствовать, когда умрет… ну хотя бы Джонатан Свифт?

Изумительная поэма была написана и послужила ответом на коварный вопрос. И эта поэма – «На смерть д-ра Свифта», написанная в ноябре 1731 года, – она переросла первоначальное задание безжалостным своим реализмом, могучим лаконизмом саркастического стиха, спокойной, но убийственной иронией. Изобличить в неискренности друзей – какие пустяки! Но рассказать о своей жизни, какой она была, и показать одновременно, как хотели современники ее видеть, как им было выгодно ее видеть, – вот соблазнительная задача.

Веселым был он до дня смерти.
Прошу вас – этому поверьте.
И небольшой свой капитал,
Чтоб дом построить, завещал.
А в доме том чтоб находились
Те, что безумными родились
Иль обронили где-то разум
На склоне лет, а то и сразу.
Обидной кажется издевка эта злая?
Прими ее, о Англия родная!

Ну что ж, эти последние строки поэмы – злая шутка в стиле всей поэмы, не больше…

Однако прошло три года – и Свифт пишет проект. Прекрасно разработанный проект, этакую детальную докладную записку, снабженную арифметическими выкладками, уснащенную деловыми соображениями. Серьезный проект, без тени улыбки, без намека на юмор. Проект о том, чтоб оборудовать в Англии громадный госпиталь для всех ущербных людей: дураков, лжецов, мерзавцев, бездельников, графоманов и прочих. Путем очень логических рассуждений приходит автор проекта к выводу, что таковых насчитывается в Англии двести тысяч человек – если брать все эти болезни в их крайнем выражении. Но если считать всех тех, кто имеет предрасположение войти в эти категории, принимая во внимание, что данные болезни носят заразительный характер, то число это поднимется до трех с половиной миллионов – около половины всего населения Британских островов. И автор проекта доказывает, что, как бы дорого ни обошлось содержание этого количества больных в госпитале, пребывание их на свободе обходится Англии дороже. И он детально развивает финансовый план, могущий обеспечить мобилизацию потребных для осуществления проекта денежных сумм.

Свифтовские мистификации, шутки и причуды, насыщающие всю его жизнь, всегда имели тенденцию взрывать условность литературного приема (Свифт ни в какой мере не был формалистом, представителем «искусства ради искусства») и воплощаться в реальное бытие.

Пусть будет его «проект» литературным произведением, но что-то вроде такого госпиталя будет создано: им самим, Свифтом, деканом дублинского собора. Не на три с половиной миллиона и не на двести тысяч. Свифт не миллионер. Но некоторые денежные суммы у него есть: в 1740 году у него состояние до двенадцати тысяч фунтов – ведь он очень бережлив, почти скуп в своих личных расходах.

И эти деньги он не оставит в своем завещании, как подобало бы почтенному члену общества, своим близким, родственникам, друзьям. Эти деньги он не оставит в своем завещании, как подобало бы знаменитому писателю, на покрытие расходов по изданию полного собрания своих сочинений. Эти деньги он не оставит в своем завещании, как подобало бы благочестивому христианину, занимающему видный священнический пост, на украшение церквей, вспомоществование беднякам своего прихода. Этими деньгами распорядится он, как подобает Джонатану Свифту – великому мистификатору, человеку «сурового негодования». Эти деньги оставит он на сооружение госпиталя для идиотов и умалишенных.

Уже за три-четыре года до этого дня – третьего мая 1740 года, когда примет его завещание последний и окончательный вид, твердо решил Свифт дать только это назначение своим деньгам. Но последнюю причуду старого декана нужно было обставить так, чтоб она имела юридическую силу. Свифт прекрасно понимает, что лестной для его общества и среды никак ее не назовешь: «Обидной кажется издевка эта злая, Прими ее, о Англия родная!» И с обычной для него тщательностью и настойчивостью добивается он помощи своих лондонских друзей, чтоб облечь свою идею в должные юридические формы, чтоб не представилось возможности опротестовать завещание.

Сатирическая поэма – мистификационный проект – и деловое завещание!

Свифт вскочил со своего кресла, полупустая комната наполнилась звуком шагов его: от восточной стены до западной, где висит его портрет работы Джофри Неллера, тридцать два ярда – сорок шесть небольших шагов. Остановился перед портретом: нахмурен лоб, мрачен облик. Об этом Свифте воскликнул он тогда – тридцать почти лет назад: «Я беспомощен, как слон!» Можно было принять эту горькую истину, сверкнувшую ему внезапно и ослепительно, за очаровательную шутку.

Можно было принять за шутку и смешной подзаголовок к заглавию первой его книги: «Сказка бочки – написанная для общего совершенствования человеческого рода».

Что ж скрывать: сам он всегда старался, чтоб были приняты за шутку самые глубокие и таинственные движения его сердца.

Вернулся к столу, снова щелкнул ключом, открыл ящик, вынул небольшой пакет с четкой надписью на нем: «Только волосы женщины». Взвесил в руке – ничего почти не весит черная с синеватым отливом прядь волос.

И это шутка? Но Стелла не обиделась бы: Свифт научил ее понимать свифтовские шутки. Ее – но не Ванессу: эта училась у декана только тому, что ей было приятно. Как и все ей подобные, как и эти современники, и дальше – потомки – учились и будут учиться у Свифта только тому, что им приятно.

Длинными, костистыми пальцами маленькой бескровной руки постучал он по зеленому сукну стола.

Ванесса, как и другие – как много других, – сочла бы и это за последнюю злую причуду декана. Стелла – та поняла бы гордый смысл делового завещания, родившегося из сатирической поэмы и мистификационного проекта.

– Я начну умирать с головы…

«Несправедливо это!»

Что же противопоставить подлой иронии судьбы? Мужественную иронию человека, который не сдался на милость победителя, не ропщет жалобно, не унижается в бессильных мольбах. Ты смеешься надо мной, судьба, угрожая превратить меня, Свифта, имя которого – символ светлого разума и мощной мысли, – в слабоумного, в идиота? Хорошо, судьба, Свифт посмеется над тобой. Говорят, нормальные люди плохо заботятся о своих сумасшедших; посмотри, судьба, как позаботятся о них те, кто сами сходят с ума! Пусть я умру идиотом, но кончу я мою сознательную жизнь как сильный, как свободный человек, как Джонатан Свифт…

И он склонился над документом.

«…и я желаю, чтоб все мое состояние было обращено в наличные деньги, и оные деньги затрачены на арендование земельных площадей, и чтобы годовой доход от аренды был обращен на приобретение земельного участка вблизи Дублина, достаточно обширного, чтоб построить на нем госпиталь, и чтобы оный госпиталь был достаточно велик, чтоб вместить такое количество слабоумных и умалишенных, на содержание каковою будет достаточно доходов с означенных земель… и я далее желаю, чтобы данный ежегодный доход был обращен на снабжение помещенных в означенном госпитале слабоумных и умалишенных продовольствием, лекарствами, одеждой, услугами и на потребный время от времени ремонт и расширение означенного госпиталя. И если не окажется потребного для заполнения госпиталя количества слабоумных и умалишенных, то я желаю, чтоб свободные места были заняты больными неизлечимыми болезнями, не носящими, однако, заразительного характера. И я желаю, чтоб все помещенные в госпиталь слабоумные, умалишенные и неизлечимые больные находились в нем постоянно, днем и ночью, и я желаю, чтоб все расходы на оплату врачей, чиновников и всего обслуживающего персонала не превышали пятой части сумм, обращенных на содержание госпиталя…»

Теперь все в порядке.

Остаются всякие юридические детали, обеспечивающие нормальное функционирование госпиталя на десятилетия и столетия, необходимо уточнить роль и функции постоянно существующего юридического лица, коему будет вверено управление госпиталем на десятилетия и столетия, – следуют в завещании еще две страницы детальнейших уточнений и распоряжений. Завещание Свифта в рамках существовавшего в ту эпоху гражданского права – первоклассный юридический документ, к которому

нельзя было придраться, нельзя было оспорить. Долголетняя его ненависть к юриспруденции, к правовым институтам помогла ему: он научился в совершенстве пользоваться их же оружием…

Теперь все в порядке.

Еще несколько мелочей. Эта лицемерная привычка посмертных подарков умирающего тем, кто был вблизи него в последние дни, кто встречался с ним, за ним ухаживал, выносил его дурной характер и все повседневные причуды декана, – что ж, он не откажется от нее: пусть порадуются все эти неплохие, в общем люди… А кстати, тут же можно будет тихо посмеяться.

Конечно, он не будет смеяться над Энн Риджуэй, над Мартой Уайтвей – эти женщины добросовестно ухаживали за ним в его болезнях. Благодарят людей не советами, а деньгами – он и оставит им приличные денежные суммы. Один из сыновей Марты хочет быть доктором, другой юристом – он не любит ни докторов, ни юристов, но это дело их, он оставит каждому некоторую сумму на приобретение книг по специальности.

Но почему не посмеяться над достопочтенным Робертом Грэттеном, дублинским священником, человеком скупым и очень завидующим доходам своего брата доктора Джеймса Грэттена?

«Я завещаю Роберту Грэттену золотой пробочник, который он мне подарил, и мой железный ящик для денег и драгоценностей на том условии, что пользование этим ящиком будет предоставлено исключительно его брату Джеймсу на все время его жизни, ибо у него больше нужды в нем, чем у Роберта. А также завещаю Роберту Грэттену мою вторую по качеству бобровую шапку» (всего их у декана три…).

Но есть еще один Грэттен, Джон, тоже священник, обладающий неопрятной привычкой жевать табак.

«Я завещаю м-ру Джону Грэттену мой серебряный ящик, который мне подарил муниципалитет города Корка вместе с документом об избрании меня почетным гражданином этого города, с тем, чтоб означенный Джон держал в этом ящичке табак, который он обычно жует, называющийся “свиной хвостик”».

Если достаточно глупы граждане города Корка – они будут иметь все основания обидеться…

И другие лица были названы в завещании в качестве наследников разных пустяков свифтовского домашнего обихода. Одному из них – священнику Уоррэлу, человеку тихому, незлобивому, глуповатому и едва

грамотному, который терпеливо и молча сопровождал декана в последние годы в его ежедневных утренних прогулках, – оставил Свифт «свою лучшую бобровую шапку». И так велико было почтение, смешанное со страхом, которое питал Уоррэл к декану, что, когда он умер спустя несколько лет после смерти Свифта, часть своего состояния этот робкий человек решился завещать на свифтовский госпиталь.

Но лорд Оррери, человек тупой и тщеславный, имевший претензию считать себя литератором, а вдобавок чуть не покровителем Свифта, обиделся, и некоторую роль сыграла его обида в посмертной судьбе Свифта. Свифт завещал ему свои «эмалированные серебряные блюда для того, чтобы бутылки вина выглядели на них эффектно» (очевидно, лорд любил хвастаться своим винным погребом). Через семь лет после смерти Свифта лорд Оррери опубликовал первую подробную его биографию, по внешности – лицемерно доброжелательную, по существу – клеветническую. В течение многих лет эта биография была основным источником для изучения жизни Свифта. Лорд отомстил…

Свифт положил перо, опять взглянул на свой портрет на стене – сумрачный, печальный взгляд… Как мало радовался он, Свифт, в своей жизни – нельзя не подумать, подводя последний итог.

Дождь за окном прекратился. Просветлевшее небо было спокойно и сдержанно, словно чего-то выжидало…

Но, может быть, люди в веках все же скажут, что жил Джонатан Свифт не напрасно и в последние дни своей сознательной жизни остался верен себе до конца… Ибо разум и справедливость, за которыми гнался он всю жизнь – пусть иногда наивно и капризно, – восторжествуют же они на земле!

«Пройди, путник и, если можешь, подражай…»

Худая рука в широком рукаве черной шелковой сутаны протянулась к серебряному звонку. Чисто и одиноко прозвучал звонок в этом пустом и обширном доме.

В дверях показалась домоправительница.

– Дорогая Энн, пригласите нотариуса и моих друзей – в качестве свидетелей – Джо Уайна, Джо Рошфорта и Уильяма Дэнкина… Я буду подписывать мое завещание…

И в улыбке – ни боли, ни гнева, ни иронии. Только простое, мужественное спокойствие.

Дождь за окном прекратился. Выглянуло весеннее солнце, яростно вторглось в комнату и залило ее безжалостным, неукротимым светом.



Глава 1
Свифт не нашел семян



Ты должен природе – смерть!

Шекспир

Великие люди в истории это те, чьи личные, частные цели заключают в себе субстанциональное, являющееся волей мирового духа.

Гегель

Семнадцатый век догорал. Характерное столетие! Век, зиявший чудовищными противоречиями, век, насыщенный хаотическими сочетаниями…

И во всем этом – единый и важный смысл. Семнадцатый сеял – восемнадцатый собрал урожай.

Кровь и пламя Тридцатилетней войны; могучий напор Запорожской Сечи, громившей польское панство; гниение и медленное умирание империи испанских Филиппов; буйный рост голландских штатов; бешеная сумятица французской Фронды; восстание неаполитанских ремесленников

и рыбаков; эшафот, где слетела голова первого английского Карла; пустырь, где второй Карл сжигал прах Кромвеля; палуба голландского корабля, привезшего в английское приморское местечко Торбэй хитроумного Вильгельма – нового английского короля, посаженного на трон стакнувшимися лондонскими купцами и сельскими сквайрами; утренний прием у четырнадцатого из Людовиков, названного льстецами король-Солнце, хотя был он всего лишь король кольберовских мануфактур; утлое суденышко, уносившее квакера Уильяма Панна в безбрежные водные дали, за которыми скрывалась «обетованная земля» без королей и дворян; двор пльзенского замка, где был убит заговорщиками последний европейский кондотьер – граф Валленштейн; просторные залы амстердамской биржи и узкие проулки роттердамских доков; «Дикое Поле» Украины и Рыночная площадь Парижа – все это были детали и штрихи звучавшего единым смыслом исторического процесса, ибо всюду и везде – на полях сражений и в лабиринтах городов, в банкирских домах и сектантских молельнях, в ткацких мастерских и дворцовых залах, в крестьянских лачугах и в последних феодальных замках, – везде и всюду шел упорный засев стойких семян.

Кто же был сеятель? Все эти великие, необозримые людские массы, активные люди века, безымянная, но могучая толпа, где бок о бок, плечом к плечу стояли амстердамский матрос и неаполитанский рыбак, запорожский казак и английский фермер-индепендент, предприимчивый купец-гугенот и жизнерадостный лионский мануфактурист, шведский рыцарь в войсках Густава-Адольфа и искатель приключений в армии Тилли – люди активной, воинствующей жизни. А рядом с ними люди активной, воинствующей мысли – век ими богат. Вот стоят они бок о бок – великаны духа: благородный мыслитель Паскаль, элегантный скептик Ларошфуко, отец новой науки Галилей и художник нового класса Мольер; Декарт, рыцарь единственной достоверности – сомнения, и Спиноза – поэт бесстрашного разума; тут же могучая английская поросль: Джон Локк, мастер анализа, прозванный «апостолом ереси», великий механик-систематик и пессимист Томас Гоббс, ослепший силач, почти пророк в своих прозрениях Джон Мильтон, спокойный и мудрый Исаак Ньютон…

Был весь семнадцатый век одним и грандиозным полем засева. И бросались в землю семена новой психологии и морали, новой идеологии и этики; семена того комплекса понятий, и идей, навыков и обычаев, каковым был вскормлен молодой, воинствующий капиталистический дух.

А важнейшей составной частью этого нового комплекса понятий и идей – и в жизни и в мысли – были бунт и восстание против всего

накопленного и завещанного длинным и мрачным десятком средних веков, против авторитета и догмы, легенды и предания – и в жизни и в мысли.

Люди творческой мысли сознательно взрывали авторитеты и догмы. А великая, безымянная, многомиллионная толпа, бушевавшая в невиданной доселе активности своей по городам и равнинам Европы? Ее бессознательное, но великолепное народное творчество было также взрывающим творчеством. В классовых столкновениях небывалой до той поры силы, в характерной этой смене династических войн религиозными, религиозных – национальными и национальных – гражданскими, в этих наиболее резких формах активности безымянных масс точно так же взрывался-размалывался – распылялся насиженный, косный, инертный быт. А вместе с взорванными устоями быта в мусорный ящик истории сбрасывалась целостная система идеологических навыков и привычных верований безымянного европейца: самая жизнь его становилась активным взрывчатым веществом, бродильным ферментом в реторте века. И одну и ту же историей заданную задачу решали английский йомен или ткач в войсках круглоголовых, усомнившийся в божественном помазании короля Карла, и французский философ, усомнившийся во всем, кроме сомнения; наемник в войсках Валленштейна, прошедший с огнем и мечом всю Европу и увидевший «войну всех против всех», и английский государствовед, отчеканивший в своем «Левиафане» эту могучую формулу.

В бумагах Спинозы после смерти был найден рисунок, сделанный рукой философа, – изображал рисунок героя и вождя неаполитанской революции, изумительного рыбака Томазо Аньело. Это не случай, а черта века: одну и ту же задачу выполняли неграмотный рыбак и образованнейший мыслитель.

Расчистка поля – уничтожение догм и авторитетов. Но во имя какой же цели? Для создания новой жизни на земле, для того чтоб мог жить новый человек свободно и счастливо. Так полагали, так верили не только политики и философы, но в меру ясности сознания своего и неаполитанский рыбак, и английский крестьянин. Но в эти расчеты и думы внесла история жесткий корректив, сказав: во имя создания капиталистической жизни, капиталистического человека, не нового, но лишь порабощенного по-новому…

Увидеть одну сторону этого великого исторического процесса, как не сумел увидеть ее ни один из современников, увидеть, как разрывает человек все путы и одежды прежних догм, помогать процессу всей могучей силой своей и понять: нет, не освобожден человек, – расчистить поле для

нового посева, но не иметь для посева семян, отказаться от этих семян – такова была трагическая участь великого гуманиста – память его будет вечна в освобожденном человечестве – Джонатана Свифта…

Англия и Уэллс – небольшой остров где-то на отлете, на крайнем западе континента. К середине столетия всего около шести миллионов живет на этом острове – шесть приблизительно процентов населения всей тогдашней Европы. Климат этого острова суров, особенно на севере острова, в полудикой Шотландии, – тут не цветут апельсины и малоплодородна земля, суровое море неумолчно бьется о меловые берега, диким вечнозеленым вереском поросла песчаная и болотистая почва. Но вереск – хороший корм для овец, и много овец в Англии. Совсем не овечий, однако, характер у англичан. Это сильный, страстный и упорный в страстях своих народ.

Уже с середины века этот народ властно заявляет о себе всему миру, прогнав своего короля, казнив его и предприняв гигантскую попытку создать свободную и счастливую жизнь. По всему миру разнесся звук топора, обезглавившего Карла Стюарта. И вместе с Карлом лежал в гробу отживший феодально-абсолютистский строй.

Но расходы по похоронам и издержки по введению в наследство нового хозяина уплатил народ: и на полях сражений при Марстонмуре, Нэсби и Престоне, и на пастбищах, огороженных и перешедших к новым лендлордам. Бурным темпом идет обезземеливание малоземельного крестьянства, тех фригольдеров, что составляли костяк кромвелевской армии; создается кулацкое фермерство, рационализируется сельское хозяйство, самое отсталое в Европе; растет вывоз знаменитой уже английской шерсти, обрабатываемой теперь капиталистическими методами; появляются на европейских рынках английские уголь и железо.

Лондонские «голдсмиты» – золотых дел мастера – становятся интернациональными банкирами. В опубликованном в 1677 году «Маленьком лондонском справочнике» имеется уже список «голдсмитов, располагающих наличными деньгами», и многие банкирские дома – был среди них один на Ломбард-стрит под фирмой «Кузнечик и Единорог» – распростирают свои крылья на континент. В родственные отношения между собой вступают через браки гордые лорды, потомки рыцарей Вильгельма Завоевателя, и безродные купцы из Сити: это частные отголоски принципиального, символического брака, заключенного в 1688 году под эгидой Вильгельма III между новой буржуазией и обновленным дворянством, политической сделки, именуемой «славная революция». «Английский купец представляет собой новый тип джентльмена», –

замечает лаконически, но многозначительно один из современников.

А тонкий и умный наблюдатель Даниель Дефо выражается еще отчетливее: «Торгово-промышленная деятельность не только совместима с джентльменством, но в Англии она и делает джентльменами».

Побеждает переворот во нравах. Пишет современник эпохи Бартон: «Вскоре после революции пламенные чувства шотландского народа отклонились от своей прежней колеи религиозных распрей и воинственных интересов и направились в сторону коммерческих дел». А епископ Джордж Бернетт в своей известной «Истории моего времени» под рубрикой «1699 год» заявляет: «Люди и высокого и низкого состояния были тогда одушевлены желанием вести дела». Не расходится с ними и третий мемуарист, Флетчер оф Салтун (1698): «Не вследствие принуждения, а благодаря непредвиденной и неожиданной перемене в национальном духе – мысли и склонности большинства направились в сторону дел».

Перемена национального духа!

Но можно сказать еще точнее: замена феодально-средневекового духа капиталистическим.

Неудивительно, что «дух неверия и дерзкое сопротивление всякому авторитету составляли отличительную черту замечательнейших из англичан XVII века» (Бокль). Однако только ли их? Вернее – самых широких безымянных масс. В этом не сомневается и сам Бокль, приводя десятки цитат современников, свидетельствующих, что «дух неверия» и «дерзкое сопротивление» разлились могучим потоком по всей стране, смывая авторитеты средневековой церкви и государства, освобождая человека от крепких и жестоких пут средневекового мышления. Все содействовало этому процессу: и топор 1649 года, обезглавивший Карла, и закон 1663 года, отменивший средневековый запрет вывоза золота и серебра за границу, и еще более «тихое» событие – опубликование в 1687 году ньютоновских «Начал».

Именно в Англии наиболее ощутимо шел процесс освобождения человека от былых догм и авторитетов, и именно в Англии той эпохи жил, мыслил и страдал наиболее свободный человек своего времени, мечтавший о свободе для всех, но не нашедший семян для засева расчищенного поля, – Джонатан Свифт…



Глава 2
Свифт слушает мудреца



Цицерон не имел ни убеждений, ни страстей – это был эгоист, и то близорукий.

Моммзен

Ты был как все земные боги:
из бронзы лоб, из глины ноги.

Байрон

В 1681 году известный английский государственный деятель, опытный политик и ловкий дипломат, личный друг Карла II, короля Англии, и голландского штатгальтера Вильгельма, человек, известный и уважаемый не только в Англии, но и на континенте, сэр Уильям Темпл, член палаты общин и Большого совета короля, начальник государственного архива Ирландии и, кроме всего этого, заслуженный литератор, решил, что он устал и должен уйти на покой.

Не то чтобы он был стар, сэр Уильям. Пятьдесят три года небольшой возраст для английского политика. Его современник – «буйный

Шефтсбери» – в возрасте шестидесяти одного года пытался поднять бунт лондонских низов против короля и парламента. И не такую уж бурную жизнь прожил сэр Уильям. Правда, эпоха – начиная с 1642 года – давала прекрасные возможности для жизни, насыщенной борьбой; но этими возможностями решительно пренебрег сэр Уильям. И до дня своего ухода в лоно счастливой усталости прожил жизнь весьма спокойную, благополучную. Страстным и непримиримым человеком не был он, и несчастным человеком не был он.

В эти неистовые годы ожесточенных столкновений Уильям Темпл – видная фигура с молодых уже лет – умел не портить себе жизнь. Двадцатилетний в разгар кромвелевской революции, он, не будучи, конечно, кромвелистом и принадлежа по рождению, воспитанию и положению к роялистам, не участвовал все же в гражданской войне. Путешествовал в эти годы по Европе, занимался литературой, писал философско-нравственные сочинения – «Опыты»; в ту эпоху было модным разбазаривать по мелочам мудрость и красноречие, почерпнутые в «Опытах» великого Монтеня… Был довольно богат, весьма изящен, любезен, в меру скептичен. Увенчал счастливым браком романическую любовь.

Затем осел в Ирландии. Как член господствующей касты, не мог не заниматься политикой. И в меру ею занимался: был влиятельнейшим лицом в своем графстве, членом ирландского парламента. Но не огорчался. Сэр Уильям Темпл определенно не любил огорчаться.

Эти страшные годы для Ирландии, когда принес Кромвель меч и пламя на несчастный «зеленый остров», когда Ирландия, изнывая, изнемогая, все же не сдавалась в этой ужасающей борьбе за остатки своей национальной, культурной, религиозной независимости, когда, казалось, самый воздух острова превратился в мрачный сгусток террора – ненависти – мести, – эти годы сэр Уильям впоследствии характеризует в своих дневниках как «годы большого удовольствия». Он любил, например, предаваться джентльменскому развлечению – садоводству, любил читать, писать и в меру заниматься политикой. Мало ли удовольствий для человека, принципиально не любившего огорчаться!

Но еще более важные удовольствия ему предстояли.

Не нужно удивляться, что в событиях, приведших к реставрации Стюартов, личность сэра Уильяма не оставила следа. Конечно, его джентльменской душе милы были претензии Карла II на английский трон. Но открыто компрометировать себя, когда ход событий еще не ясен, – этого не сделал сэр Уильям и в пылком юношеском возрасте, зачем бы стал

он это делать в возрасте уже солидном? Но он имел терпение выждать три года после реставрации в своем тихом ирландском благополучии, прежде чем решился отправиться в Лондон, где – он знал – человека его масштаба ждала неплохая карьера. Главное – не торопиться, «поспешать медленно», – прекрасный латинист, сэр Уильям определенно уважал эту цитату.

Вооруженный хорошим именем, деньгами, некоторой литературной известностью, сэр Уильям появляется в середине 1663 года в Лондоне. Он уверен в успехе – ведь кроме прочих своих качеств он обладает еще одним, и весьма ценным и редким в годы потрясений и переворотов, – у него нет прошлого… он не только не пролил ничьей крови, но и не испортил никому крови.

Зато есть у него два рекомендательных письма. От герцога Ормонда, лорда-наместника Ирландии, к лорду Кларендону, первому министру реставрации, и к лорду Эрлингтону, министру иностранных дел. Оба лорда – виднейшие фигуры политической Англии, но облик их весьма различен. Однако жадное внимание опытного наблюдателя людей и событий, нюх умного человека привлекает лишь один момент этого различия: Кларендон был звездой нисходящей, Эрлингтон – звездой восходящей. Нужно ли долго останавливаться на естественном следствии этого обстоятельства?

«К Эрлингтону Темпл и прильнул. Он не экономил горячих уверений в преданности и – грустно сказать – даже грубой и почти идолопоклоннической лести. В непродолжительном времени он получил свою награду».

Так пишет биограф Темпла Маколей, вообще говоря очень сочувственно относящийся к Темплу. И если уж ему, корректному и сдержанному англичанину, «грустно сказать» – что к этому добавить?

Награда, полученная сэром Уильямом, – видный дипломатический пост сначала в Германии, потом в Бельгии и Голландии – пришлась ему как перчатка по руке. Известно, что дипломаты на то и существуют, чтоб создавать счастливые случаи, но насколько чаще счастливые случаи создают дипломатов!

До сих пор не решили английские историки, кто был инициатором плана резкого поворота во внешней политике Англии в 1667 году, перехода от прислужничества Людовику XIV к ориентации на республиканскую Голландию. Но несомненна роль Темпла в этом деле: он внимательно продумал положение и рискнул – первый раз в жизни – рискнул связать свое имя с проектом англо-голландского сближения. И стал настойчиво рекомендовать этот проект в Лондоне. Тут и наступил

счастливый случай – создавшаяся внутри Англии политическая ситуация была такова, что друг Темпла Эрлингтон, ставший первым министром, также счел возможным и нужным рискнуть и дал сэру Уильяму полномочия действовать. Тот оказался на высоте – провел все предварительные переговоры четко и быстро, и уже в начале 1668 года был заключен сенсационный англо-голландский договор, к которому вскоре присоединилась и Швеция.

Наутро после подписания договора Темпл проснулся знаменитостью в европейском масштабе. И будь он человеком другого склада, мог бы гордиться тем, что проведенный им в жизнь «тройственный союз» был сокрушительным ударом по реакции внутри Англии, попыткой возвращения к решительной внешней политике Кромвеля, укреплением позиции парламента против реставрационных стремлений Карла, поддерживавшихся французским золотом. Так оценивался «темпловский» договор и в Англии и на континенте; знаменитый мемуарист эпохи Сэмюэл Пепис пишет о нем в своем дневнике: «Единственное хорошее общественное дело, сделанное со времени, как король вернулся в Англию».

А что думал сэр Уильям? Проводя этот договор, был ли он политическим деятелем, осуществляющим некую политическую концепцию принципиального характера, человеком, взволнованным судьбами страны, или же просто профессионалом дипломатом, которому повезло? Связывал ли он свой успех с общей линией своей политики, с убеждениями своими? Да были ли у него эти убеждения? И если были, то хотел ли он за них бороться?

Эту серию вопросов – они задавались современниками Темпла – можно было бы увеличить. Но зачем? Ответ на них заранее дан всем обликом сэра Уильяма, качеством его жизни. Неудивительно поэтому, что, когда через три года Карл II, в отчаянной борьбе за свои прерогативы, в виде последней ставки игрока нарушил союзный договор и в союзе с тем же купившим его Людовиком объявил войну Голландии, сэр Уильям тихо и мирно умыл руки и, подав в отставку, удалился в поместье, купленное им вблизи Лондона в округе Шиин. Но уже за год до этого, предвидя ход событий, он, как эпически повествует Маколей, «расширил небольшой сад, купленный им в Шиине, и употребил некоторую сумму на украшение своего тамошнего дома». Сэр Уильям очень настойчиво не хотел огорчаться.

И шла спокойно безмятежная жизнь. Великий дипломат сажал дыни, занимался садоводством и писал изящные трактаты на литературные и политические темы.

Годы мчались. Политические страсти в стране бурлили и взрывались. Правящая Англия была как котел кипящей грязной воды. Грязно-мыльные пузыри в обличье политических программ возникали и лопались ежедневно. Грязная пена переливалась через котел. Обман – клевета – политический разврат – подкуп – предательство – измена: из этих жирных штрихов складывалась картина дней. Карл II, ничтожный развратник, наделенный, впрочем, недюжинными способностями биржевого спекулянта, подавал доблестный пример. Еще в 1671 году заключил он договор со своим французским коллегой Людовиком XIV, в который входили тайные пункты о принятии Карлом католичества и о поддержке им французской политики на континенте; Людовик же обещал ему большую денежную субсидию, дававшую возможность править без парламента, и военную помощь в случае гражданской войны. Государственная измена короля была налицо, и слухи о ней просочились в самые широкие слои народа.

В этой обстановке грязного хаоса, в этой атмосфере тоски по элементарной человеческой честности был, казалось, лишь один порядочный человек в стране, считавшийся еще к тому же великим политиком. Имя сэра Уильяма Темпла, отшельника из Шиина, ничем не скомпрометированного, белые одежды которого не покрыты ни одним пятнышком, повторялось все чаще. И обе основные политические группировки эпохи: «сельская партия» – новые лендлорды, получившие земли в результате кромвелевской революции и боявшиеся реставрационных стремлений Карла (из этой группировки возникла одна часть партии вигов), и роялистски настроенные круги (впоследствии партия тори) – были не прочь обеспечить себя этим «политическим капиталом». Получал сэр Уильям и многозначительные предложения от короля – приблизиться к жирному казенному пирогу, заняв пост статс-секретаря. Но в ответ на все предложения сэр Уильям демонстрировал, по английской поговорке, «глухое ухо» – нет, он останется у своих дынь.

И лишь после третьего предложения Карла – в 1679 году – он покинул на два года свой Шиин, решив, что время его пришло.

Даже сочувствующие сэру Уильяму биографы не склонны думать, что беспримерное для той эпохи равнодушие его к власти было естественным поведением философа, человека с независимым критическим умом, через очки презрения наблюдающего свою среду. Нет, это было гораздо проще. Сэр Уильям был человеком и самодовольным, и самовлюбленным, и тщеславным, отнюдь не гнушающимся карьеры и фортуны. Но был он и очень осторожным человеком, и каждый шаг, сопряженный с риском,

казался ему просто неумным шагом. Но рискованным ведь был каждый политический шаг… И все же он не устоял и рискнул.

В 1679 году был распущен парламент, иронически называвшийся «парламент на пенсии»: звенели в карманах членов этого парламента деньги и английские, и французские, и голландские, и испанские. Но деньги деньгами, а все же и это почтенное сборище «сельских джентльменов», лондонских юристов и богатых купцов из Сити ясно показало, что оно не намерено помогать королю увеличивать свою власть за счет парламентской власти.

В этот момент на сцену выступил Темпл с весьма хитроумной политической комбинацией.

Стремление перехитрить историю! Как оно характерно для «больших политиков»; люди покрупней Темпла самоотверженно предавались этой иллюзии. Оказался жертвой и он, проявив вместе с тем недюжинные способности дипломата, то есть улаживателя конфликтов.

Сэр Уильям прекрасно видел, что основной политический конфликт – это конфликт между королем, парламентом и министрами, трехсторонний конфликт, систематически разворачивавшийся с момента реставрации. Чересполосица функций трех этих органов власти выявлялась в сложнейших интригах, необузданной склоке, утонченном вероломстве. Конечно, за всем этим скрывалось исторически обоснованное столкновение двух основных противоборствующих сил: намечавшегося союза новых лендлордов с денежным мешком Сити, с одной стороны, и старой феодальной аристократии, опиравшейся то на короля, то демагогически искавшей поддержки широких слоев среднего сословия, – с другой. Столкновение это нашло свою законную развязку немного лет спустя – в «славной революции» 1688 года: стараться предотвратить, задержать эту развязку и значило стремиться перехитрить историю…

Сэр Уильям ловко рассудил: три центра власти живут в постоянной склоке – а что, если создать четвертый? Чтоб он был опорой для парламента от деспотичных тенденций короля и министров и одновременно защитой короля и нации от деспотической власти парламента? Нечто подобное было при Елизавете – в лице Королевского совета, почему не попытаться воскресить этот орган? И он сформулировал проект нового государственного органа, который «имеет целью ограничить королевскую власть и взять часть этой власти на себя, выполнять некоторые функции парламента, а также фракции кабинета министров», быть «уздой» и для короля и парламента, а кроме того, «казаться народу достаточным обеспечением против плохого правления» (Маколей).

Король решил принять проект, надеясь, конечно, перехитрить хитреца Темпла. К тому же новый парламент уже собрался и сразу занял угрожающую позицию – терять было нечего. А выиграть было что, хотя бы политический капитал, связанный с именем Темпла.

Проект был утвержден, осуществлен – и «город и село преисполнились ликованием. Звонили колокола, зажигались фейерверки, и английский восторг нашел отражение и в Голландии, где считали, что влияние, приобретенное Темплом, является хорошим предзнаменованием для всей Европы» (Маколей).

К концу 1679 года сэр Уильям был почти национальным кумиром. А к середине 1681 года кумир догадался, что он «устал», и уже сажал дыни в своем прекрасном фруктовом саду, с твердым решением – никогда больше не пытаться спасать страну.

Что же произошло за короткий этот срок? Ничего трагического для сэра Уильяма. Он не был свергнут, отставлен, скомпрометирован, – ничто не угрожало его жизни или безопасности. Он просто счел за благо в тот момент, когда «стало горячо», быстро исчезнуть.

А стало очень горячо. Конечно, новый темпловский орган оказался на практике точным сколком в миниатюре всех партий и группировок, вместилищем всех кипевших в стране страстей. Конечно, из этого органа выделился некий малый орган, в который должен был войти – помимо воли – и Темпл. Конечно, и в этом малом органе свирепствовала война всех против всех, в ней должен был участвовать и Темпл, то есть бороться, рисковать, а этого он и не хотел. И он стал отмежевываться, воздерживаться, саботировать, числиться, а не существовать.

Но с каждым днем это становилось трудней. Атмосфера накалялась. Парламент вновь поднял острый вопрос, волновавший все время Англию, – о престолонаследии. Речь шла об исключении брата короля (последний Стюарт, Яков II) из действия закона о престолонаследии. Трон, согласно закону, должен был перейти к нему, но он официально принял католичество, и все духовенство, городское мещанство, корпорации, средние лендлорды не могли примириться с допущением католика на английский трон: это означало бы полное возвращение докромвелевских порядков, полное подчинение Франции, то есть удар по английской торговле и промышленности. Но сильные сторонники были и у Якова, и страна была фактически накануне гражданской войны. Лидер «иксклюжионистов» (сторонников исключения), неистовый старик Шефтсбери, уволенный королем председатель темпловского совета, уже формировал армию восстания, как говорил он, «против папства и рабства,

идущих рядом». В палате общин билль об исключении был принят, палатой лордов – отвергнут. Новый орган по этому вопросу раскололся. А сэр Уильям? В парламентском голосовании билля он не участвовал. «Он не оказал ни поддержки, ни сопротивления. Он преспокойно удалился из палаты».

То есть этот великий человек, политик, дипломат, чуть ли не спаситель Англии, в момент, когда смотрела на него страна, просто сбежал. Почему? Можно придумать десятки глубокомысленных ответов, но будет вполне достаточно одного простого: он струсил. И мемуары современников подтверждают это с очаровательной наивностью.

«Почему вы не присутствовали на своем месте?» (во время голосования билля) – спросил Темпла, по словам мемуаристов, один из его коллег. Ответ Темпла был изящен: «Я поступил согласно совету Соломона – не сопротивляйся сильному и не пытайся остановить течение реки…» Но Маколей не считает современников Темпла столь наивными, чтоб они не понимали, в чем было дело. «Привыкши к большим ставкам в большой политической игре, они (коллеги Темпла) презирали его грошовую игру». Грошовая игра – лучше не скажешь!

Итак, отказавшись от политической деятельности, решив, что он устал, сэр Уильям катастрофически бежал под сень своего сада.

Бурной лавиной неслись события. Французское золото подкрепило шатающийся трон, была разгромлена оппозиция, один из коллег Темпла по Совету ушел в изгнание, другой на эшафот, третий узнал смерть от собственной руки, – а Темпл возделывал свой сад. Умер Карл, предатель и распутник, промелькнуло короткое, но свирепое царствование Якова, был он свергнут, как только попытался провести «французскую программу», – а Темпл возделывал свой сад. Был приглашен на трон король купцов и лендлордов, объединившихся в партии вигов, Вильгельм Оранский, – а Темпл возделывал свой сад. Был проведен в парламенте 1689 года знаменитый «билль о правах», знаменовавший утверждение нового общественного порядка, – а Темпл возделывал свой сад. Он все возделывал свой сад – можно подумать, что он наперед знал знаменитый совет Кандида: «Il faut cultiver son jardin!»

Впрочем, это был уже новый сад, не в Шиине, а в Мур-Парке, в графстве Сэррей, подальше от Лондона. Сад был больше и лучше, там принимались и тюльпаны и спаржа, сад был расчищен и подстрижен, там были клумбы, газоны, дорожки, даже каналы, статуи, беседки, прекрасный барский дом с великолепной библиотекой. И не только сажал сэр Уильям тюльпаны и дыни, но писал этюды и эссе – даже о китайской литературе;

съезжались туда знатные гости, приезжал не раз даже новый король. И сэр Уильям беседовал – охотно, красноречиво и мудро – о политике и литературе, его слушали бережно и внимательно. Так прошло десятилетие, он скончался, и написал о нем биограф восемнадцатого века:

«Этот великий дипломат, искусный политик, чей великолепный гений понимал как интересы королей, так и интересы народов, сумел усовершенствовать свои природные дарования воспитанием, прежде чем посвятить их на пользу своей страны, и использовать их в искусстве управления, каковое сделало его имя таким славным в глазах потомства».

Положительно, сэру Уильяму везло и после смерти!

И вот он гуляет по своему чудесному саду. Он медленно движется, сэр Уильям Темпл, наряд его безукоризнен, шелковые чулки белы как снег, сверкают красные квадратные каблуки его башмаков, в руке золотая трость, величава походка. Речь его плавна и закруглена, украшена классическими цитатами, оснащена эффектными остротами, непринужденно льется речь из уст английского Цицерона. Как мот золотые монеты, так бросает он золотые слова, – он знает, что их подберет и сохранит для потомства некий молодой человек, почтительно сопровождающий его в утренних прогулках, мрачный юноша, бедно и строго одетый, по должности своей молчаливый, и несколько даже непонятный, и не раз, наверно, раздражавший несветскостью своей сэра Уильяма…

Если б он знал! Если б знал сэр Уильям – это помпезное, чванное, надутое ничтожество, этот ленивый и вялый человек, потребитель, бездельник и паразит, трусливый, мелкий эпикуреец, не любящий огорчений, существо с рыбьей кровью в жилах, проживший такую долгую, по внешности пышную и такую никчемную и бездарную жизнь, – если б он знал, что имя Уильяма Темпла для нас только потому останется в истории, что сопровождал его в утренних прогулках строгий и мрачный юноша с острым взглядом холодных голубых глаз – его секретарь Джонатан Свифт!



Глава 3
Свифт обманывает биографов



Смертный смертному неравен —
мерою одной не мерь!

Руставели

Главным занятием Урса было ненавидеть человеческий род.

Гюго

В 1678 или 1679 году, весной ли, летом или осенью, утром ли, в полдень или под вечер, – точнее не скажешь, да и нужно ли быть точнее? – одиннадцати или двенадцатилетний мальчик, на вид никак не заморыш, сидел на берегу реки и удил рыбу. Клев был неважный, и Джонатан хотел было сматывать удочку, и вдруг – о счастье! – леска задрожала, натянулась. Джонатан задержал дыхание, осторожно потянул – какая прекрасная, крупная рыба показалась из воды. И вдруг – о горе! – рыба сорвалась с крючка, вильнула хвостом и была такова. Это был, конечно,

печальный случай.

Настолько печальный, что лет через тридцать с лишним знаменитый сатирик, памфлетист и политик, уже познавший радость славы, торжество успеха и прелесть власти над людьми, но и знавший яд разочарований и трагикомедию катастроф, пишет в автобиографических записях об этом печальном случае своих детских лет:

«Досада мучает меня до сих пор, и я верю, что это было предзнаменование для всех моих будущих разочарований».

И как все строки Свифта, и эти строки были прочтены его многочисленными биографами, его красноречивыми комментаторами. И прочтены с торжественным вниманием, но и со скрытой тихой радостью. Ибо – какое это авторитетное и блестящее доказательство знаменитого тезиса, тезиса, который так мил сердцу большинства биографов Свифта и исследователей творчества его. Великолепный этот тезис существует уже около двухсот лет и не показывает до сих пор признаков истощения. Покрытый пылью веков, он стал заслуженным, солидным, непререкаемым, почти священным; он оброс почтенной традицией и стоит, авторитетный и грузный, стоит, как замшелая глыба, заваливающая вход к изучению путей и судеб Джонатана Свифта – человека – художника – мыслителя – бойца. А между тем он очень нехитер, этот тезис, элементарен до вульгарности; а между тем из картона, из ваты эта глыба.

Кто же, хоть немного, понаслышке знакомый с жизнью и творчеством Свифта, не слыхал, что был у него очень плохой от рождения характер? И кто же не повторял, что был этот мрачный человеконенавистник несчастнейшим человеком?

Есть три знаменитых и весьма популярных критико-биографических этюда о Свифте: прекрасный литературовед, тонкий мыслитель, блестящий знаток английской литературы Ипполит Тэн – автор одного из них; второй написал талантливейший английский писатель, один из классиков – Уильям Теккерей; и первоклассный французский стилист, утонченный эстет Поль Сен-Виктор был автором третьего. Конечно, этими этюдами не исчерпывается громадная литература о Свифте, но именно они показательны, суммируя многочисленные и специальные биографические исследования, отражая и выражая установившуюся точку зрения европейской интеллигенции и европейского литературоведения девятнадцатого века. Прекрасно написаны все три этюда. «Думать о нем (о Свифте) – это значить думать о развалинах великой империи», – подытоживает свой анализ Теккерей. «Величественное здание, прекрасное,

даже когда оно горит», – восклицает Тэн. «Английский гений не имеет представителя более неистового и отталкивающего, чем Джонатан Свифт», – судит Поль Сен-Виктор.

Прекрасно написаны все три этюда.

Но если подойти к этюдам этим по-свифтовски, если сорвать стилистические украшения, сбросить словесные побрякушки, – что останется от них в качестве решающего вывода? Вот это убедительное утверждение, что у Свифта был отчаянно плохой, дьявольски плохой характер.

Алексей Веселовский, выражая установившуюся точку зрения, так и пишет:

«Когда один из лучших объяснителей Свифта, затрудняясь найти подходящую характеристику, называет его демоническим существом и в злорадном его отношении к человечеству видит что-то дьявольское – это определение возвращает нас к старому эстетическому жаргону, но как будто подводит нас к решению смутной загадки» (о характере Свифта).

Хорошо. Веселовский, Вейнберг, Чуйко внимательно читали Тэна, Сен-Виктора, Теккерея. Кого же читали эти?

Помимо других исследователей и биографов, читали они, несомненно, примечательный опус великолепного лорда Оррери! Кто же такой лорд Оррери? Благополучный английский вельможа, сын маленького литератора, современника Свифта, который, не желая отстать от отца, также захотел быть литератором и написал – первый после смерти Свифта, в 1753 году, – опыт его биографии и примечаний к его сочинениям. Добропорядочный Оррери не отрицает, что Свифт был писатель талантливый, но решительно не одобряет свифтовское в Свифте. «Эта глава (глава 7-я – „Путешествие в Бробдингнег“) содержит такую массу язвительных насмешек над человеческим обществом, что для всякого становится совершенно ясным желание Свифта не упустить ни одного случая, дающего ему возможность унизить человеческую природу и насмеяться над ней». Ну как же не плохой характер! А вот еще красноречивей: «Я с грустью должен заметить, что подобные описания, в изобилии разбросанные во всех произведениях Свифта, не оправдываясь никакими мотивами, являются просто следствием необузданного характера юмора Свифта и мрачного настроения его духа». Грустно было лорду Оррери за Свифта, грустно было, что жил на свете человек с таким плохим и злобным характером.

Какой свежей и целостной в своей неприкосновенности дошла до наших дней эта «оррерийская» концепция! Неужели уж так гениален был

этот забытый лорд? И неужели Тэн унизился до плагиата у Оррери? Нет, конечно. Просто благородный лорд первый ощутил себя в состоянии самообороны от «дьявола» Свифта и защищался весьма элементарно и бесхитростно – как мог. И такое же состояние самообороны, в конечном счете, обусловило пафос Тэна и прочих. Ибо нападал и воинствовал Свифт и после смерти своей, и приходилось же защищаться!

Итак, плохой характер – это основа человеконенавистнического творчества Свифта. Скудная все же формула, и как-то неловко опереться на нее такой величине, как Тэн. Вот если бы добавить что-то к субъективному этому моменту, какую-либо объективную данность, вот если б был Свифт хром – глух – слеп – горбат! Но, как назло, Свифт до последней его болезни был и в физическом плане прекрасным образчиком человеческой породы – красив, высок, строен, силен. Что ж добавить к плохому от рождения характеру?

Нашлось добавление – первый заговорил о нем все тот же Оррери. Жизненная обстановка, в которой находился Свифт, и особенно в дни своего детства, отрочества, юности, – вот это добавление. Несчастное детство, жестокое отрочество, мучительная юность и неудачи всей дальнейшей жизни – чего же нужно больше? В сочетании с прирожденным плохим характером это и создало величайшего в мировой литературе человеконенавистника. Так создан тезис, так возникает концепция, а затем начинается ее украшение, расцвечение, обряжение в нарядные одежды, дальше возникает эта лживая, сюсюкающе-сентиментальная беллетристика, от которой не удержался ни один из биографов Свифта.

Было ли детство Свифта печальным, ужасным, трагическим? Было – в той мере, каким было детство любого ребенка в бедной семье второй половины семнадцатого века. В той же мере, никак не больше, а вернее, меньше.

Несомненно, дом под номером семь по улице Хоэс-Корт в Дублине, где родился 30 ноября 1667 года Джонатан Свифт, был мрачный, нерадостный дом. И каморка в этом доме, где жила его мать, вдова маленького английского судебного чиновника, приехавшего в Дублин – столицу Ирландии – из Англии вместе со своими братьями в поисках карьеры, была жалкой, убогой каморкой. Верно и то, что если б Джонатану пришлось провести самые первые годы своей жизни в нищете и грязи дублинских задворков, то это были бы очень печальные годы. Случилось, однако, не так. У малютки Свифта была кормилица-англичанка. И по не выясненным доселе обстоятельствам, а впрочем, они и не так важны, кормилица увезла малютку в свое родное английское местечко Писхэвен –

в переводе «Мирная гавань», увезла двухлетним, и он пробыл с ней до шестилетнего возраста. Очевидно, там, в этом тихом местечке, мальчику жилось не так уж плохо: кормилица настолько заботилась о нем, что обучила его азбуке; возвратившись в 1673 году в Дублин, он уже свободно читал – это встречалось не так часто в ту эпоху. И тогда же он был отдан на полное содержание в знаменитую начальную и среднюю школу в Килькенни – маленьком ирландском городке; это была лучшая в Ирландии школа, там обучались дети лучших семейств – среди прочих знаменитые впоследствии современники Свифта Конгрив и Беркли. Мать Свифта вскоре уехала на свою родину в Англию, содержание Джонатана взял на себя его дядюшка Годвин. Мальчик был, таким образом, лишен семейной атмосферы. Конечно, это не способствует радостному детству, но вызывает ли это необходимость декламации о каком-то особом роке, злосчастии? Однако декламируют. «Бывают люди, которых с раннего детства приходится назвать натурами надломленными, неудачниками… Какая-то горечь, скрытое озлобление и желание отомстить стоящим поперек дороги сказывается у них чуть не в отроческие годы… Порой достаточно незаметных, незатейливых причин для того, чтоб бросить человека в открытую борьбу с жизнью. Такие-то причины, в которых самому человеку может иной раз почудится злое вмешательство судьбы, рано обнаружились в жизни Свифта». Так декламирует почтенный Веселовский с чужого, конечно, голоса, подчиняясь все той же могучей традиции, повелевавшей декламировать о несчастном детстве сиротки, ставшего человеконенавистником.

Да и известно об этом детстве очень немногое. Рассказал сам Свифт один анекдот – о рыбе. Известен со слов Свифта и другой. Забавный анекдот. Джонатан купил где-то дряхлую, лишь на убой годную лошадь и торжественно привел ее в школу. Жалел ли он лошадь, хотел ли он похвастаться перед товарищами необычной покупкой – это неизвестно. Факт тот, что лошадь у него все же отняли и отвели на живодерню.

Смело можно было бы обойти анекдот этот молчанием, но вот воспоследствовал ему другой, и в самом деле примечательный, анекдот… «Эта история весьма характеризует его смелую гордость и честолюбие. Из нее он мог бы извлечь предзнаменование величественной катастрофы своей жизни».

Так пишет автор бесстрастной, серьезной статьи в таком авторитетном издании, как «Британская энциклопедия». Из пустячного случая, говорящего лишь о том, что у школьника Свифта была богатая фантазия, а также водились кой-какие деньжонки (все же лошадь!), выводить такое

глубокомысленное следствие – это ли не характернейший анекдот! Но не о Свифте, а о биографах Свифта…

Пятнадцатилетним кончает Свифт школу в Килькенни. Для большинства его сверстников учение кончилось, начинается суровая реальная жизнь. Но не для Свифта. Находясь опять-таки на иждивении дяди, поступает он вместе со своим двоюродным. братом Томасом в дублинский университет. После Оксфорда и Кембриджа это был знаменитейший университет с хорошо поставленным обучением литературе, древним языкам и главным образом богословским наукам: большинство учащихся предназначалось к священнической карьере.

Шесть лет обучается там Свифт, живя в общежитии при колледже св. Троицы. Что сказать об этих шести годах? Если удалить обильный анекдотический материал, часть которого относится не к Джонатану, а к кузену его Томасу (всяческие мрачные истории, случившиеся с Томасом, с охотой приписывали впоследствии его кузену), то мало что остается. Но считается все же, что Джонатан чувствовал себя глубоко несчастным и в этой школе. Он находился на содержании у своего дяди, тот, очевидно, не прочь был подчеркивать свои благодеяния. Нетрудно представить, что это могло задевать самолюбивого юношу, но очень трудно представить, что чувство обиды было настолько велико и постоянно, чтоб отравить, испакостить все эти годы. Но известно, что юноша очень много читал в университете, марал уже бумагу, опыты его уже ходили по рукам, много кутил, за что и получал многочисленные взыскания начальства, много флиртовал… Товарищи относились к нему если и без особой любви, то с уважением, связанным с некоей боязнью: импонировали сила и сарказм его речи, настойчивость характера, острота суждений. Все это факты весьма нормальные, но никак не позволяют заикнуться даже о «печати трагизма», наложенной на юность Свифта.

Очевидно, именно поэтому все они отстраняются, тускнеют, бледнеют и исчезают в ослепительном свете одного случая. Оказывается, что этот как раз случай распростер свои мрачные крылья не только над юностью Свифта, но определил, дал установку и дальнейшей его судьбе. Оказывается, этот случай был провиденциальным и настолько важным, что нет ни одного биографа Свифта, прошедшего мимо него. Каков же этот случай? Пусть расскажет блистательный литератор, красноречивый психолог – Тэн.

«В 1685 году в большой зале дублинского университета профессора, раздававшие степень бакалавра искусств, были свидетелями особого зрелища: бедный студент, странный, неловкий, с голубыми, суровыми

глазами, сирота, без друзей, получавший от одного дяди жалкое содержание, потерпевший уже раз неудачу из-за незнания логики, вновь появился пред экзаменаторами, не удостоив, однако, ознакомиться с учебниками – напрасно предлагали ему почтенные тома Смиглезиуса, Бургерсдициуса – он перелистывал их и быстро закрывал. Когда дело дошло до аргументации, пришлось формулировать его аргументы за него. Его спросили, как же сумеет он рассуждать, не зная правил логики, – он ответил, что сумеет рассуждать и без правил. Такой избыток глупости произвел скандал. Он получил все же степень, но едва-едва, по „особой льготе“, как было сказано в экзаменационном листе. И профессора разошлись, несомненно, с улыбкой сострадания, сожалея о ничтожных способностях Джонатана Свифта. Таковы были его первые унижения и первый повод к возмущению против людей. На этот момент была похожа вся его жизнь, заполненная и опустошенная страданьем и ненавистью».

Таков этот мрачный рассказ. Тэн красноречиво пишет, но, если откинуть жалкие слова насчет унижений, сиротства, бедности, что ж остается от рассказа? Что же в действительности произошло в этот знаменательный день 18 февраля 1685 года в большой зале университета?

Произошло лишь то, что семнадцатилетний студент провалился на одном экзамене, причем провалился по собственной воле, не желая изучать учебники, которые ему не нравились. Почему нужно связывать с этим случаем и бедность, и сиротство, и одиночество и декламировать тут же об унижении, о поводе к возмущению, чуть не предопределившем всю жизнь Свифта, – это секрет красноречивейшего психолога. Да секрет ли? Нужно ведь перебросить мост от юности к человеконенавистничеству, безумию и прочим «дьяволизмам»! Пусть будет этим мостом провал на экзамене логики.

Но если уж хотеть психологизировать, нетрудно заметить: этот именно случай говорит, что Свифт уже в семнадцать-восемнадцать лет знал себе цену и подчеркивал независимость своего мышления и характера. Средневековые схоластические трактаты Смиглезиуса и Бургерсдициуса раздражали его – гениального логика-реалиста своего времени, и он не желал терять время на бессмысленную зубрежку. Сохранившиеся за один учебный год его отметки говорят о том же: он интересовался языками и получил высшие отметки по-латыни и гречески; мало увлекала его основная дисциплина – теология, и экзаменационная отметка гласит – «небрежно»; математику же он всю жизнь терпеть не мог – и соответственно получает отметку «плохо». Свифт учился лишь тому, чему хотел учиться, – как это не вяжется с трагикомической фигурой,

нарисованной Тэном…

Воспроизведенная Тэном мелодраматическая легенда о тупости, чуть ли не идиотизме Свифта-студента, откуда она взялась? Тэн заимствовал ее у Оррери, а тот? А тот… у самого Свифта. Свифт очень любил вспоминать в своих беседах уже на склоне лет об этом провале на экзамене и настойчиво убеждал собеседника, что действительно был почти полуидиотом. Собеседнику часто и невдомек было, что он лишь объект любимого свифтовского приема, применявшегося и в литературном и еще более в устном его творчестве: приема мистификации, дразнения. Ибо был Свифт великим мистификатором, мифотворцем, гениальным автором, режиссером и актером «театра для себя» – и особенно в устном своем творчестве. Но если иногда догадывались собеседники, что забавляется за их счет этот странный человек, то почему бы не догадаться об этом если не Оррери, то хотя бы Тэну? Невыгодно было догадаться: что станется тогда со знаменитой концепцией об уязвленной и отравленной уже в молодости душе? Этакая удобная концепция: все творчество Свифта – это месть, страшная месть человечеству за обиды, понесенные им в детстве – отрочестве – юности и на протяжении всей жизни; плохой от рождения характер плюс понесенные обиды, в том числе и сорвавшаяся с крючка рыба, и лошадь, отведенная на живодерню, и провал на экзамене, дают в итоге человеконенавистничество, которое и порождает «Сказку бочки», «Гулливера». Правда, сам Свифт, обманывая – при посредстве своих собеседников – своих будущих исследователей и биографов, давал повод к созданию этой концепции защитного цвета, но разве трудно понять, как настойчиво хотели быть обманутыми исследователи и биографы!

Следующее десятилетие в жизни Свифта – «страшное десятилетие» – тесно связано с именем, сэра Уильяма; считается, что в это десятилетие Свифт окончательно сделался Свифтом, то есть величайшим из живших когда-либо клеветников на человеческую природу.

Да, это было решающее десятилетие. Он и сделался – только не клеветником, не литературным садистом, не Луи Селином восемнадцатого века, извлекающим наслаждение из сознания деградации и дегенерации человеческого рода. Такой Свифт был бы нужен не нам, а фашизму – фашизм и взял себе Селина. Но «Путешествие Гулливера» отнюдь не «Путешествие на край ночи».

Свифт и сделался – нашим Свифтом. Великим гуманистом, самым свободным, наиболее трезво и реалистически мыслящим человеком своего времени…

В 1689 году, в связи с политическими событиями в стране, Свифт принужден был покинуть дублинский университет, не закончив образования, то есть не получив степени магистра искусств – она была необходимым условием для занятия священнической должности. Из Дублина Свифт отправляется в Англию, к своей матери, жившей в маленьком городке в графстве Лейстер. Несколько месяцев, проведенных им у матери, были месяцами выжидания и раздумья. У молодого Свифта не было ни денег, ни земельной собственности, ни связей, ни деловых способностей, ни даже степени магистра. Что же делать дальше, какой жизненный путь избрать? Выжидание должно было быть мучительным, раздумья – тягостными. Но это не мешало ему довольно беззаботно проводить время и даже ухаживать за местными красотками, на одной из них он чуть не женился. Он вполне нормальный молодой человек, этот молодой Свифт.

Вопрос о дальнейшей судьбе решает благодетельный случай. Мать Свифта Эбигейл вспоминает, что она землячка одной знатной дамы – жены сэра Уильяма Темпла, живущего в своем поместье в Шиине. Нельзя ли воспользоваться протекцией, чтобы пристроить сына? Оказалось – можно. И в конце 1689 года Джонатан живет у сэра Уильяма на полном содержании, с жалованьем двадцать фунтов в год. Обязанности его? Их трудно определить – что-то вроде секретаря или чтеца.

Но уже в мае 1690 года Свифт покидает свой пост и возвращается в Дублин – очевидно, в поисках какого-либо другого занятия. Несмотря на рекомендательное письмо от сэра Уильяма к лорду-наместнику Ирландии, поиски его безуспешны, и через год с небольшим – в августе 1691 года – он снова с сэром Уильямом, но уже в Мур-Парке. А через год, в июле 1692 года, он в Оксфорде, где защищает необходимую диссертацию и получает от университета желанную степень магистра. Затем снова Мур-Парк – до мая 1694 года, затем поиски священнического места в Ирландии. В январе следующего года он становится священником англиканской церкви, получает должность пребендария в округе Кильрут. Проводит там почти полтора года и с июня 1696 года – в третий раз у сэра Уильяма в Мур-Парке, где и безвыездно живет два с половиной года, вплоть до смерти сэра Уильяма – в январе 1699 года.

Такова внешняя история этих девяти лет: около шести лет с сэром Уильямом, около трех лет в Ирландии. Несколько раз за это время он посещает свою мать в Лейстере.

Что еще известно об этих годах – из области фактов?

Известно, что сэр Уильям знакомил своего секретаря с теми видными

политиками, блестящими литераторами и знаменитыми поэтами, что так охотно посещали гостеприимного вельможу. Известно, что секретарь Темпла был даже представлен королю Вильгельму, неоднократному гостю Мур-Парка, что в одном случае Свифт был уполномочен передать королю темпловский доклад по важному политическому вопросу. Известно, что хотя доклад был холодно принят королем, но в знак благоволения к Свифту Вильгельм предложил ему чин капитана в драгунском полку. Свифт отклонил это предложение. Известно, что в 1694 году сэр Уильям предложил Свифту пост чиновника в управлении ирландскими архивами (сэр Уильям был начальником архивов). Свифт отклонил и это предложение, предпочтя священническую должность. Известно, что Уильям Темпл был очень обрадован возвращением к нему Свифта в 1696 году. Известно, что Свифт перечитал за эти годы громадное количество книг из библиотеки Мур-Парка. Известно, что с 1692 года он начал писать – главным образом торжественные оды по моде того времени, исписал громадное количество бумаги, большую часть которой уничтожил. Известно далее, что в Мур-Парке он написал два первых своих значительных произведения – «Битва книг» и «Сказка бочки» (1697), причем «Сказка бочки», наряду с «Гулливером», гениальнейшее произведение Свифта. Известно, наконец, что, умирая, сэр Уильям поручил Свифту редактирование и издание своих сочинений и завещал ему небольшую денежную сумму.

Вот что известно – из области фактов. Немного?

Но зато гораздо больше известно из области «психологии» Свифта за этот период. Известно – все тем же исследователям и биографам. Очевидно, это их домыслы. Но домыслы в литературе о Свифте ценятся больше фактов. И, суммируя эти домыслы, автор статьи в «Британской энциклопедии» – не в красочном этюде в стиле Тэна, – в серьезной работе, где на вес каждое слово, в сгустке всех знаний о Свифте за двести с лишним лет – торжественно заявляет:

«Мы, кто знает, что на месте патрона (Темпла) его подчиненный руководил бы нацией, не должны удивляться, что спустя целых двадцать лет клеймо рабства все еще горело в его высокомерной душе».

Выясняется, стало быть, что Свифт был рабом в Мур-Парке. И многое еще выясняется – хотя бы Тэном:

«Двадцати одного года, будучи секретарем у Темпла, он получал в год двадцать фунтов жалованья, ел за одним столом с прислугой, писал оды, подражая Пиндару, в честь своего хозяина, копил в течение десяти лет унижения рабства и фамильярность холопов, обязанный льстить

придворному подагрику и избалованному вельможе… принужденный, после одной попытки стать независимым, снова надеть ливрею, которая его душила…» И дальше Тэн цитирует тот документ, увидевший свет спустя двадцать лет, который имеет в виду автор статьи в «Британской энциклопедии».

Выясняет многое и Теккерей:

«В Мур-Парке, с жалованьем в двадцать фунтов в год, столуясь с прислугой, этот одинокий и великий Свифт провел десятилетие ученичества, носил духовное одеяние, смахивающее на ливрею, гордый, как Люцифер, склонял колена, чтоб вымаливать благоволение миледи, или выполнял поручения лорда… Свифт страдал, возмущался, покидал свою службу, переживал унижения и вновь возвращался, проглатывая свою злобу, подчиняясь со скрытым бешенством своей судьбе».

Оказывается, можно быть красноречивее даже Тэна, конечно за счет Свифта.

Поль Сен-Виктор, тот прямо рубит сплеча:

«Вся его жизнь была злостной тиранией… Тирания эта началась с рабства. В двадцать лет секретарь… в сущности замаскированный слуга, Свифт испытал до дна все оскорбления и унижения. Он испытал, как горек хлеб лакея».

Вот что, оказывается, мы так неожиданно узнали. Сплошным, оказывается, рабством и унижением была жизнь Свифта в Мур-Парке!

Но разве это подтверждается приведенными фактами?

Лишний вопрос – зачем сухие факты, когда есть красноречивые домыслы, так ярко подтвердившие великолепную концепцию о человеконенавистнике, мстящем за понесенные обиды. И нельзя сказать, что серьезные исследователи жизни Свифта, как Вальтер Скотт, Форстер, Крэйк, Лесли Стивен и другие, были совершенно чужды этим домыслам. Но с досадой приходится констатировать, что отзвуки домыслов слышны и в советских работах о Свифте. «Незавидным было положение Свифта в доме старейшего аристократа. Он, по существу, являлся чем-то вроде старшего камердинера», – говорится в популярном очерке. «Старший камердинер»? Какой явственный отзвук Тэна и прочих. А в более серьезной работе читаем: «За детством и юностью следуют годы служения в Мур-Парке у барина в отставке – на положении не то слуги, не то наемного писаки, с робким заглядыванием в глаза старикашке-самодуру, постоянная необходимость льстить сибаритствующему вельможе». Теккерей, конечно, красноречивей, но так ли это непохоже на Теккерея?

Как все же возникла эта творимая легенда, только ли потому, что она

была желательна, только ли в результате вольных домыслов? Неужели нет ни грана материальных оснований для нее?

Есть одно высказывание самого Свифта и одна литературная его работа. Эти как бы доказательства с торжеством приводятся всеми повинными в распространении легенды.

Высказывание довольно лаконично. В 1711 году, в «Дневнике для Стеллы», Свифт пишет:

«Разве вы не помните, как мне было больно, когда сэр Уильям Темпл казался холодным, в плохом настроении в течение трех или четырех дней, и я терялся в догадках? С той поры я ободрился, но, честное слово, он портил хорошего джентльмена».

И это все. Вот это не совсем ясное («он» – очевидно, сэр Уильям, «джентльмен» – по-видимому, сам Свифт), но, во всяком случае, небрежное, интимное, полушутливое замечание, походя брошенная фраза, подтекст которой – какой же я был щенок! – служит материальным основанием для тонких психологов и блестящих литературоведов в создании мрачной легенды.

Но как же не недоумевать, сопоставляя легенду с фактами? Так, значит, «полулакея», «слугу», «камердинера» посылает знатный вельможа к королю с докладом?

Так, значит, юноша «с клеймом унижения, горящим в высокомерной душе», предпочитает нести это унижение, хотя может освободиться от него, приняв лестное и почетное предложение Вильгельма?

Так, значит, этот «Люцифер», он же Свифт, уже имея место священника с неплохим материальным обеспечением и независимым положением, бросает место и возвращается в Мур-Парк, чтобы продолжать «влачить цепи рабства»?

Так, значит, этот человек гениального ума, с воинствующим ощущением собственной мощи и достоинства, «страдал» оттого, что принимал свою пищу не с барином и барыней, а с домашним врачом, управляющим и капелланом? Он, уже писавший тогда «Сказку бочки», – «какой я гений был, когда писал эту книгу» – скажет престарелый Свифт, – он, стало быть, страдал от недостаточного к нему внимания леди Темпл?

Какой поистине легендарный бред!

Но если этого всего не было, то что же было?

Совершенно ясно, что Свифт, жил в Мур-Парке, трижды туда возвращаясь, совсем не для того, чтобы помочь биографам создать концепцию: плохой от рождения характер плюс унижения породили

человеконенавистника. Но также и не потому, что ему некуда было деваться: предложение короля, предложение Темплом должности чиновника, приход в Кильруте. Остается одно предположение: потому, что в Мур-Парке ему было удобнее и приятнее жить и писать. Простое предположение, но эта простота разве мешает его правдоподобности…

Почему же было удобно и приятно?

При всей неукротимой энергии своей мысли, Свифт был в житейских обстоятельствах, пожалуй, вялым и пассивным человеком. «Бороться за жизнь» он и не любил и не умел. Но как любил и умел он бороться за свое мнение о жизни! А для того, чтоб создать это свое мнение, ему нужна была, как воздух, как пища, возможность наблюдать и читать. И эта возможность целиком удовлетворялась жизнью у Темпла: прекрасная библиотека, громадное количество посетителей – сливки английской интеллигенции той эпохи, нескончаемые беседы о политике, литературе, морали, в которых он участвовал как равный, и, наконец, весьма поучительное общество сэра Уильяма, весьма полезные для Свифта рассказы его о своей жизни, хвастливые, самодовольные, тщеславные рассказы об этой вялой, бездарной жизни, – как полезны, как поучительны были они для Свифта!

Вот сидят они в прекрасной библиотеке Мур-Парка.

Строгая комната. Бюсты греков и римлян на низких консолях. Высокие книжные шкафы. Низкие, широкие окна выходят на приглаженные, аккуратные дорожки. Сэр Уильям в удобном кресле – у него сегодня легкий припадок подагры, и правая нога вытянута на бархатном пуфе. Как всегда, он щегольски одет, парик завит и надушен, и голос его звучен и бархатист еще больше, чем обычно. Он читает вслух свое знаменитое эссе о садоводстве.

Свифт слушает, прислонившись к камину, в позе, пожалуй, не слишком почтительной. Его бледное лицо в рамке густых черных волос как будто суровей, чем обычно, голубые глаза захолодели прозрачным, тонким льдом, на фоне камина он кажется очень высоким. Легкая морщинка вспухла на бледном лбу – Свифт слушает. Слушает почти с наслаждением: как оно закончено в полноте своей, это самовлюбленное ничтожество…

Звучно и вкусно льются фразы, начиненные дешевым изяществом, словно пирог трюфелями. Ловкий лоск грошовой учености, парад пышных имен, букет нарядных цитат – Эпикур и Диоген Лаэртский, Юлий Цезарь и Семирамида, гесперидские сады, ассирийские цари. И все – ложь! Пустая, вялая, страшная в никчемности своей ложь!

«Эпикурейцы нашли счастливо выраженную идею, когда они

поставили в зависимость счастье человека от спокойствия его духа и бесстрастия тела; так как человек состоит из духа и из тела, то и дух и тело участвуют в нашем благополучии и в наших бедах… Поэтому Эпикур проводил всю свою жизнь в саду, там он учился, упражнялся, проповедовал свою философию. И действительно, никакая другая обитель не способствует так спокойствию духа и бесстрастию тела, что и было его главной целью. Чистота воздуха, приятный аромат, зелень растений, тихие прогулки и, важнее всего, свобода от забот успокаивали и облегчали тело и дух».

Какой джентльменский стиль, каковы откровения – какая пустая бочка!

Снова журчит благодушный ручеек:

«Я считаю весьма разумным, что один из моих друзей, джентльмен из Стэффордшира, решил в своем саду ограничиться возделыванием слив; в этом он добился больших успехов, чего бы не случилось, если б он пытался возделывать персики и виноград; хорошая слива несомненно лучше, чем плохой персик».

Ах ты, гнилой, деревянный на вкус персик!

Пребывание в Мур-Парке сделало Свифта Свифтом, гениальным ненавистником. Ненавидеть нужно научиться, и Свифт учился этому со всей своей упорной, безжалостной, неукротимой страстью, учился, имея перед собой весьма подходящий объект. Конечно, сэр Уильям не подозревал, что он этот объект, да и как заподозрить? Не лично его учился Свифт презирать и ненавидеть, не Темпла, а темпловское, эту пухлую, утонченную видимость, скрывавшую мелкий ум и мелкие страсти – и в политике и в жизни.

Ведь ничто так не противоречило свифтовскому, как темпловское. Неистощимой моральной энергии боец – и вялый оппортунист; безжалостный реалист – и мелкий эстет; неумолимый критик – и равнодушный, всеядный скептик; рыцарь суровой, строгой мысли – и гурман-лакомка приятных мыслишек; воплощение бешеной, но над земным стоящей гордости – и фигурка надутого, помпезного самодовольства; срыватель всех и всяческих масок – и человек, существом которого была маскировка под значительность; храбрец – и трус, бессребреник – и эгоист, неистовый труженик-производитель – и сытый лентяй-потребитель…

Вот кто противостоял друг другу в Мур-Парке, и вот чем питался конфликт между Свифтом и Темплом – этим, а не обидой Свифта на слуг.

И был конфликт творческим счастьем для Свифта, богатой школой, могучим университетом, в этом конфликте обрел он дар презрения, ярость сарказма, мощь иронии, гений ненависти. И сделал его этот конфликт автором «Сказки бочки», а потом «Гулливера». Этого пустяка не заметили обманутые – по своей воле – биографы: им было не до пустяка – они слишком были заняты счетом «унижений», понесенных Свифтом в Мур-Парке…



Глава 4
Свифт ставит точку



Всякая общественная жизнь по существу практична.

Все мистерии, которые заводят теорию в мистицизм, находят свое рациональное разрешение в человеческой практике и в понимании этой практики.

Маркс

…Был неприветливый муж и не мягкосердечный…

Гомер

«Сказка бочки», небольшая рукопись, написанная очень четким и очень спокойным почерком, окончена; доволен ли Свифт?

Ему около двадцати девяти – это не юношеский возраст. Люди рано начинали жить в ту эпоху: двадцать восемь – двадцать девять лет – возраст свершений. Где свершения эти?

Их нет. С момента вхождения его в жизнь – около девяти лет назад – шли спокойные, вялые, пожалуй, годы. Шли легко, безмятежно, опадая, как листья с дерева. Были, конечно, и затруднения, и неприятности, и осложнения, не оставлявшие, однако, следа, не ставившие, во всяком случае, рокового вопроса: «Верен ли мой путь, правильно ли нацелена моя жизнь…»

Однако вопрос этот никак не интересовал Джонатана Свифта. Стремления, искания, достижения, свершения – все это знал и он, но в плане совершенно особом, в своем понимании. Не в жизненных реальностях, а в области взгляда на жизнь. На жизнь, на мысль, на человека и человечество, на все унаследованное человечеством духовное богатство. Взгляд на жизнь – он заменил для Свифта на эти годы самую жизнь со всеми ее случайными, а иногда и досадными деталями и конкретностями. Годами воспитания своего взгляда на жизнь и были годы Мур-Парка. В этом процессе – о нем знает только он сам – находит все, что нужно человеку, щедро богатому эмоцией и страстью человеку: тут он ищет и находит свое полнозвучное счастье; тут веселится бурная романтика риска, вскипает и утверждает себя дерзание юности, воинствует и торжествует натиск воли… Спокойные, вялые, пассивные годы… Но ведь годы эти – буря переживаний, неудержимая лавина страсти: именно так написана эта могучая книга самоутверждения. Все эти годы писал Свифт свою книгу? Может быть, месяцы, а не годы: небольшая ведь книга; но каждый день в этих годах был ступенью громадной лестницы, по которой всходил он наверх, неуклонно и упорно день за днем, ступенька за ступенькой на головокружительную высоту. Поднялся, бросил пронизывающий взгляд на мир, расстилающийся под ним, взгляд стал итогом. Двадцатидевятилетний, сумрачный, стройный и собранный, суровы его льдисто-голубые глаза, одинокий и гордый своим одиночеством, высокий и молчаливый, – знал ли Джонатан Свифт подлинную цену этому итогу своих раздумий? Понимал ли, как ничтожна перед таким итогом самая блистательная жизненная карьера, самые волнующие жизненные перипетии?

«Боже, какой я гений был, когда писал эту книгу!» – так судил престарелый Свифт о Свифте молодом, который судил в своей книге человека и человеческое…

Но свифтовский итог – только книга, литературное произведение? Для нас – теперь, но не для Свифта – тогда. «Сказка бочки» для него не литература. Литературой были и весьма среднего качества его оды и

прочие стихотворные произведения, его написанная одновременно со «Сказкой» «Битва книг» – произведение, вполне умещавшееся в рамках жанра «вежливая литература»: этот английский термин соответствует французскому «галантная литература»; сэр Уильям Темпл с его этюдами о садоводстве и о вреде крайностей был, конечно, украшением «вежливой литературы». Но не «Сказка бочки» – это и не вежливая, и не литература… В целеустремленном документе вроде тщательно аргументированного судебного приговора не найти ведь ни вежливости, ни литературы…

Естественно спросить, какова же цель целеустремленного документа?

Свифт словно предвидит вопрос и отвечает на него первой же строчкой документа: «Сказка бочки, написанная для общего совершенствования человеческого рода».

Однако… разве это серьезно? Свифт – великий мистификатор, это всем известно. Так и здесь – по-видимому, не больше чем обычная мистификация, не очень тонкая ирония, особенно если подумать – что же означает само название «Сказка бочки». Какую такую сказку может рассказать бочка? А еще со времени Томаса Мора, первого применившего данный оборот речи, было известно, что «Сказка бочки» означает – бессмысленная болтовня.

Как же не мистификация: бессмысленная болтовня, написанная для совершенствования человеческого рода.

Да, мистификация, но совсем необычная, мистификация, так сказать, двойного плана; да, ирония, но не над самим собой, как на первый взгляд может показаться: ирония и мистификация свифтовского плана – одновременно и обнаженная и замаскированная.

«…Написанная для совершенствования человеческого рода» – это вполне и до конца серьезно. Но тут же мечта Свифта зашифровывается и маскируется издевательским заглавием – «Сказка бочки». Сказана правда, звучащая насмешкой. В этом весь Свифт – от «Сказки» и до «Гулливера». Ибо всегда и постоянно он хотел одного и того же – совершенствовать человеческий род. Хотел это так, с такой же гениальной уверенностью в праве своем и естественной простотой, с какой хочет ребенок предаться своим детским играм, и с такой же страстной энергией и беззаветно стихийным натиском, с каким стремится поэт к образу, скупец к золоту, зверь к пище, влюбленный к подруге.

Серьезное стремление совершенствовать род людской. Знает Свифт, что такое именно стремление, родившееся вместе с родом человеческим, создало старинные чудесные книги – Иова, Иеремии, Исайи… Но он-то человек нового времени, он не пророк, а только секретарь вельможи на

отдыхе… Знает Свифт, что такое же стремление продиктовало огненные терцины Данте, вдохновенные строфы Мильтона, но у обоих был лейтмотив завуалирован симфонией художественных образов, тканью поэтического вымысла… А он, Свифт, не чувствует себя художником, поэтом – в этом смысле. И если не завуалировать свою мечту, разве не почувствует в ней читатель привкус комического? Поэт найдет образ, скупец прикоснется к золоту, зверь дорвется до пищи, и встретит влюбленный подругу – и все это в норме жизни. Но ему, двадцатидевятилетнему секретарю, книжкой совершенствовать род человеческий? Как просто и легко осмеять трепетную мечту. И не нужно быть «Люцифером гордости», чтоб этого бояться. Значит, зашифровать свою мечту. Но как? И вот тут Свифт становится Свифтом, гениальным мистификатором. Нужно сказать о ней так просто и громко, так во весь голос, что принята она будет за шутку, за мистификацию. Да, мистификация, но двойного плана. Мистификация – она же страховка. Так, в таком плане нужно писать эту удивительную, эту единственную книгу. И если современники-читатели насмешливо спросят: «Кто дал тебе право, ничтожному писаке, безродному секретарю, исправлять человечество? Кто ты такой, с твоей бешеной злобой, жуткой издевкой, мрачным сарказмом, высокомерной уверенностью? Да ты просто смешон!» – тогда он ответит: “Над кем смеетесь – над собой смеетесь, ведь я вас просто мистифицировал своей “бессмысленной болтовней”».

Но современники отнеслись к «Сказке бочки» очень серьезно, так серьезно, что она непосредственно отразилась на свифтовской судьбе. И совсем не посмеялись над ней. Но вот биографы и комментаторы, отнюдь не усомнившиеся в стремлении Свифта совершенствовать род людской, в праве его на это усомнились. И право его – право великого гуманиста – дискредитировали психологическими изысканиями. Существо изысканий известно: прирожденный плохой характер плюс унижения, понесенные в Мур-Парке, – это и обусловило возникновение одной из гениальнейших и мрачнейших книг, известных человечеству. Представителям такого метода литературоведения прекрасно известно также, что Шекспир написал «Гамлета» потому, что ему изменила жена, а Данте «Божественную комедию» – после того, как у него сбежала любовница. Почему бы не поставить памятников двум достойным дамам, а заодно сэру Уильяму Темплу?

С точки зрения литературной практики эпохи «Сказка бочки» – произведение в жанре эссе. Жанр этот – основной в литературе эпохи,

наравне с поэзией и драматургией. И, пожалуй, особенно в Англии – наиболее привлекающий внимание и читателей и литераторов. Очень вместителен этот жанр, позволяет он автору вносить в свое произведение менее уместные в других жанрах элементы и науки, и философии, и политической публицистики, и морализирующего памфлета, и, наконец, художественной образности. Жанр эссе был в некотором роде синтетическим, и соответствовал он нормам духовной культуры семнадцатого века, стремившейся к синтезу всего отвоеванного в борьбе со средневековьем и феодальной культурой. Первый английский эссеист Бэкон претендует на универсализм своей мысли и подчеркнуто озаглавливает свое эссе – «Новый Органон»: старый, аристотелевский, был дискредитирован церковной схоластикой, нужно строить новый, столь же всеобъемлющий и по характеру и по целям своим.

«Сказка бочки» в плане жанра не может на первый взгляд считаться особым достижением. Не говоря уж о мастерах этого дела, и сэр Уильям писал гораздо стройней, с большим композиционным мастерством. Свифтовское эссе построено с неуклюжестью очевидной, словно нарочитой, вызывающей и дразнящей. Из одиннадцати глав или разделов лишь пять относятся к основному сюжету, остальные шесть самим Свифтом названы «Отступления». Неуклюже и громоздко это произведение со своими пятью предисловиями, помимо шести отступлений.

Но автор и не думает возводить элегантную игрушечную постройку, изящные очертания которой ласкают взгляд литературного эстета и прихотливого сноба. Стиль Свифта в первой пробе пера – это уже полностью стиль Свифта. Два стилистических направления были заметны в ту эпоху: изящный и легкий стиль «вежливой литературы» и тяжелый, наукообразный, педантический стиль ученых и морализаторских эссе, условно говоря – стиль забавляющегося аристократа и поучающего профессора. Но когда дело доходило до полемики, до борьбы, особенно в политических памфлетах, с какой легкостью и профессора и аристократы отказывались от академизма и изящества и вооружались увесистыми дубинами! Невероятная грубость литературной полемики была общей для всех стилистических школ и литературных направлений эпохи.

Автор «Сказки бочки» дебютировал не в роли профессора и, конечно, не в роли аристократа. Стиль плебея и демократа, безжалостный, собранный и мускулистый, чуждый всякому украшательству, презирающий декламационные побрякушки; стиль, игнорирующий зачастую грамматические правила и синтаксические каноны – в

стремлении к предельной ясности и максимальной доходчивости; стиль – рабочий инструмент, стиль – средство, а не самоцель. Но каким гибким и изобретательным становится инструмент, когда изготовляет мастер пародийно-мистификационные детали своего сложного чертежа! А детали как раз очень важны: одна из второстепенных, побочных целей свифтовского памфлета – это откровенная пародия на современное английское эссе со всей его сложной орнаментикой предисловий, посвящений, отступлений, вводных частей, формалистических композиционных узоров: отсюда и возникает нарочитая композиционная рыхлость и громоздкость памфлета. Но вот отброшены в сторону мистификаторски-пародийные цели; Свифт хочет нанести прямой удар по врагу, и стиль его – отточенная сабля и узловатая дубина одновременно, не поймешь, сабля ли, дубина ли в руках: дубиной фехтует, как саблей, и саблей наносит страшный удар наотмашь – такая полемика не столь груба, сколь смертоносна…

Комментаторы и критики, работавшие над расшифровкой свифтовского памфлета на протяжении двух веков, добились в общем желанной цели, распутав сложную сеть намеков, парабол, иносказаний, отделив пародийное от основного, принципиальное от личных выпадов, гениальный сарказм от мелкой злости, бич сатиры от укуса обиды, – ведь было и это все у Свифта.

В итоге установилась общая точка зрения на «Сказку бочки». Считается она настолько неоспоримой, что вошла в школьные учебники английской литературы; неудивительно, что с ней встречаешься и в предисловии к советскому изданию свифтовского памфлета.

Кто же не знает, что «Сказка бочки» – антирелигиозный памфлет! Воспользовавшись популярной в фольклоре темой о трех братьях, получивших наследство от отца, Свифт в прозрачной аллегории подверг критике три основные группировки христианской религии эпохи: католицизм, кальвинизм с его разветвлениями и протестантство (англиканская церковь). В истории каждого из сыновей дает он историю каждой из трех ветвей христианства. Но лишь история двух сыновей – Петра (католичество) и Джека (кальвинизм) – рассказана Свифтом во весь голос, история же Мартина (лютеранство) смазана, затушевана, и заключительная ее часть имеется лишь в предварительном наброске, принадлежность которого Свифту подвергается притом сомнению. Объясняется это – при полном единодушии комментаторов – весьма просто: как священник англиканской церкви, Свифт принужден был – из

уважения ли к своей религиозной группировке или по соображениям элементарной осторожности – демонстрировать хотя бы в этой части памфлета свою лояльность. Пока комментаторы единодушны, но расходятся они в основном вопросе: был ли Свифт атеистом. Одни это отрицают, считая, что ярость свифтовских обличений направлена лишь против искажений христианской религии – католицизм и кальвинизм в глазах Свифта, члена англиканской церкви, и являются таковыми. Эту концепцию подсказал комментаторам сам Свифт: в предисловии к новому изданию «Сказки бочки», 1710 года, он заявляет с достаточной определенностью, что стремился бороться с предрассудками религии, но не с нею самой – «автор готов поплатиться жизнью, если из его книги будет добросовестно выведено хоть одно положение, противоречащее религии или нравственности».

Другая группа комментаторов не склонна придавать значение свифтовскому комментарию, считая, что тут дымовая завеса, что в памфлете своем стремился он нанести удар христианству во всех его разветвлениях. Известна характерная фраза Вольтера: «Розги Свифта так длинны, что задевают не только сыновей, но и самого отца (христианство)».

Был ли Свифт законченным атеистом или лишь обличителем извращений в религии – этот вопрос непосредственно связан с другим: достаточно ли сказать – «антирелигиозный памфлет», чтоб получить полное представление о «Сказке бочки».

Из одиннадцати глав свифтовской книги история трех братьев занимает лишь пять. Что же в остальных шести, в «Отступлениях»? Объединены ли они подобием сюжета, какой-либо основной темой? Предисловия к памфлету откровенно пародийны – Свифт издевается над низкопоклоннической лестью авторов, посвящающих свои бездарные работы знатным лицам, но как же разобраться в поражающем читателя сумбуре и хаосе шести «Отступлений»?

С отступления книга и начинается, это первая глава, озаглавленная скромно – «Введение».

Куда мы введены? Как осмыслить необузданный хаос, бредовый, почти сумбур! Физически почти слышен бешеный лет мыслей, вонзающихся, как стрелы. В кого? Стрелы издевки направлены на объекты, подобранные как будто нарочно по признаку случайности и несоответствия. Это Английское королевское общество (что-то вроде Академии наук); это нравы актерской среды; это сочинения мелких памфлетистов; это опыты по алхимии; это порядок совершения публичных

казней; это схоластические определения мудрости. И все это на фоне разнузданной, свирепой мистификации, сдвигаются события, лица и эпохи, известный еврейский богослов второго века оказывается автором знаменитого произведения английского фольклора; сам автор памфлета называет себя старцем, заявляет, что он написал за свою долгую жизнь девяносто одну брошюру к услугам тридцати шести политических группировок, любезно сообщает, что тело его истощено плохо залеченными венерическими болезнями…

Такова увертюра – первая глава первой книги начинающего автора; конечно, никто в мировой литературе так не начинал свою первую книгу. Мимоходом брошено замечание: «Книги – дети мозга». Как капризен мозг, породивший эту первую главу первой книги! Но дитя ли мозга? С первых же строк первой главы первой книги чувствуешь взрыв бешеной эмоции, долго тлевшей в подполье, под пеплом, прорвавшейся наконец…

«Кто одержим честолюбием заставить толпу слушать себя, пусть как можно усерднее жмет, тискает, толкает, карабкается, пока не вознесется на некую высоту…» Четыре эмоциональных глагола в одной фразе; к кому они относятся – не к самому ли автору, «одержимому честолюбием», который будет сейчас жать, тискать и толкать мысль и чувство читателя, чтобы вскарабкаться на головокружительную высоту по ступеням мистификационных парадоксов? Напрашивающийся, но риторический вопрос, и не так просто обстоит дело со Свифтом.

Увертюра прозвучала. Кто ж не знает, что в увертюре нужно искать ключ ко всему произведению, доминанту, лейтмотив вещи… Но подождем искать.

Следует дальше первая глава самой сказки и затем третья глава книги, второе отступление. И стало легче. Тут уже есть некий сюжет, видный из заглавия – «Отступление касательно критики».

Заглавие не обманывает. С первой и до последней строчки эта главка – неистовая, яростная атака на жанр критики и его представителей. Удар подготовляется исподволь, исподтишка, удар словно подкрадывается тихими шагами. Развертывается рассуждение, пародирующее научный стиль, о священном происхождении института критики, имитируется библейская стилистика, с неподражаемой серьезностью нанизывается гирлянда цитат из классических авторов, частью подлинных, частью придуманных, демонстрируется свифтовское искусство диалектически истолковать любую цитату так, что становится она аргументом… Подкрадывается Свифт… Но незаметный какой-то шаг – и все цитаты, силлогизмы, рассуждения и аргументы неожиданно сжались, сгустились,

уплотнились в безжалостный, железный кулак. Кулак этот бьет, аккуратно, точно, мрачно, современных представителей – названы имена – критического, верней, эссеистского жанра. Притом с утонченной вежливостью сообщает Свифт: «Ведь давно уж замечено, что истинный критик как древности, так и нового времени подобно проститутке никогда не меняет своего звания и своей природы»; с величайшей любезностью приводит он «научную» справку, уподобляя критика «конопле, которая, по утверждению натуралистов, годится для удушения уже в семенах». Но это удар, рассчитанный на то, чтоб убить. Есть специальный термин в английском уголовном кодексе: «выстрел, имеющий целью убить» – в отличие от выстрела случайного, в результате недоразумения, в состоянии законной самообороны. Но ни случайности, ни недоразумения, ни законной самообороны нет у Свифта.

Стреляет именно, чтоб убить.

Почему же, однако? Как было бы все понятно, если б писал эти строки писатель оболганный, исстрадавшийся, задыхающийся под грузом обид, непонимания, клеветы… Но написаны они человеком; еще ни строчки не опубликовавшим, еще не успевшим стать обиженным литератором. Какая тут самооборона! Застываешь в недоумении перед холодным бешенством этого удара. Неужели же не удастся найти для него внутреннего оправдания?

Свифт стреляет, чтоб убить. Свифт входит в литературу этой первой своей книгой для того, чтоб убить – в мимоходном порядке – современную ему литературу: это узнает читатель из пятой главы книги – «Отступление в современном роде»; предшествующая ей, четвертая – это продолжение сказки о трех братьях.

«Мы, удостоенные чести называться современными писателями, никогда не могли бы лелеять сладкую мысль о бессмертии и неувядаемой славе, если б не были убеждены в великой пользе наших стараний для общего блага человечества» – так начинается тихой издевкой пятая глава. И взлетает на следующих четырех-пяти страничках ослепительный фейерверк мистификаций, издевок и пародий. В точный адрес направлен свифтовский сарказм – в адрес Уильяма Уоттона, имя которого упоминается и в третьей главе. Уоттон, малоодаренный публицист и педантический филолог, ныне уже забытая фигура, был довольно популярен в свифтовское время, популярностью, однако, особого свойства: вся литературная Англия знала, что он был вундеркиндом, уже в тринадцать лет получившим степень бакалавра искусств. Блестящих надежд он не оправдал, ко времени написания «Сказки» он стал типичным

ничтожеством от науки, самодовольным педантом-тяжелодумом – свирепо Свифт ненавидел таких людей. Но Уоттон был для него лишь ближайшей мишенью.

В 1694 году Уоттон опубликовал свое известное «Рассуждение о древней и современной образованности», послужившее поводом к горячей дискуссии, охватившей всю культурную Англию конца века. Тема дискуссии: кто сделал более значительный вклад в культуру человечества – античные писатели или современники – была наивно-дилетантской, даже комической, но скрывалось за внешней темой характерное и значительное содержание. Культура конца века, воинствующая и самонадеянная культура людей, покончивших с догмами средневековья, но в то же время развращенная и эгоистическая культура, возникшая на пепелище революционных идей середины века, послереволюционная и в известном смысле контрреволюционная культура, утверждала себя в этой дискуссии. И очень часто это утверждение переходило в чванное самодовольство маленьких людей в области науки и мысли. Свифт вмешался в эту дискуссию, нетрудно догадаться, на чьей стороне: мудрость века считает он пошло поверхностной, морально развращенной. И он написал одновременно со «Сказкой бочки» остроумный небольшой памфлет – «Битва книг». Веселый и блестящий юмор этой вещи, пожалуй, единственное ее ценное качество; слишком условен, и притом заимствован из одноименного французского памфлета ее сюжет: битва находящихся в библиотеке книг античных и современных авторов и позорное поражение последних. А во главе армии современников Свифт поставил мистера Уоттона и другого филолога – Бентли.

Но если в «Битве книг» Уоттон был осыпан легкими стрелами шаловливого свифтовского юмора, то в пятой главе «Сказки бочки» на него обрушились тяжелые бичи ярости. Удар, чтоб убить, наносит Свифт, говоря по адресу Уоттона, что им, автором «Сказки бочки», написано «новое пособие для невежд, или искусство стать глубоко ученым при помощи мелкого чтения».

Расправиться с Уоттоном лично было лишь, однако, узкой, мимоходной целью «Отступления в современном роде». За этой маленькой мишенью видел Свифт другую и основную: характер современной ему духовной культуры. В плане откровенного издевательства зачисляет он и себя в ряды ее представителей.

«Разрешите мне воспользоваться почетной привилегией выступать на литературном поприще последним; я требую абсолютного авторитета по праву, как самый новый из современников, что и дает мне деспотическую

власть над всеми авторами, выступавшими до меня». И на основании этой «деспотической власти» он протестует против обычая современных авторов снабжать свои произведения большим количеством предисловий и отступлений, ожидая, конечно, что наивный читатель воскликнет: а ты сам! (пять предисловий и шесть отступлений в «Сказке»). Но это Свифту и нужно, чтоб закончить главу недвусмысленной насмешкой: «Уплатив таким образом должную дань почтения и признания установившемуся обычаю наших современных авторов этим непрошеным и длинным отступлением, ничем не вызванным всеобщим охаиванием, выставив напоказ с большими трудностями и не меньшей ловкостью мои собственные великолепные качества и чужие недостатки, оказав полную справедливость себе и почтение им, – я счастливо возвращаюсь к моей теме». И следует шестая глава «Сказки».

Так не в Уоттоне, оказывается, дело; и не в «обычае современных авторов»; все это гораздо серьезней. За пародией, издевкой и мистификацией отчетливо слышен приглушенный, сдерживаемый, такой подлинный вопль «молодого современного автора»: «Дорогие современники, я не в вашей культуре, я не с вами, не ваш, не ваш!»

И этот вопль и пафос отрицания всей культуры современности – в нем лейтмотив увертюры, центральная тема, звучащая пока в подтексте всех сумбурных отступлений, яростной, как бы неоправданной злобы, бесцельной якобы мистификации, ничем как будто не вызванных ударов, чтобы убить.

А в следующем за шестой главой новом отступлении, с вызывающей откровенностью названном «Отступление в похвалу отступлений» (Свифт пользуется здесь, как сказали бы сейчас, методом «обнаженного приема»), центральная тема звучит уже не в подтексте. Тут идет лобовая фронтальная атака на типические стороны современной культуры, отброшены мистификации и аллегории, вещи называются собственными именами. Литература, а особенно драматургия конца века (Уичерли и другие) отличается разнузданным цинизмом, и Свифт пишет: «Я имею в виду прославленный талант передовых современных умов черпать поразительные, приятные и удачные уподобления и намеки из сферы срамных частей обоих полов». Идут далее обвинения в лености и рабстве мысли, в никчемной болтовне, в страсти к бессмысленному цитированию авторитетов, в бездарном начетничестве. Все это относится уже не только к литературе, но и к науке; тут не отдельные выстрелы – идет обстрел пулеметным огнем, обвинения обгоняют друг друга в яростной скороговорке – автору некогда!

И в самом деле. Следует затем восьмая, глава – продолжение сюжета «Сказки» и, наконец, глава девятая – знаменитое «отступление о безумии», центральный момент всей книги, одиннадцать небольших страничек, стоящих на уровне лучшего когда-либо написанного Свифтом, на уровне самых страшных, мужественных и горьких страниц мировой литературы.

Но это отступление тесно примыкает к самому сюжету «Сказки», являясь его завершением.

Свифт отнюдь не претендовал на оригинальность во внешнем построении сюжета своей притчи о трех братьях: боец, а не эстет, художник мысли, а не формалист, он никогда не гнался за дешевыми лаврами внешней выдумки. Прозрачность аллегории в сюжете «Сказки бочки» была им доведена до очевидности. Поэтому и дано старшему брату имя Петра (апостол Петр), второму – Мартин (Мартин Лютер) и третьему – Джек (Джон Кальвин). И похождения Петра рассказаны во второй и четвертой главах «Сказки» отчетливо, скупо, ясно, чтоб каждый увидел и понял, что автор имеет в виду. Мистификация, намек, парадоксы, гротеск – все это в отступлениях, в этих же главах «Сказки» энергичные и скупые мазки могучей и суровой кистью. И это понятно: католицизм в Англии уже до Свифта был достаточно скомпрометирован и ненавидим широкими массами; задача памфлетиста была не в обличении и осмеянии, а в наложении клейма, в выполнении приговора общественного суда. В немногих штрихах дает памфлетист историю и практику католицизма, применяя при этом изумительный метод, ставший впоследствии могучим оружием критического разума в борьбе с отжившими фикциями.

Через весь сюжет «Сказки бочки» проходит мотив одежды и всего связанного с ней. Три кафтана завещал отец трем братьям, судьба этих кафтанов – это судьба самих братьев. История католицизма – она и есть история украшения, то есть усложнения, обрастания кафтана. Движимый пошлостью, тщеславием, похотью, стал старший брат, а за ним и другие обряжать свой кафтан. Но что такое наряд? Это основа всего, говорит Свифт. Портной – великий демиург, вселенная – огромное платье, облекающее всякую вещь, шар земной – полный элегантный костюм, и человек – лишь форма платья – «микрокафтан». Следуют лаконичные, трагические в афористической четкости своей строки: «Разве религия не плащ, честность – не пара сапог, изношенных в грязи, самолюбие не сюртук, тщеславие не рубашка и совесть не пара штанов, хотя и прикрывающих похоть и срамоту, но легко спускающихся для обслуживания и той и другой». «Это сатира на фанатиков», – делает

вежливое примечание к данному абзацу один из ранних комментаторов Свифта, сужая гениальный размах свифтовской мысли. Нет, в этих скупых строчках – они послужили основой пухлого и многословного трактата Карлейля «Сартор Резартус» – не о фанатиках речь; могучий ветер, сметая скалы, разметывает и песок, но не в песке ведь дело.

В приведенных строчках ключ к пониманию свифтовского метода, того метода – он основной и в «Гулливере», – каким он вел свою борьбу одиночки гуманиста против современной ему культуры и морали, и религии как части духовной культуры. История культуры, морали, а значит и религии, нынешняя практика культуры, морали, религии – это, по Свифту, история и практика облачения культурных, моральных и религиозных ценностей в одежды и покровы. И он, Свифт, снимает покровы, буквально разоблачает, раздевает, оголяет, отделяет внешнее от подлинного, видимость от сути и показывает, что за покровами – мерзость, гниль, ложь! Сдирающий покровы, срывающий маски – таким осознает он себя в современности, и отсюда его яростный вопль: я не с вами, я не ваш!

Так возникает его художественный метод, метод обессмысливания того, чему условным молчаливым соглашением придан фиктивный смысл. Очень простую вещь делает Свифт: не желая быть участником этой игры, он нарушает ее правила.

В четвертой главе «Сказки», завершающей критику католицизма, центральное место занимает описание основного католического обряда – таинственной мистерии пресуществления (евхаристии). Так, как Свифт, описал бы этот обряд человек, увидевший его в первый раз, знающий только то, что сейчас увидел. Результат подобного описания поражает читателя ударом грома: фиктивный, привнесенный в обряд смысл вышелушивается, и остается лишь шелуха, поражающая своей очевидной бессмыслицей оболочка.

Что требуется для пользования этим приемом – а он встречается и в «Гулливере», и в политических памфлетах Свифта, – особая гениальность выдумки? Нет, он очень прост, им пытались пользоваться многие и до и после Свифта. Но не каждому, так сказать, позволено его применять: это оружие трудное и опасное, оно применимо лишь в определенные политические эпохи и по плечу лишь человеку особого склада и своеобразного положения в своей среде. Для того чтоб прорвать круг условных фикций, нарушить правила игры, кажущиеся ненарушимыми, необходимо не столько понять, сколько посметь. И тому лишь дана эта гениальная смелость, кто чувствует за собой право судьи – но одиночки, обличителя – но по собственному закону, кто отвергает культуру

породившего его общества и среды во имя далекого своего идеала.

Этот прием или метод – он чаще встречается в области художественного мышления, отсюда и стремление понять его как чисто литературный или даже литераторский прием, столь характерное для формалистов в литературоведении, отрывающих его и от человека и от эпохи. Но не возьмешь этот прием по абонементу из библиотеки приемов, не одолжишь на случай – он основной момент мировоззрения и еще более мироощущения художника. И когда встречаются на протяжении веков два художника во всем разные, но одинаково применяющие этот метод, – духовное их сродство несомненно и незыблемо. Так устанавливается родство Свифта с Толстым; можно ли не вспомнить, читая описание обряда пресуществления у Свифта, толстовское – в «Воскресении» – описание обряда причастия? Ведь тут моментами буквальное совпадение! Заимствование? Пустяки! Мироощущение, кровь и нерв творчества не заимствуют, тут духовное сродство. Чему ж удивляться – разве не был Толстой «срывателем всех и всяческих масок» в своей эпохе и среде? Через века и страны они родственны друг другу, одинокие бунтари, рвавшиеся за рамки своего окружения и времени и одинаково не желавшие видеть ростки будущего в настоящем.

Тематически шестая глава продолжает развитие сюжета «Сказки бочки», повествуя о похождениях третьего брата, Джека, – прозрачный псевдоним кальвинистов, пуритан, сектантов всех мастей, отколовшихся на протяжении шестнадцатого и семнадцатого веков от официальной англиканской церкви и тридцати девяти пунктов ее катехизиса и объединенных в общем термине – нонконформисты («несогласные»). Аллегория Свифта все так же намеренно прозрачна, стиль и метод те же, что в четвертой главе. Набрасывая скупыми штрихами сжатую историю реформации (бунт двух братьев против Петра), автор с громадной сатирической силой обнажает психологический смысл религиозной борьбы пятнадцатого и шестнадцатого веков, сняв с него покровы условленного понимания. Конечно, Свифту недоступен был анализ социально-экономических причин возникновения этих сект – крайне левого крыла протестантизма – в Европе и Англии; тем более он не мог понять закономерности, с которой разбитые кадры кромвелевской революции, разочаровавшиеся в создании «царства божия» на земле, сказали: «Царство божие внутри нас» – и устремились в лоно религиозного мистицизма. Но идейно-психологический пафос этого мистицизма он понял превосходно. Понял – и восстал против него как мыслитель-реалист, как художник-реалист, как человек могучего критического разума. Биографы и

комментаторы радостно указывают, что сравнительная кротость Свифта в нападении на Мартина объясняется тем простым соображением, что не мог же он, в то время уже священник англиканской церкви, подрубать сук, на котором сидит, необузданная же ярость атаки на протестантские секты ничем не компрометировала его. Нет нужды оспаривать эти очевидные рассуждения, можно даже их принять и пойти дальше и глубже – это всегда рекомендуется при изучении Свифта.

Уже Игнатий Лойола внес в мистику католицизма сухую рассудочность и автоматичность. А к концу семнадцатого века она совершенно выветрилась, целиком превратилась в обрядность, в звонкие погремушки и нарядные блестки на «кафтане Петра», в эффектное театральное зрелище. Католический мистицизм перестал быть соблазнительным даже для наивного мышления; можно было с ним разделаться, обессмыслив обрядность. Но и в лютеранстве, а тем более в английской его ветви – англиканстве – уже с момента возникновения его мистическое начало было сведено к минимуму: сухой рационализм, дух конкретной деловой практики был содержанием этой церкви, родившейся сразу как государственный институт. С тем большей силой эксплуатировали мистическое начало – в благоприятной для них социальной обстановке – пуританские секты, нонконформисты. Отсюда яростный гнев Свифта против символического «Джека», против упоминаемых в «Сказке» исторических фигур Якова Беме, Джона Нокса, Кальвина, Иоанна Лейденского – этих ярких представителей мистической истории и религиозного экстаза. С исключительной остротой умственного зрения, проникающего сквозь все покровы, видел Свифт: здесь таится главный враг человеческой свободы и разума.

Как же разрушает Свифт мистическое, или, говоря языком эпохи, «божественное» или «духовное» в человеке?

Взбунтовавшись против Петра и поссорившись с Мартином (шестая глава «Сказки» – уход нонконформистов из англиканской церкви), Джек создает «секту эолистов» – «самую прославленную и самую эпидемическую секту». «Эпидемическую» – какой характерный термин! «Эолизм» распространяется как душевная, психическая болезнь. Но что такое «эолизм»?

В, примечании самого Свифта в начале восьмой главы, рассказывающей об «эолистах», читаем: «эолисты, то есть претендующие на вдохновение, озарение». Не мистификация, не аллегория – конкретное, точное определение: основным догматом протестантских сект и была вера в постигающее человека внезапное озарение. «Вселился дух божий» –

такова ходячая формула протестантской мистики. Но «дух божий» – это и есть «эол» (ветер по-гречески). Значит, одержимость «божественным» – это душевная болезнь, психическое расстройство. С потрясающей силой реалистического, рисунка описывает Свифт в восьмой главе «Сказки» проявление и признаки болезни эолизма, заимствуя иллюстративный материал из практики пуританских проповедников, доводивших себя и слушателей до состояния «духовного экстаза». Изгнать разум, заменив его экстазом, – такова, по Свифту, цель этих проповедей. И хотя есть в этом описании и мистификационные нотки, но оно называет все своими именами и достаточно реалистично, чтоб быть понятным каждому читателю.

Мистическое, то есть «божественное», в человеке порабощает, лишает свободы и разума – таков подсказанный гневно-брезгливым анализом религиозного чувства окончательный вывод из похождений Джека. Но, не довольствуясь этим, Свифт обличает Джека и по другой линии, указывая, что «эолисты» прекрасно умели устраивать при помощи «экстаза» свои житейские дела: откровенный намек на купцов из Сити, значительная часть которых принадлежала к сектантам.

В первом произведении своем Свифт уже выступает ненавистником «денежных людей» – с этой ненавистью не расстается он всю долгую свою жизнь. И в своем Джеке и «эолистах» олицетворяет он не только религиозную мистику, но и капиталистический дух эпохи, со свирепым красноречием показывая, как оборачивается мистическая теория – деловой, то есть капиталистической, практикой. Так обогащается и углубляется его гуманистическая критика современной ему культуры.

Покончив с Джеком, исчерпал ли Свифт свой гнев ко всему, что порабощает и оглупляет человека, свой пафос отмежевания от культуры, построенной на порабощении и оглуплении, свое стремление «совершенствовать человеческий род»?

Нет. Он пошел дальше, написал девятую главу «Сказки». Вот полное ее заглавие: «Отступление касательно происхождения, пользы и успехов безумия в человеческом обществе».

Это трудная глава. Топор, проникший далеко вглубь в борьбе с самыми древними, крепкими, узловатыми корнями. Какое же дерево хочет срубить дровосек? Религия на нем – широкая, могучая, но только ветвь; литература, наука на нем – только ветви. «Сказка бочки» – антирелигиозный памфлет? А эта девятая глава! Зачем же путать ветвь с деревом? Молодой, начинающий автор, скромный секретарь знатного вельможи, хотел написать не антирелигиозный памфлет. Замах не по ветви

был, а по дереву, хотя, естественно, религия – этот объект отмежевания, борьбы, брезгливого гнева и горькой иронии – заняла количественно наибольшее место в его работе. По дереву был размах, хотя и обрубал он предварительно ветви. «Отступление касательно безумия» – религия не ярчайшее ли проявление этого безумия? Значит – срубить эту ветвь в первую очередь.

Но исчерпывается ли религией безумие?

– Отнюдь нет, дорогой читатель, так прочти же девятую главу, вчитайся в нее, и если, прочтя, захочешь назвать мою работу «античеловеческим» памфлетом – я возражать не буду… Я изобрел – исключительно как стилистический прием, в порядке нехитрой мистификации – секту «эолистов», и «заслуженная репутация славной секты (так начинается девятая глава) ничуть не роняется оттого, что возникновением и уставом своим она обязана такому учредителю, как описанный мной Джек, у которого зашел ум за разум и мозги свихнулись, каковое состояние мы считаем болезнью и *называем ее безумием или умопомешательством*» (курсив Свифта). Но в эту славную секту, дорогой читатель, зачисляю я всех, кто, с твоей точки зрения, оказал влияние на судьбы человечества, сделав их такими, какие они есть сейчас и какими я, Свифт, их не приемлю. Послушай же:

«В самом деле, если мы совершим обзор величайших деяний, совершенных в истории отдельными личностями, например основание новых государств силой оружия, развитие новых философских систем, создание и распространение новых религий, то найдем, что совершившие все это были люди, природный разум которых претерпел множество превращений благодаря их пище, воспитанию, преобладанию какой-либо наклонности совместно с особым влиянием воздуха и климата».

– Ты поймешь, любезный читатель, что последние строки – это в порядке все той же мистификации; если же горькую серьезность основной части моей формулировки ты также захочешь принять за шутку, я даю тебе это право.

Я шучу и мистифицирую, конечно, когда предлагаю твоему любезному вниманию мою «теорию паров» как источник и первопричину безумия, но когда я касаюсь темы – безумие как рычаг политики, то я знаю: и это ты сочтешь выгодней и безопасней для себя принять за шутку. Пусть так. Но слушай дальше.

«Другой пример (безумия в политике) я нашел у очень древнего писателя. Некий могущественный король свыше тридцати лет забавлялся тем, что брал и терял города; разбивал неприятельские армии и сам бывал

бит; выгонял государей из их владений; пугал детей так, что те роняли из рук бутерброды; жег, опустошал, грабил, устраивал драгонады, избивал подданных и чужеземцев, друзей и врагов, мужчин и женщин. Говорят, философы всех стран долго ломали голову, какими физическими, моральными и политическими причинами объяснить возникновение столь странного феномена».

– Ты смеешься, изнемогаешь от хохота, когда я объясняю дальше этот «феномен» как «феномен паров» и с циническим натурализмом рассказываю – это тебе не может не понравиться, – как возникают эти пары в задней части тела. Но понимаешь ли ты, что эту мелочь моего остроумия – а оно лишь разменная монета моего мировоззрения – я бросаю тебе как приманку, как червячка на крючке; схватишь червяка – и проглотишь, хочешь не хочешь, крючок: ведь не можешь даже ты не понять, что герой моего примера – великий и могучий король, наш современник, христианнейший монарх Людовик XIV, и о его славном царствовании я так непочтительно рассказал. И если он жалкий безумец в моих глазах – можешь понять, как я отношусь к нашим домашним политикам и ко всей нашей общественной системе, основанной на безумии и зле. Впрочем – я уточняю:

«Читатель, я уверен, согласится со следующим моим утверждением: если современные мыслители считают безумием потрясение или помрачение мозга, под действием некоторых паров, поднимающихся от низших способностей, в таком случае это безумие породило все великие перевороты, которые происходили в управлении государствами, в философии, в религии».

– И если тебе кажется сомнительным этот силлогизм – не настаиваю на нем: его первая часть дана лишь для твоего развлечения, но мне важны только последние его слова…

Догадался ли ты, мой внимательный читатель, какая жестокая правда скрыта в диких моих мистификациях? Не трудно догадаться. Но если ты очень толстокож – позволь поделиться с тобой еще одним моим проектом. Возможно, даже тебя проймет затаенная в нем моя ненависть, скорбь – и ты затруднишься принять его за милую, остроумную шутку.

Я предлагаю использовать тех, подобных тебе, коих ты почему-то решил считать безумцами и засадил в Бедлам – сумасшедший дом. Я, видишь ли, предлагаю «исследовать достоинства и способности всех питомцев этого учреждения…». «Этим способом, после должного различения и целесообразного применения их дарований, могут быть созданы замечательные кандидатуры для занятия различных

государственных должностей, церковных, гражданских, военных, пользуясь при этом методами, скромно мною предлагаемыми. И я надеюсь, что благосклонный читатель отнесется сочувственно к моим усердным стараниям в этом важном деле, приняв во внимание мое всегдашнее уважение к почтенному обществу, коего я одно время имел счастье состоять недостойным членом».

Я иду тебе навстречу, любезный читатель, намекая, что и я, автор этих строк, был питомцем Бедлама, я даю тебе возможность победоносно воскликнуть: лишь величайший безумец смеет называть нас всех безумцами!

И дальнейшие мои строки, где показываю я с неистощимой наглядностью, с ужасающей конкретностью, с бурной моей логикой, как становятся питомцы Бедлама, оставаясь безумцами, полезными и почетными гражданами твоего, читатель, общества, – можешь считать эти строки строками сумасшедшего. Зачем же мне лишать тебя этого удовольствия. И не пеняй на меня, если удалось мне обмануть тебя. Впрочем, нужно ли пенять? Ты ведь стремишься к счастью, а что такое твое счастье, счастье человека, о котором я рассказываю в этом небольшом моем сочинении?

«Если мы разберем, что обычно понимается как счастье с точки зрения разума или чувств, мы увидим, что все свойства и признаки счастья входят в такое короткое определение: быть счастливым – это значит постоянно находиться в положении ловко обманутого».

– А теперь – для вящего твоего удовольствия – я посмеюсь даже над моей пытливой мыслью, стремящейся проникнуть в глубь вещей. «Поскольку легковерие более благополучная одержимость духа, чем любознательность, поскольку мудрость, имеющая дело с внешней оболочкой, предпочтительнее той мнимой философии, которая проникает внутрь вещей и важно возвращается назад с известием и открытием, что там внутри она ни к чему не нужна».

– Помнишь, читатель, мою параболу о портном-демиурге? Так сообрази – если он хозяин мира, автор всего кажущегося, покровов, масок, то есть в конечном счете «внешней оболочки», то против кого же направлена моя разоблачительная философия? Против мировых основ? Успокойся, я шучу – я ведь сам называю мою философию «мнимой». Зато твоя философия – она реальна и так выгодна она! Вот выводы твоей не мнимой философии: «…человек, способный удовлетворить свою пытливость пленками и изображениями, приходящими к его чувствам от внешности вещей, он, как подлинный мудрец, снимает сливки с природы и

оставляет философии и разуму лакать кислые опивки. И это высший предел утонченного блаженства, это и есть состояние человека ловко обманутого, благостно мирное состояние дурака среди плутов».

Следует одиннадцатая глава, дальнейшие похождения Джека, доведенные до современных Свифту дней, – отраженная в зеркале прозрачнейшей аллегории история интриг и заговор нонконформистов в конце века: это откровенный до предела и гневный до дрожи в суровом свифтовском голосе политический памфлет, то грубо натуралистический, то яростно мистификационный…

И заключение, характеризуя которое, Свифт пишет в последних строках одиннадцатой главы:

«Я, как подобает благовоспитанному писателю, приступаю теперь к исполнению акта вежливости, которым менее всего на свете может пренебречь человек, идущий в ногу с современностью».

Прием раскрыт, даже обнажен: совершенно очевидно, что автор устал, изнемог – и отписался на этих последних строчках. Но какой же все-таки нотой кончает изнемогший под тяжестью и силы и горя своего человек: «Я делаю здесь остановку, пока не найду, пощупав пульс публики и свой собственный, что для нашего общего блага мне совершенно необходимо взяться снова за перо». И Свифт ставит точку.

Книга написана. Что же книгой рассказал о себе этот человек? Кто он?

Я не с вами, дорогие современники, я не ваш!

Чей же?

«Я отрицаю всю вашу культуру и религию как важнейший ее элемент и отрицаю эту культуру как форму мистики, одержимости, духовного рабства, я отрицаю эту культуру, счастье в которой – быть дураком среди плутов».

Что же признает автор «Сказки»?

«И я выхожу из вашей игры, нарушая ее правила, иронизируя, издеваясь. Нарушаю потому, что, когда дети играют, они знают, что правила игры условны, – и в любой момент опрокидывают правила, возвращаясь к реальности. Вы же глупее детей, в этой вашей грязной и низкой игре фетишизируете правила так, что для вас исчезает реальность».

Какая же реальность существует для Свифта?

Реальность человеконенавистничества, обиды на человека?

Красноречиво и сильно рассказала эта книга о нем, нужно было лишь уметь прочитать ее.

Нет, не человеконенавистник. Одиночка, изгой – и в хроническом

состоянии обиды. Но обиды не на человека, а за человека. Эта разница в одной букве решает все. Обиды за то, что человек глуп – а мог бы быть и мудр; несчастен – а мог бы быть счастлив; немощен – а мог бы быть могуч.

Но на кого же обида – кто в этом виноват? Легко сказать: Свифт должен был обидеться на социальный строй и бороться за изменение его. Но, выросший на пепелище революционных идей, сожженных реставрацией, дышавший подлым воздухом послереволюционного неверия – разочарования – банкротства, – где, в какой житнице мог он найти новые семена для посева? Человек, органически чуждый религиозности и притом опоздавший родиться, Свифт не мог изжить свою обиду пафосом великих религиозных реформаторов-революционеров – Гуса, Виклифа, Джона Лилберна… Человек боевого темперамента и конкретного мышления, не мог он вступить на путь бесстрастного мудреца-созерцателя, Спинозы… И не поэт, не художник образов – не мог он изжить обиду за человека, за мир, растворив ее в стихии творчества, нашедшего свою цель в себе.

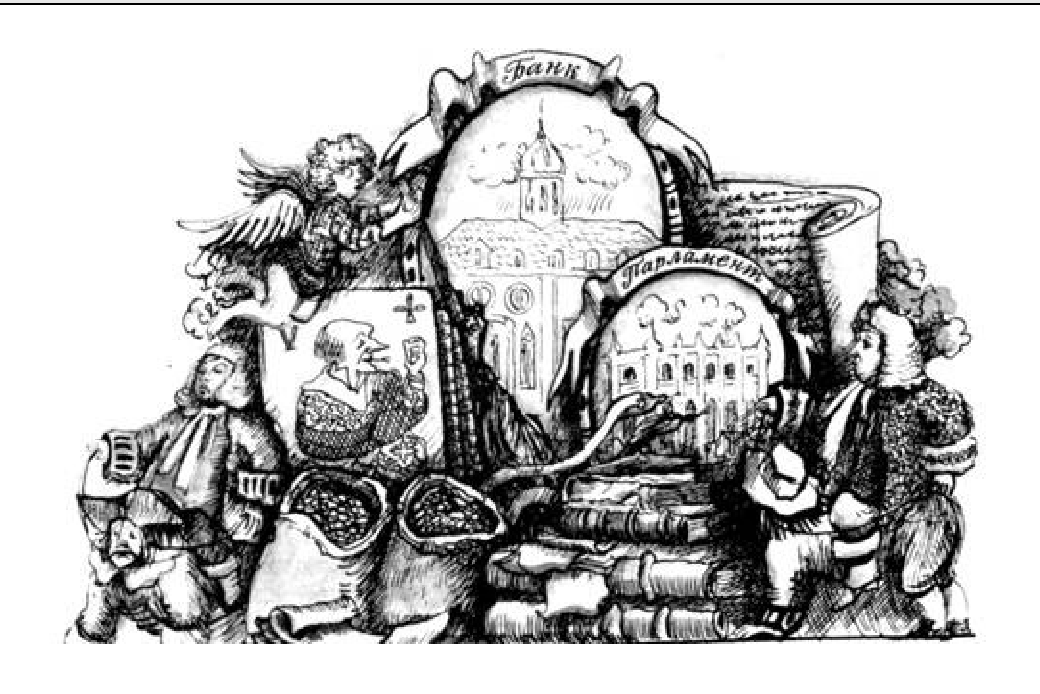
Но обиду изжить он хотел – и потому рассказал о ней. Рассказал – вот главное в Свифте – не только с целью объяснить мир, но и с целью изменить мир путем «совершенствования человеческого рода». Но замаскировал в рассказе свою цель – иронией, мистификацией, гаданием – надвое. Хотите – примите всерьез, хотите – примите за шутку!

Пора наконец сорвать истлевшую защитную одежду, расшифровать мистификацию, отнестись серьезно. И сказать: не антирелигиозный памфлет написал Свифт, и не человеконенавистнический памфлет, и вообще не памфлет. Исповедь он написал. «Сказка бочки» – это могучая и горькая исповедь единственного в эпохе подлинного гуманиста, всю силу своей властной любви к правде, свободе, разуму, всю силу горькой своей ненависти к лжи, рабству, тупости вложившего в робкую, но бесконечно дорогую ему надежду, мысль, переживание: «Я объяснил, – если вы поймете – вы же захотите это изменить?…» И с этой надеждой – мыслью – переживанием – поставил он точку в «Сказке бочки».

Что же ты будешь делать дальше, Джонатан Свифт, когда ты поймешь, что тебя даже не хотят понять?


Авантюристы

Глава 5
Свифт вооружается метлой



Читает много,
Умеет наблюдать и видеть
Все, что скрывается
за внешними делами.
Редка улыбка у него,
но если улыбнется,
Так словно негодует на себя,
Что на челе своем он допустил улыбку.

Шекспир

Не умея сделать так, чтоб справедливость была сильна, – люди притворялись, что сила справедлива.

Паскаль

Философствовать о жизни? Нехитрое занятие; но ты попробуй, голубчик, бороться за жизнь. Не умеешь? Сам виноват, пеняй на себя!

И если бы мистер Бэш, разбитной и ловкий молодой человек, имел бы привычку вести дневник, то в дневник была бы занесена в конце 1699 года победная запись следующего приблизительно содержания:

«Сумел разделаться с этим несносным гордецом, Джонатаном Свифтом, – пост секретаря остался за мной, моя взяла!»

И мистер Бэш не солгал бы: в этом высокодраматическом поединке между величайшим умом эпохи и тусклым ничтожеством по имени Бэш бесспорно победил мистер Бэш. Дело в том, что автор «Сказки бочки» действительно умел лишь философствовать о жизни, но не бороться за жизнь.

В конце января 1699 года Джонатану Свифту – ему пошел тогда тридцать второй год – пришлось серьезно задуматься. И не над ролью безумия в человеческом обществе, но над гораздо более простым – или, быть может, для него более сложным? – вопросом – о том, что ему, в сущности говоря, сейчас делать… Не то чтобы в его жизнь вторглась какая-то чрезвычайная или трагическая неожиданность: нетрудно было предвидеть, что престарелый сэр Уильям должен будет в конце концов умереть. Он и умер. И необходимо сделать отсюда самые быстрые и решительные выводы, ибо благородная дама, супруга сэра Уильяма, отнюдь не настаивает, чтоб Свифт оставался жить в Мур-Парке.

Правда, у Свифта есть профессия: он священник англиканской церкви. Но для того чтобы жить, содержать себя, вообще быть нормальным священником, мало иметь сан, нужно иметь и доход с этого сана, то есть получить определенную должность в этом институте англиканской церкви. Священнические должности бывают разные, самая скромная – это должность сельского приходского священника; это значит жить где-нибудь в дыре, без общества, без книг, располагая очень небольшими средствами, и без особых видов на карьеру, то есть на продвижение по ступеням церковной иерархической лестницы. Свифт это хорошо знает – он уже имел приход в Кильруте и, попросту говоря, сбежал оттуда в Мур-Парк. И это понятно: Джонатан Свифт – не герой псевдоромантического стиля, не аскет и, конечно, не христианский подвижник. Общество и книги нужны ему как воздух, он любит хорошее вино, сутану из тонкой материи, хорошо расчесанный парик, он должен, наконец, помогать и своей матери, живущей в Лейстере, – каждое лето он проводит у нее несколько дней. А кроме того, около десяти тысяч сельских священников насчитывается в англиканской церкви. Быть одним из них, рядовой единицей? Не обидно ли это Свифту?

Всю свою жизнь Свифт чувствовал себя просто, естественно и

свободно – в народе, среди громадной, безымянной людской толщи. Его пешеходные прогулки каждое лето в эти годы в Лейстер и даже в Лондон объяснялись не только соображениями экономии, не только заботой о здоровье. Ему нравилось идти не спеша по большой дороге, встречаться с людьми – «простыми людьми», – люди с положением пользуются иными способами передвижения; вступать со спутниками в долгие беседы, ночевать в постоялых дворах с вывеской – ночлег за пенни; правда, Свифт предпочитает заплатить больше и получить отдельную комнату – он любит спать в чистой постели. Но сидеть в большой комнате постоялого двора у огня в дождливую ночь, слушать больше, чем говорить, слушать про нехитрые житейские дела, про маленькие радости, горькие обиды, наблюдать и изучать это существо, именуемое человеком, – подчас с горькой иронией или с тихой тоской – это любит Свифт. Превращалась горькая ирония в бешеный гнев, а тихая тоска в концентрированную ненависть, но не в комнате постоялого двора, а в залах Мур-Парка: блестящее общество аристократов было несравненно более питательной пищей для свифтовской ненависти и гнева, нежели плебейская толпа, давало больше материала для него, так явственно видевшего через блестящую оболочку мелкие страсти и злобную глупость. Положение сельского священника не привлекало его, но не потому, что он стремился в гостиные аристократов, а только потому, что это положение – как он боялся, и основательно боялся, – создаст неодолимые препятствия тем туманным планам, что возникали у него, когда думал он о будущем.

А планы были. Связанные, очевидно, со «Сказкой бочки» и «Битвой книг». Однако оба произведения лежали еще в письменном столе Свифта, где они и остаются вплоть до 1704 года. Но легко понять, что путь в литературу ему широко открыт при том условии, если житейские обстоятельства не загонят его в провинциальную дыру. Приходский священник – не блестящая перспектива; но приходский священник в одном из приходов Лондона – это совсем другое дело.

Еще когда жив был сэр Уильям, шла речь об этом плане. Больше того – казалось, вопрос уже решен. Через сэра Уильяма было получено обещание одной очень важной особы помочь Свифту получить пребенду в лучшем лондонском приходе – вестминстерском: владелец пребенды – пребендарий – зачисляется в штат церкви, несет определенные служебные церковные функции и получает специально выделенную часть общецерковных доходов. Пребендарий вестминстерского прихода – это прекрасное положение. Кто же эта важная особа? Сам король Вильгельм! Не нужно удивляться. – сэр Уильям друг короля. Свифт уже имел честь

быть представленным королю, получил даже однажды от него лестное предложение, впрочем отклоненное. Нет сомнения, что король свое обещание выполнит… если только он не забыл о нем.

Свифт отправляется в Лондон – напоминать.

Личной аудиенции у короля добиться трудно. Но можно ведь воспользоваться связями с этими знатными джентльменами, так любезно беседовавшими со Свифтом в Мур-Парке. Один из них, лорд Ромни, любезно соглашается передать королю прошение и замолвить словечко за Свифта.

Прошение подано. Одно. Другое. Третье.

Нет ответа.

А стороной Свифт узнает, что лорд Ромни солгал не поморщившись; да и зачем бы ему нужно было хлопотать за бывшего секретаря умершего вельможи!

Ложь! Автору ли «Сказки бочки» не знать о роли лжи в человеческих отношениях? Да, но одно дело, когда об этом явлении пишешь в философском памфлете, и совсем другое, когда с обычной, с вульгарнейшей ложью встречаешься на практике, причем эта практика касается непосредственно тебя! Тогда кажется, что до этого момента лжи никогда и не существовало, тогда кажется, что ты первый за всю историю человечества обманутый человек… Велик гнев Свифта и несколько комичен: оказывается, что не только он «совершенствует род людской», но и самый вульгарный представитель этого рода может его кой-чему научить.

Свифт не сдается. Он добьется желанного места. И он будет действовать как настоящий, практический, жизненный человек. Ему ли, так хорошо знающему все пружины действий человеческих, не победить!

Кроме лжи есть еще на свете лесть. Все смертные любят лесть. Король – он больше других смертных. Естественно, что больше других смертных любит он лесть. Так будем же действовать в духе этого нехитрого силлогизма: слишком элементарен он, чтоб найти место на страницах «Сказки бочки», но для обыденной жизни вполне пригоден. Итак, будем льстить.

Оставив Свифту небольшую сумму, сэр Уильям Темпл, кроме того, оказал ему честь, назначив его своим литературным душеприказчиком, редактором собрания своих сочинений.

Находясь в Лондоне – в 1699 году, – Свифт выполняет редакционную работу согласно завещанию и вскоре выпускает сочинения Темпла в свет. И, пользуясь правом редактора, посвящает их в красноречивом

посвящении королю Вильгельму.

Так вот она, эта глубоко задуманная, кажущаяся такой хитроумной и целесообразной лесть! Но оказалось – аляповатая, наивная, беспомощная и детская лесть; конечно, король внимания на нее не обратил, ни сэр Уильям, ни его сочинения никак уж для него не существовали, и пропала лесть зря.

В чем же Свифт виноват: в том, что льстил, или в том, что льстил напрасно?

Возможно, Свифт мог бороться и дальше: связи по Мур-Парку у него все же сохранились. Но он не выдерживает характера, ему становится слишком противно и обидно – неужели он уж так беспомощен в этой неумной и элементарной игре, именуемой борьба за жизнь…

И он покидает Лондон в середине 1699 года, воспользовавшись первым сделанным ему предложением.

Впрочем, это очень лестное и выгодное предложение. Лорд Беркли, получивший видный правительственный пост в Ирландии, предлагает ему место своего домашнего секретаря и капеллана. Вместе с лордом отправляется Свифт в Дублин. Он может быть доволен – в общем все вышло не так плохо.

Оказалось – все же неважно! Ибо появляется на сцене в качестве мелодраматического злодея упомянутый мистер Бэш.

Все детали высокодраматической борьбы между Свифтом и Бэшем не так важны. Важен лишь результат: Бэш отбил у Свифта место секретаря лорда Беркли. И мало того: в компенсацию Свифту было обещано благородным лордом место каноника в округе Дерри – опять-таки не плохое положение, – не вышло и тут. Когда дело дошло до реализации обещания, все тот же мистер Бэш, уже в качестве секретаря лорда Беркли, сообщил удивленному Свифту: место-то можно получить, но оно очень выгодное, очень доходное и – стоит денег. Если почтенный мистер Свифт располагает тысячью фунтов, тогда все устроится к общему благополучию. Если же нет – что делать… Сумма, правда, немалая, но другие кандидаты не возражают против нее; и, конечно, мистер Свифт, как светский человек – он даже, кажется, литератор, – говорят, он написал какое-то замечательное произведение, – конечно, он должен знать, что выгодные места в англиканской церкви оплачиваются, правда неофициально, но это же разумеется само собою… Да-да, лорд Беркли об этом осведомлен, – тут голос Бэша понижается до шепота, – доходы достопочтенного лорда не так уж велики, а видный пост требует значительных расходов на представительство, – боже мой, в конце концов, это все так нормально!

– Оба вы негодяи, и пусть судит вас бог! – воскликнул негодующий

Свифт и немедленно покинул резиденцию лорда Беркли.

А назавтра по всему Дублину гуляло свирепое сатирическое стихотворение, посвященное лорду Беркли и его секретарю, за которым последовало через несколько дней новое – еще более свирепое. Автора не трудно было угадать; дружески-шуточные стихи, писавшиеся Свифтом за время короткого его пребывания у лорда Беркли, показали, как владеет Свифт рифмой. Впрочем, Свифт не скрывал своего авторства, вернее, своей мести.

И она возымела неожиданные результаты. И лорд Беркли и его секретарь поняли, что они столкнулись с человеком особого склада, владеющим оружием, им неведомым. Свифт умел внушать людям страх, лорду Беркли пришлось убедиться в этом первому. И через короткое время Свифт получил назначение, правда далеко не блестящее: должность приходского священника в ларакорском и рэттбеганском приходах и пребенду в дублинском соборе. Все вместе это давало ему сравнительную независимость и около двухсот пятидесяти фунтов годового дохода.

В феврале 1700 года Свифт отправляется из Дублина в Ларакор. Первая его схватка с жизнью закончилась – это нужно запомнить – Ирландией, отступлением, так сказать, на ирландские позиции…

Свифт, Джонатан Свифт, как же это понять? Вы, автор великого произведения, непримиримый мыслитель, мастер иронии, срыватель масок, оказываетесь вдруг в роли вульгарного, жадного искателя выгодных мест, неудачливого льстеца, неумелого лицемера! Почему же не предпочли вы, отбросив эти мелкие унижения, так вам не идущие, жить с хлеба на воду где-нибудь в лондонском чердаке, не помышляя о карьере, но оставаясь самим собой? Нельзя предположить, что священническая деятельность как таковая вас привлекает, никак не видишь вас в роли «носителя христианского утешения», благочестивого сельского пастыря – куда же денете вы ваше неуемное бунтарство, ваш критический разум… Неужели сразу захватила вас инерция жизни, те самые «правила игры», на которые так обрушилась ваша сатирическая ярость? Так, значит, «Сказка бочки» – это все же только литература, еще одна книга, прибавленная к тем тысячам книг, что вы прочли?

Красноречиво и драматично ответил Свифт на эти вопросы – ответил всей своей трудной жизнью. Но и в этот период ответил он самому себе: если не на эти, то подобные вопросы, если не прямо, то косвенно, ответил пустячком, крохотным сочиненьицем, озаглавленным

Размышления о палке метлы

«Вот одинокая палка – бесславно лежит она в заброшенном углу, а я знал ее, когда цвела она в лесу; была она полной соков, украшена листьями и ветвями. Но ныне тщетно пытается суетное умение человека соревноваться с природой, привязывая пук отцветших побегов к туловищу без соков: это лишь насмешка над тем, что было, – вот оно перед нами, дерево, перевернутое ветвями к земле, корнем вверх.

И в руках у неряшливой прислуги обречена она на скучно-грязную работу – вычищать мусор, оставаясь по капризной игре судьбы пыльной; а затем, изношенная трудами горничных, она либо выбрасывается за дверь, либо обрекается на последнее унижение – на службу кочерги. И, увидев ее, я вздохнул и промолвил: воистину, человек – это палка от метлы! Сильным и алчным послала его в мир природа, был он цветущим, и украшали его пышные кудри. Но топор излишеств отсек зеленые побеги, оставив ему сохнущий ствол, тогда бежит он под защиту уменья своего и надевает парик, набивая себе цену этим обилием противоестественных, напудренных волос, никогда не росших на голове его. О, если эта палка от метлы появилась пред нами, тщеславясь березовыми побегами, рожденными не ею, покрытая пылью, подметенной в комнате прекрасной дамы, как мы смеялись бы над ней, как презирали бы ее тщеславие… Как пристрастные судьи – судим мы наши достоинства и недостатки наших ближних! Но, скажете вы, не символ ли дерева, стоящего на голове своей, – палка от метлы; и я скажу – а что есть человек, если не создание, перевернутое вниз головою, животные свойства которого в борьбе одолевают разумные, макушка которого пребывает во прахе – месте для ног! И вот, однако, забыв об ошибках своих, стремится он быть могучим реформатором, тщится искоренить все зло, устранить все обиды, выскрести всю грязь, скопившуюся в природе, извлечь на свет потаенные пороки, поднять облако пыли и там, где ее не было прежде. Но ведь те самые скверны, что хочет он вымести, – глубоко они залегли в нем самом! И последние дни свои проводит он в рабстве у женщин – так часто самых недостойных, до тех пор, когда, истертый дотла, он выбрасывается подобно брату своему венику за дверь или служит для поддержки огня, согревающего других…»

Шутка? Пародия? Да, отчасти.

В 1703 году Свифт, бывший тогда в Лондоне, часто посещал леди Беркли; с мужем ее он уже успел помириться. А отношения его с миледи были превосходны, и он охотно читал ей вслух – Свифт любил читать

вслух, – в частности сборник светских проповедей, «Благочестивых размышлений» Роберта Бойля. И однажды, принеся с собой книгу Бойля, он сообщил, что прочтет только что найденное им «Размышление о метле». Миледи несколько удивилась странному названию, но приготовилась слушать. И когда он кончил чтение...

– Однако, доктор Свифт, это как-то и похоже на Бойля и очень не похоже… И мне кажется, что это очень грустное и очень неблагочестивое рассуждение!

Свифт улыбнулся. Да, это и похоже и не похоже на пресные, тягучие и пошлые размышления светского проповедника-ханжи. А когда он ушел, оставив как бы случайно открытую книгу на столе, и миледи взглянула в книгу, она увидела вклеенный в книгу лист, исписанный знакомым почерком Свифта. Это и было «Размышление о палке метлы».

Формально – мистификация, пародия, шутка. А по существу? Ведь уже по опыту «Сказки бочки» видно было, что мистификации Свифта имеют всегда двойной смысл. Так и здесь. Формально это было написано, чтоб подшутить над благородной леди, а кстати, высмеять пошляка Бойля. Но только ли Бойля?

А над кем еще смеется автор «Сказки бочки» – этого опыта универсальной чистки всего духовного мира современного ему человечества, говоря в «Размышлении» о трагикомических «реформаторах», «искоренителях зла», «выскребывающих всю грязь, скопившуюся в природе»? Просто удачный стилистический образ, пришедший Свифту в голову?

Если угодно, стилистический образ. Но в той же мере, в какой невинным стилистическим упражнением, литературной забавой можно назвать подзаголовок «Сказки» – «Написано для общего совершенствования человеческого рода» – или те места в «Сказке», где говорит он о цели своей книги. Но в том особенность этого чудака, шутника, забавника и мистификатора: чем невиннее его литературные забавы, тем серьезнее их подтекст, тем важнее внутренний их смысл.

Так как же не увидеть – в Свифта направлена разрушительная насмешка этих забавных строк; динамитом едкой иронии взорвал он гордое здание «Сказки». И косвенно ответил на те вопросы, которые если и не задавали ему другие, то мог он задать себе сам.

«Сказка бочки» – еще лежит рукопись в столе Свифта – воплощает и заканчивает юношеский период бури и натиска. Свифт входит в жизнь.

Но не как «совершенствующий человеческий род», «искоренитель зла», «выскребывающий всю грязь». Это, может быть, прекрасные, а может

быть, и комические мечты. А перед ним – и это совпадает с внешними переменами, смертью сэра Уильяма, – конкретная жизненная среда, в которой нужно занять конкретное место. Значит, маленькие вопросы устройства личного быта требуют немедленного и четкого решения. Следовательно, в этой области нужно жить и действовать так, как люди обычно действуют и живут, не по-свифтовски, а по-людски. И сделаем отсюда все соответствующие выводы – вплоть до посвящения королю и ссоры с лордом Беркли.

Означает ли это полное примирение с обществом, признание, что все кругом нормально, что цель жизни в том, чтоб найти нормальное место под солнцем и греться в норму?

Конечно, нет. Не прекращается объявленная война, нет примирения. Но в корне изменится тактика боя: от фронтальной атаки к партизанским набегам. Есть молчаливое признание – но только то, что впредь до общего совершенствования человеческого рода сталкивается человек с необходимостью борьбы с частным злом и несправедливостями. В ножны тяжелый, разящий меч «Сказки бочки», вооружимся хотя бы скромной метлой. Займемся конкретными делами конкретных людей, в конкретной политической обстановке. Не оптом, а в розницу, не целиком, а по мелочам – таков отныне лозунг пятнадцатилетнего периода жизни Свифта, окончившегося – как же иначе? – трагическим крахом. А «Сказку бочки» помянем иронической эпитафией; не знает Свифт, как блистательно она воскреснет через двадцать с лишним лет, в новом и сильнейшем качестве…

Но это в будущем. А теперь пытается стать бывший отшельник Мур-Парка, ныне скромный ларакорский священник, реальным политиком своего дня. Автор «Сказки бочки» отходит в тень, и на сцене – автор политического памфлета «Раздоры».

Едва успев устроиться в Ларакоре и прожив там несколько месяцев, Свифт снова в Дублине. Без особого труда он получает от дублинского университета звание доктора богословия, открывающее путь для занятия самых высоких должностей в церкви. А в начале 1701 года он появляется в Лондоне. И вскоре на улицах Лондона продается памфлет, длинно озаглавленный в духе эпохи: «О раздорах и конфликтах между аристократией и общинами в Афинах и Риме и о последствиях, причиненных этим обоим государствам». Памфлет написан Свифтом, но был опубликован анонимно.

«Раздоры» считаются наименее свифтовским произведением. Это так, если судить лишь по внешности.

Спокойные, академические рассуждения, нет и намека на

эмоциональную страстность парадоксальной фантазии, не слышно голоса мрачной иронии, словно угас неистовый дар мистификации и потух слепящий фейерверк могучей выдумки. Не нужно все это; нужно лишь, чтоб памфлет был прочитан – и немедленно: он касается актуальной злобы дня.

Прозрачная ясность мышления, конкретность и сила аргументации, простота и выразительность языка, даже смелость и глубина некоторых силлогизмов памфлета – все эти качества могли встретиться и у других публицистов эпохи – Сомерса, Тренчарда, Дефо…

Сюжетный ход памфлета – модернизация античной истории, изображение в беглом, тенденциозном историческом очерке политических конфликтов Афин и Рима – судеб и конфликтов современной ему Англии – применялся часто в политической публицистике начала века.

Да и самый вывод, мораль памфлета: благоденствие нации может быть достигнуто лишь при условии баланса, то есть равновесия между основными политическими центрами государства – короля, аристократии и палаты общин, – это было ходячей политической моралью дня. Трудно тут найти специфически свифтовское, а тем более если вспомнить девятую главу «Сказки бочки».

Но эмоция гуманизма – она является подтекстом памфлета – гнев по отношению ко всему, что унижает звание человека, взвешивание политической морали на весах гуманистической этики, антигоббсовская, антимакиавеллистическая установка, доминирующая на страницах «Раздоров», – вот оно, свифтовское. И этого не найти у Сомерса и Бернета, Дефо и Тренчарда.

Современникам Свифта, интересовавшимся лишь злободневной стороной памфлета, не удалось бы это понять.

Но не удалось понять и многочисленным биографам и комментаторам, то есть тем из них, кто, находясь в плену предвзятой концепции, увидел в этом памфлете лишь то, что заранее хотел видеть.

Возникают, однако, некоторые недоумения.

Защита лорда Сомерса, впоследствии барона Сомерса Эвелхэмского, занимающего ныне важнейший государственный пост лорда-хранителя печати и лорда-канцлера и обвиненного в 1700 году палатой общин в проступках, идущих во вред государству, – что общего это имеет с гуманизмом? Защита Чарльза Монтегью лорда Галифакса, канцлера казначейства, обвиненного одновременно с Сомерсом в тех же поступках, – что общего это имеет с гуманизмом? Защита Эдуарда Рессела герцога Орфордского, обвиненного одновременно с первыми двумя, – что

общего это имеет с гуманизмом? и неужели может Свифт со всей серьезностью и искренностью сравнивать Сомерса с Аристидом, Монтегью с Периклом, Рессела с Фемистоклом? И не правы ли те, кто уже в момент опубликования памфлета считал, что анонимный автор хочет сделать политическую карьеру, защищая вождей могучей партии вигов; не правы ли те из биографов Свифта, кто уже с полным знанием дела и учетом всех обстоятельств формулировал соблазнительное утверждение (Теккерей), что этой брошюрой Свифт попросту предложил свое перо на службу партии, уподобляясь, по словам Теккерея, средневековому брави? Вот видит Теккерей своим взглядом художника образ безвестного священника, снедаемого жгучим честолюбием, с лихорадочным нетерпением ожидающего в своей ларакорской дыре момента, когда он – нищий, одинокий, жадный, беспринципный – бросится в битву за власть – богатство – славу, битву, в которой может он выиграть все, потерять – ничего!

Защитить эту гипотезу слишком легко, так легко, что не нужно и защищать: такой внешне убедительной, очевидной она кажется… Но как опровергать ее? Одним лишь методом: внимательно читая памфлет о «Раздорах» с учетом политической ситуации эпохи.

Что же знал Свифт о политической ситуации в момент его выступления на сцену? И что видел он за внешними ее очертаниями?

Нелепо было бы приписывать ему наш взгляд на переворот 1688 года, подведший итог бурным классовым схваткам середины века, знаменовавший приход к власти «дельцов из кругов крупных землевладельцев и капиталистов».

Но доктор богословия, ларакорский священник, выдающийся политический мыслитель Джонатан Свифт, умевший, как никто из современников, видеть основное и главное через покровы внешнего и случайного, мог он интуитивно догадываться о моральном смысле событий своей эпохи? Мог он догадываться – и догадывался, есть тому прямые доказательства, – что эти двенадцать лет (1688–1700) – годы дележа добычи между основными группировками, пришедшими к власти. Обильна была эта добыча: конфискованные в Ирландии и Шотландии земли приверженцев Стюартов – ликвидированной наконец династии; плоды значительно возросшей внешней торговли: ризвикский мир, так укрепивший международное положение Англии, открыл широкий доступ английской мануфактуре на континент; прибыли предприятий, работавших на войну; доходы со столь усилившегося кредитования государства банкирами Сити – все это входит в добычу.

И мог он понять и увидеть – для этого и не нужно было могучего зрения Свифта, – что дележ добычи чреват ожесточенной борьбой, яростными столкновениями, громом безжалостных битв.

И мог он увидеть и понять, что с полей сражений перенеслась эта новая, злобная война под порталы лондонской биржи, расположенной так неподалеку от собора св. Павла; в приземистое, мрачное здание Английского банка, возникшего на деньги нуворишей из Сити в 1694 году и сразу занявшего положение арбитра политики; в этот знаменитый четырехугольник, образуемый с трех сторон узкой, но длинной улицей Чэндж-Аллей – Биржевая Аллея – и с четвертой стороны Ломбард-стрит, любимое место «черной биржи»; тут – центр спекулятивной горячки Лондона – Англии – континента, тут, где расположились кофейня Харрауэя, и Биржевая таверна, и Кроун Элхоуз, и банкирские дома «Единорога» и «Кузнечика», в начале века объединившиеся под фирмой «Стон и Мартин» и приобретшие ввиду расширения дел соседнее владение, гордо названное в феодальную эпоху «Три скрещенных кинжала»; в этих извилистых, узких и грязных переулках Сити вступали друг с другом в поединки – не на скрещенных кинжалах, а на звонких гинеях – бароны акций и лорды векселей; тут хватала за горло, душила Новая Ост-Индская компания, детище Монтегью и вигов, старую компанию, казавшуюся столь неодолимой: в час пополудни 14 июля 1698 года в Мерсерс Холл на Чипсайде началось грандиозное сражение – подписка лондонских купцов и лондонской знати на основной капитал новой компании; опережая друг друга, теснясь и толкаясь, врывались почтеннейшие люди Лондона – Англии в узкую дверь, держа в руках сумки, кошелки, кошельки, в которых теснились, воинственно перезванивая, золотые гинеи, дублоны, дукаты, луидоры, цехины, – шестьсот тысяч фунтов было внесено клеркам компании в несколько часов в обмен на акции, – и волнение и ярость участников битвы в Мерсерс Холл, уступало ли оно волнению и ярости участников битвы под Мэрстон-Муром и Бойном? Мог присутствовать при этой битве Свифт, придя пешком из Мур-Парка в Чипсайд, мог прочесть отчет о битве в «Лондон-Газетт»… И конечно, мог понять ее смысл и значение.

И конечно, мог он понять, что подводятся итоги битвам золота, находят результаты свое политическое выражение в стареньком, неприглядном здании в округе Вестминстер, под аркой Кингсгэйта – «Королевской калитки», где заседают в расписных, длинных и узких залах палата лордов и палата общин, где восседает лорд-канцлер на «мешке с шерстью»: шерсть – символ богатства Англии.

Высшая политика вершится там! Кому же, как не Свифту, с его исключительным даром анализа пороков людей, общества, эпохи, с его весами гуманитарной морали в руках, увидеть и взвесить оружие бойцов в этой не прекращающейся ни на день, ни на час борьбе за дележ добычи! Мрачная склока, свирепая свара, утонченная интрига, яростная ложь, разнузданная демагогия – вот оружие вместо ядер и пуль, копий и мечей…

Внешние факты политической конъюнктуры к 1700 году были очень просты: торийское большинство палаты общин – члены партии, считавшей себя обделенной на дележе, – взбунтовалось против королевских министров – вигов, Сомерса, Монтегью, Рессела…

Но за этим голым фактом не видел ли Свифт – как символ эпохи – издевательскую пляску Джека Хоу над благородным телом Ричарда Рэмболда?

Джек Хоу – маленький, остроносый и лысый человечек – называет его Свифт в сатирическом своем стихотворении 1699 года карточным валетом, – маленький человечек со змеиным языком превзошел сам себя в этот серенький, туманный ноябрьский денечек, когда он понял, что время нанести сокрушительный удар. Он извивался, слюна сползала к уголкам губ, кулачок его сжимался и разжимался, и слова его шипели, как змеи, поползшие по мрачной зале палаты общин:

«Что будет с нацией, которую грабят и на земле и на море? Наши правители уже давно наложили жадные руки свои на наши земли, наши леса, наши рудники, наши деньги! Но этого им было мало! Мы посылаем свои товары в отдаленнейшие страны света – и что же?! Эти товары попадают в руки шайки грабителей, за которой стоят – мы знаем – сильные, очень сильные люди! Неужели же мы, коммонеры, члены великой и знаменитой английской палаты, общин, струсим перед этими очень сильными людьми? Неужели не хватит у нас доблести разоблачить алчность и грабеж, из какого бы высокого места они ни исходили, как бы могущественны преступники ни были?»

Против кого воинствовал Джек Хоу? И чьи интересы он защищал?

Они слушали его с хриплым восторгом, коммонеры, члены палаты общин, краснолицые тугошеие сквайры, «сельские джентльмены», «охотники за лисицами», собравшиеся сюда в Вестминстер из всех гнилых местечек, из всех захолустных углов, покупавшие в палате общин свои мандаты и продававшие свои голоса, невежественные, едва грамотные, пьяные злобой, дрожащие от зависти, не поспевшие к дележу, обделенные. При Кромвеле руками йоменов, ремесленников, рабочих-ткачей, руками, направленными против крупных лендлордов, придворной клики, гниющей

монархии, было завоевано для их дедов и отцов политическое положение, соответствующее их социальному значению. А лучшие из поколения дедов и отцов, сумевшие подняться над своекорыстными интересами своей классовой группировки, – они хотели идти дальше – к справедливой республике. Кромвель поставил плотину на пути бурного потока революции, плотину из этой социальной группировки сквайров, добившихся осуществления своих ближайших целей. Однако лучшие из них – дедов и отцов – сумели выдвинуть из своей среды таких людей, как великий Джон Лилберн, как забытый Ричард Рэмболд, офицер кромвелевской армии, последний левеллер, казненный в 1685 году за «заговор против церкви и государства». Замечательные слова сказал Рэмболд на своем процессе: «Я не думаю, чтоб бог создал большую половину человечества с седлами на спинах и с удилами во рту, а горсть людей в сапогах со шпорами, чтоб ездили они на других».

Последним всплеском могучей когда-то волны был процесс Рэмболда. Обезземеленные йомены, закабаленные рабочие, революционная интеллигенция середины века, выполнив свою историческую миссию, вытащив каштаны из огня для «сельских джентльменов», были распылены, раздавлены, уничтожены, перестали существовать как активная социальная сила. Полюбовная сделка, названная «славной революцией» 1688 года, выдвинула новую социальную силу, с новыми целями. Для «сельских джентльменов» начала века быть равноправными в государстве – это означало быть равноправными в дележе добычи. В защите равноправия в грабеже карикатурно пародировали они революционный стиль. Джек Хоу издевательски плясал над благородным трупом Рэмболда, обкрадывал мертвецов, пытаясь говорить их языком.

И с хриплым рычанием восторга слушала эта стая мелких хищников из палаты общин исповедание жадности своего вожака. «Человек человеку волк», – не читая Гоббса, дышали они как воздухом этой жестокой философией эпохи и были объединены в чувстве завистливого возмущения против крупного волка, грозившего оттеснить стаю мелких волков от добычи.

Палата общин в сессию 1699–1700 годов подняла бунт против королевских министров Сомерса, Монтегью, Рессела. В чем пафос бунта? В том, что они вожди партии вигов, а партия эта заграбастала слишком жирный кусок добычи при помощи короля Вильгельма, посаженного вигами на престол. Обвиняя Сомерса в покровительстве пиратам, грабившим в далеких американских водах английские суда, защищал Джек Хоу, нагло подделываясь под оратора революции, свое право быть в числе

людей в сапогах со шпорами.

Обвинялся Джон Сомерс в том, что наряду с другими вождями вигов участвовал он денежным взносом в снаряжении корабля, который должен был вести борьбу с пиратами. Но корабль этот, очутившись в далеких водах, сам водрузил на флагштоке черный пиратский флаг с черепом и скрещенными костями; назывался корабль «Авантюристка», и капитаном его был известный Виллиам Кидд, герой многих морских романов, сумевший обмануть лондонских дельцов и сановников. Но утверждали в лондонских кофейнях и тавернах, что Сомерс и другие были осведомлены о планах Кидда, что получил сам Сомерс – за свою тысячу фунтов – добрый десяток тысяч в качестве пая с пиратских доходов.

Обвинялся Джон Сомерс – лорд-хранитель печати, лидер палаты лордов, лучший юрист эпохи, автор знаменитой «декларации прав», обеспечившей Джеку Хоу и соратникам его место под солнцем. Никто в Англии не сомневался, что обвинение это – наглая и нелепая клевета; Сомерс как раз и был – редкое исключение среди деятелей эпохи – лично честным человеком.

Джек Хоу и другие добивались не только отставки его, но и головы. А также головы Монтегью, канцлера казначейства, блестящего финансиста, создавшего Английский банк, упорядочившего государственный бюджет, основавшего Новую Ост-Индскую компанию, – при распределении ее паев чувствовали себя обделенными сельские джентльмены…

А также головы Рессела – главного лорда адмиралтейства, того, под чьим руководством английский флот одержал блестящую победу у Ла-Гога, положившую конец французским угрозам на море, положившую начало английскому преобладанию в средиземных водах…

Атака торийского большинства палаты на всех троих вышла за пределы обычной вражды между тори и вигами. Свифту казалось, судя по концепции его памфлета, – и его психологическая догадка была счастливой догадкой, – что Сомерс, Монтегью и Рессел концентрировали на себе ненависть краснолицых сквайров как люди большого размаха, яркой индивидуальности: слишком крупные волки – они опасны, – таков был подтекст обвинительных речей.

Атака велась под лозунгами защиты «демократии», «свободы», «народа» от «аристократии», хотя Сомерс и Монтегью вышли из мелкобуржуазной среды… Как, Джек Хоу и подобные, ради процветания которых был казнен пятнадцать лет назад Ричард Рэмболд, рядятся теперь в украденные одежды мертвеца! Джек Хоу защищает народ!

Мерзкую фальшь чувствует в этом Свифт, фальшь не отдельного

человека, а всей эпохи. Грязная фальшь в глазах Свифта – отождествление голоса палаты общин – случайного скопища сельских джентльменов – с голосом всего народа: ведь не более полутораста тысяч человек во всей Англии принимали участие в выборах в парламент.

Отсюда рождается гуманистический пафос первого памфлета Свифта. В первой его части скупыми и сильными штрихами набрасывает автор яркие характеристики Аристида, Фемистокла, Перикла, несправедливо обвиненных «народом», то есть демагогами, сумевшими использовать легковерие народа. Автор стилизует историю таким образом, чтоб читатель, знакомый с политикой дня, сумел увидеть современников под прозрачными историческими масками. Конечно, знает Свифт, что Монтегью и Рессел никак не могут сойти за Перикла и Фемистокла; но знает он также, что борется с ними не Рэмболд, а Джек Хоу. Но и вообще первая часть памфлета – лишь злободневная иллюстрация общих морально-политических соображений второй и третьей его частей.

Вторая часть – сжатый, энергично написанный очерк истории социальных конфликтов Рима, от цезарей и до Августа, интересен и сам по себе. Прекрасно знакомый с античными историками, Свифт критически подходит к ним, умело извлекая все необходимое для своей концепции. Забыты буйные парадоксы безудержной фантазии, столь типичные для исторических отступлений в «Сказке бочки». Сейчас перед Свифтом задача не иронизировать гневно и… безответственно, но популярно объяснить, набрасывая свою концепцию философии истории, отстаивающую права народа. И он пишет:

«И таким образом, сенат, то есть первичная его часть – аристократы во главе с Помпеем, и коммонеры, подчинившиеся Цезарю, пришли к финалу своих долгих раздоров. Но я полагаю, что отнюдь не честолюбие отдельных лиц начало или обусловило эту войну. Правда, гражданские раздоры всегда порождают честолюбие отдельных лиц… и им достается добыча. Но кто стал бы приписывать тем коршунам, которые кружатся над полем предстоящей битвы, ответственность за кровь, что прольется в битве, – хотя трупы достанутся им? И пока не нарушено равновесие сил – честолюбие отдельных лиц не опасно и не может явиться орудием порабощения их страны; но если нарушено это равновесие, тогда столкнувшиеся партии в конце концов обе становятся порабощенными. Уничтожение римской свободы и конституции и было вызвано нарушенным состоянием равновесия между патрициями и плебеями – честолюбие же отдельных лиц было в данном случае следствием и результатом. И когда после смерти Цезаря здоровая часть сената

попыталась восстановить свои прежние права и свободы, авторитет всего сената был уже настолько подорван, что этим патрициям пришлось спасаться бегством, и народные массы по их собственной вине были обращены в самое деспотическое рабство. Иначе – как мог бы развратник Антоний или восемнадцатилетний мальчишка Октавиан и мечтать стать диктатором над таким государством и таким народом? И однако Октавиан Август успел в этом и насадил такую тиранию, подобной которой еще никогда не посылало небо в гневе своем на развращенный и отравленный народ… Так исчезла всякая тень свободы в Риме. И долгая борьба за власть между аристократами и коммонерами пошла лишь на пользу Нерону и Калигуле, Тиберию и Домициану, слизнувшим римскую свободу».

Многим примечательно это рассуждение, заканчивающее вторую часть памфлета. И раньше всего – антицезаристским своим уклоном. Поразительной силой и смелостью мышления нужно было обладать, чтоб видеть в роли Цезаря не причину, а лишь симптом, результат смертельной болезни римской республики; это говорит о максимально возможном в ту эпоху реалистическом взгляде Свифта на историю, равно как и смелое уподобление Цезаря коршуну-стервятнику, питающемуся трупом задушенной свободы. И не вина, а беда Свифта, что, ограниченный рамками своего времени, не может он представить себе такой победы плебеев, которая стала бы окончательной, не прокладывая путь к тирании и деспотизму. Концепция равновесия сил – она сейчас смешна и антиисторична. Но разве из приведенных строк не явствует, что не о царях, не об аристократах заботы и волнение Свифта, а о низах народных: им напоминает он о печальной участи римской свободы. И, несмотря на формальное противоречие между свифтовской историко-политической концепцией в «Раздорах» и политическими пассажами в «Сказке бочки», психологического противоречия не видно тут. И в «Сказке» и в «Раздорах» воинствует пафос непримиримого гуманизма, пафос тревоги и обиды за судьбу, за духовную и политическую свободу человека и народа.

А в третьей части памфлета, отбросив исторические аналогии, во весь голос предостерегает Свифт английский народ от лжевождей, от тех, кто для достижения своих корыстных целей узурпирует народный голос, волеизъявление народа.

Оружие критики направляется против конкретных носителей зла, большинства палаты общин, которая, демагогически натравливая массы на определенных лиц, предъявляя им клеветнические обвинения, прокладывает путь тирании и деспотизму. Свифт обрушивается на показной демократизм современного ему парламентского режима. С

весами гуманистической морали в руках восстает он против случайного скопища людей, движимых своими эгоистическими страстями и корыстными целями. В представительном собрании, говорит он, «мы часто видим дух жестокости и мщения, коварства и тщеславия, слепоты, упрямства и непостоянства, те самые хаотические бешенство и злобу, софистику и обман, каковые редко встречаются у отдельного человека».

Он борется с фетишем формальной демократии:

«Изречение vox populi – vox dei относится к голосу и мнению всего народа, а не случайного большинства из нескольких его представителей, которое так часто достигается путем специальных трюков, осуществляемых с настойчивостью и прилежанием, причем эти качества чаще присущи тем, кто преследует личные цели коварства и мести, нежели тем, кто с ними борется».

Свифт был не так далек от разоблачения классового характера формальной демократии, и, во всяком случае, он сумел почувствовать всем существом своим ее моральную гнилостность, ту опасность, которую всегда несет она для народных масс. Почувствовал – и сказал. Потому и звучит памфлет, написанный как бы в защиту трех отдельных политиков партии вигов, голосом гуманиста, воинствующего за права человека, за благо народа.

Анонимный памфлет, приписывавшийся разным лицам, имел успех. Не особенно громкий, но все же такой, что на обратном пути в Ларакор – в Дублине – Свифт с понятной гордостью рассказал в местных политических кругах о своем авторстве. Стало известно об его авторстве и в Лондоне.

«Начало положено, – думает Свифт в своем ларакорском уединении, – первый взмах метлы – хороший взмах».

И течет год-два спокойная, тихая жизнь…

У ларакорского священника есть свой домик, свой садик. Очень тщательно работает он в своем саду, разбивает клумбы, даже прокладывает каналы: как же, ведь ему, редактору и слушателю знаменитого «Опыта о садоводстве», тут и книги в руки…

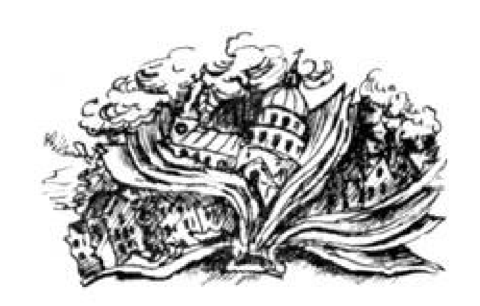
А по средам и пятницам читает он проповеди в ларакорской церкви, на украшение которой тратит даже скудные свои личные средства. Не много народу посещает характерные эти проповеди – одна из них прочтена на тему о том, как неприлично спать в церкви во время богослужения… Всего ведь в округе числится десятка два членов англиканской церкви; громадное большинство полуголодного, измученного ирландского крестьянства – фанатичные католики, и члены англиканской церкви среди них – это парии из париев. Таким образом, частенько проповеди ларакорского священника

слушают два-три человека, а был такой случай, что единственным его слушателем оказался причетник церкви – добродушный весельчак Роджер Кокс. Но это не смущает проповедника – голос его все так же звучно-ироничен, как если бы теснились в церкви прихожане. Ибо возможен «театр для себя» и при одном слушателе.

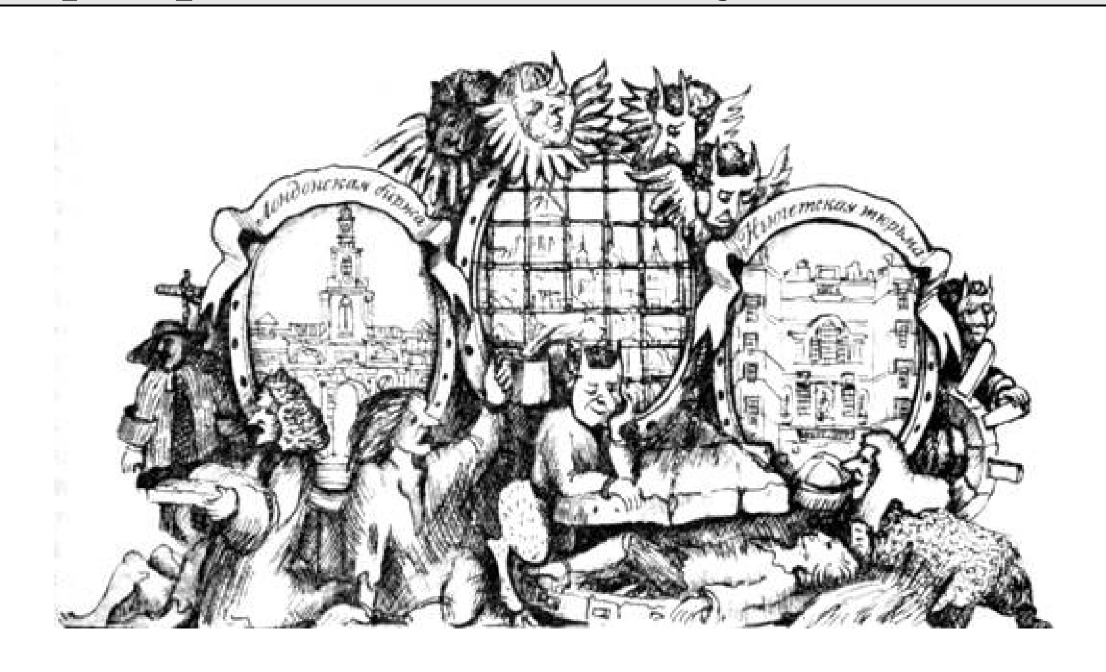
Но не только церковью и садиком занят ларакорский священник. Через день, если не ежедневно, вооружившись громадной палкой от крестьянских вил, направляется он пешком в неподалеку лежащий городок Трим. Тут, в маленьком коттедже, одиноко живут две женщины: молодая мисс Эстер Джонсон – мировая известность ей была суждена – отблеск мировой славы Свифта – под экзотическим именем Стелла – и престарелая компаньонка ее, мисс Дингли. Уже очень давно знаком с мисс Джонсон Свифт: было ей лишь шесть-семь лет, когда он познакомился с ней, в 1689 году, в имении сэра Уильяма, и только восемнадцать ей сейчас, в 1701 году, когда, по настоятельному убеждению Свифта, поселилась она в городке Трим, рядом с Ларакором, поселилась для того, конечно, чтоб дать Свифту возможность посещать ее достаточно часто, если не ежедневно.

Городок спит. В коттедже тихо. Мисс Дингли, вооружившись очками, занята вязанием. Эстер Джонсон сидит у камина в своей обычной позе – ожидающей, чуть испуганной, настороженной, сосредоточенно-внимательной. Ларакорский священник, высокий, собранный, элегантный в своей хорошо сшитой сутане, стоя у двери – он собирается уходить, – с ласковой насмешкой в своих никогда не смеющихся, но лишь изредка улыбающихся глазах смотрит на молоденькую девушку. О чем говорили они сегодня? Какие секреты своей сложной и трудной жизни доверил он ей в эти тихие часы? Кому глядит она вслед, когда закрывается за ним дверь, – мужу, любовнику, другу?

Пусть останутся пока закрытыми страницы таинственной главы жизни Свифта – до момента, пока не появится на этих страницах другая молодая женщина, с экзотическим именем Ванесса…



Глава 6
Свифт проходит по Бедламу



Не лучше ли страдать,
живя среди
глупцов. Чем быть единственным
из стана мудрецов?

Мольер

Встревожен мертвых сон.
Могу ли спать?
Тираны давят мир -
Я ль уступлю?
Созрела
жатва мне ли медлить жать?
В моих ушах – что день поет труба.
Ей вторит сердце…

Байрон

От Ларакора до Лондона – это в начале восемнадцатого века не

маленькое путешествие – не меньше десяти дней, а если путешественник не богат и не имеет собственных лошадей, то и больше. Но это не мешает Свифту за время с апреля 1702 года и по ноябрь 1707 года четыре раза посетить Лондон, проводя там по нескольку месяцев в каждый визит. Последнее же его в этот период пребывание в Лондоне длилось больше полутора лет – с ноября 1707 года по июль 1709. Были, очевидно, у ларакорского священника важные дела, призывавшие его в Лондон.

Были некоторые дела. В 1704 году было связано его пребывание с опубликованием «Сказки бочки»; в 1705 году появился он в Лондоне как ходатай по делам англиканского духовенства в Ирландии. Не такие уж важные дела, не жизненно важные.

Но было одно чрезвычайное дело. Лондон притягивал Свифта.

Нет данных утверждать, что Свифт нарочито искал в своей жизни сильных ощущений, но нельзя не заметить, что они, словно вперегонки, бежали к нему. А среди них не было ли сильнейшим ощущение контраста, заполнившего всю жизнь Свифта и все его творчество: контраста между тем, что есть человек, и чем он быть должен!

Этот контраст можно было видеть и прочувствовать и в Ларакоре. Но насколько ощутимее был он в Лондоне – фантасмагорическом скопище контрастов!

Жестокий, тяжелый, трудный и парадоксальный город – под стать характеру Свифта…

Изучать и размышлять: легка жизнь Свифта в Мур-Парке. Протянуть только руку к одному из шкафов библиотеки, достать очередной томик, перелистать его жадно и небрежно, улыбнуться с грустным разочарованием, отложить томик, потянуться за другим… Весь мир заключен в этих приятных на ощупь крышках свиной кожи, в плотной, не совсем аккуратно обрезанной, желтоватой на свету бумаге, в мелком или крупном шрифте… Мир этот легко вобрать в себя, просеять, отцедить и выжать и дать затем неумолимую оценку тому немногому, что осталось… Легка жизнь Свифта в Мур-Парке.

Труднее жизнь Свифта в Лондоне. Опять библиотека – и насколько же богаче, обширней и серьезней, чем в Мур-Парке, но не так-то просто до нее добраться. Томики не стоят рядышком в шкафах, и недостаточно протянуть руку, чтоб овладеть грандиозной библиотекой. Библиотека эта – весь могучий город – сердце и мозг Англии, в известном смысле и континента, и мира; но вместо ровных рядов аккуратных томиков хаотическое сплетение сотен тысяч жизней, запутанных судеб, буйных

конфликтов, мрачных страстей. И много авторов этой библиотеки, столько же, сколько жителей в громадном городе, и не просто нащупать и раскрыть эти книги: возникают и угасают они ежедневно и ежечасно, ибо капризны в этом городе судьбы людские, неустойчивы нравы, неровны пути; и ветер эпохи листает и кружит страницы-дни в горячечно-бешеном темпе. Трудно изучить эту библиотеку; мыслимо ли овладеть ею?

Свифт ходит по Лондону. Свифт любит длинные пешеходные прогулки. Вглядевшись в промелькнувшие лица, услышав обрывки речей, удается иногда перелистать случайные страницы встречных человеческих судеб. Есть в этом своеобразная прелесть, притягивающая невидного сельского священника, озабоченного размышлениями о делах и путях человеческих.

Пешком ходит Свифт по Лондону. Верховой лошади нет у него, нет и собственной кареты. Нанять постоянную карету – около восьмисот было их в Лондоне в те годы – явно не по карману: ведь уплачивал наниматель помимо платы за карету еще пятьдесят фунтов годового налога. Об этом смог осведомиться Свифт у будущего своего друга Уильяма Конгрива, известного драматурга, который занимал пост правительственного агента в управлении наемных карет, с жалованьем в триста фунтов в год. Дороговато выйдет и пользоваться извозчичьими кебами – не меньше двух шиллингов за короткую поездку в полторы мили.

И наконец, ходить пешком полезно для здоровья, да и удобнее. Можно подолгу стоять перед этим зданием, так властно притягивающим его внимание, так часто вторгающимся в его творческую жизнь.

«Старый Бэтлехем», в просторечии Бедлам, знаменитый дом для умалишенных, построен сравнительно недавно – в 1675 году. Это великолепное, внушительное здание, лучшее в бойком районе Мурфилд; случайно или намеренно, но выстроено оно по образцу знаменитого тюильрийского дворца – великолепной резиденции Людовика XIV. Сообщают мемуаристы эпохи, что так оскорблен был король-Солнце этой вольной или невольной насмешкой, что приказал он соорудить специальную пристройку к своему дворцу – для уборных – в стиле лондонского Сент-Джемского дворца. Но кто же лучше Свифта может насладиться единством стиля Тюильри и Бедлама? Не назвал ли он в девятой главе «Сказки» обитателя Тюильри бешеным сумасшедшим…

Свифт стоит перед импозантным зданием с его двумя крыльями, куполами и широким фронтоном; его видно издали, через тенистый сад, заключенный в каменную ограду. Затем широкая терраса и два входа – две железные решетки, у одной статуя тихого, у другой статуя буйного

помешательства служат как бы визитной карточкой здания. И одна над другой – во всю длину громадного здания – пятьсот сорок футов – две крытые галереи. Он мог войти в галереи, подняться в нарядный салон в центре верхней галереи, здесь назначали друг другу свидания лондонские модники и модницы – Бедлам был всегда открыт для осмотра, – здесь скоплялись толпы любопытных провинциалов, здесь пили и ели, едва ли не танцевали. И отсюда мог он проникнуть в зарешеченные клетки умалишенных, лежавших на соломенных подстилках, брошенных на земляной пол, – многие из них прикреплены были цепью к стене. Кто же безумнее – те, кто выстроил это здание, такое приятное извне, такое страшное изнутри, – или те, кто населяет его? – так спрашивал безымянный остроумец эпохи. Конечно, не Свифту, автору предложения о предоставлении обитателям Бедлама высших должностей в государстве, удивиться этому вопросу.

Несколько кварталов с востока города на запад, мрачных, тесных, воздухом нищеты, грязи и людского пота насыщенных кварталов, – и Свифт перед другим зданием. Не так оно величественно и не так обширно, как Бедлам, но ярость посетителей этого здания в определенные часы – сравнится ли с ней ярость самых буйных помешанных Бедлама? Видит Свифт, как вбегают ежедневно от двух до четырех в здание Лондонской королевской биржи толпы людей с бьющимся сердцем, лихорадочным взглядом и отравленной душой… Видит он, как подъезжают к бирже украшенные гербами кареты на высоких рессорах, откуда выходят денежные бароны, лорды векселей, обступаемые больными жаждой людьми, жаждущими хоть капли золотого дождя, проливающегося иногда над Лондоном. А теперь, когда бушует война на полях Фландрии, война, которую оплачивают финансисты из Сити, – теперь так часто льется благодатный дождь: тридцать пять миллионов фунтов дало Сити королеве Анне при посредстве лондонской биржи для ведения войны.

«Забавная человеческая игра, – думает Свифт, – люди дают деньги, чтоб облегчить убийство себе подобных, и чем больше окажется убитых, тем с большей прибылью вернут они свои деньги… как достойна игра эта тех, кто населяет клетки Бедлама, и как короток путь из одного здания в другое…»

Немногим длиннее путь к третьему. Пройти лишь по улице Чипсайд – пятнадцатиминутная прогулка, – и стоит Свифт перед третьим звеном мрачной цепи, опутавшей город, перед знаменитой ньюгетской тюрьмой, охраняющей вход в западную часть города.

Он всматривается в массивное, словно из одной глыбы высеченное

здание, с тяжелым его основанием, мрачными, узкими окнами без стекол, зажатыми двойной решеткой, с хмурым портиком, защищенным громадными железными воротами, наверху которых часовой циферблат с лаконично-иронической надписью: Venio, sicut fur! (Прихожу, как вор).

Нравы ньюгетской тюрьмы… Слышал о них Свифт, знает он, что биржа и в самой тюрьме, что достопочтенный мистер Питт, губернатор тюрьмы, – за свой пост внес он государству пять тысяч фунтов, – продает заключенным за приличную мзду лучшие комнаты в своей гостинице: от двадцати пяти и до пятисот фунтов вносят заключенные единовременного взноса за свои камеры и уплачивают также еженедельную плату. Это те, кто сумел и в тюрьму войти под защитой своих денег; а среди них и воры, и убийцы, и неоплатные должники, и государственные преступники. Но есть в Ньюгете – знает Свифт – камеры, за которые платы не взимают, если это не плата мясом, костями, кровью… Безвестный мрачный юморист назвал одну из них комната-давилка: здесь подвергаются заключенные, у которых хотят добиться признания, «жестокой и сильной каре» – так называется эта процедура, заменяющая пытку, ведь пытки в Англии официально нет. Но только – спускается на обнаженные распростертые тела тяжелая дубовая доска, поддерживаемая на блоках, швыряют на нее железные плиты, и давит она, пока не признается или не умрет человек… Есть и другие камеры – подземное помещение, именуемое «каменный мешок», – не читал ли Свифт в журнале «Лондонский шпион» посвященной ему остроты: «Трудно сказать, на каком градусе широты находится каменный мешок, – пожалуй, девяносто градусов за Северным полюсом, так как на полюсе ночь длится лишь полгода, а здесь целый год». Кого бросают в каменный мешок? Все тех же воров, убийц, должников, государственных преступников, отличающихся от своих коллег, населяющих верхние камеры, лишь одной деталью: они не могут вносить хозяину тюрьмы еженедельной платы за гостеприимство. Удовлетворен ли Свифт? Нет, он должен еще вспомнить, как называется еще одно помещение в этой забавной лондонской гостинице… Кухня Джека Кэтча – так называется оно: и это действительно кухня, с громадным очагом, на котором вываривают в масле, смоле и дегте обрубки тел четвертованных за государственную измену, перед тем как выставить их для украшения и устрашения на копьях, поддерживающих ворота Лондонского моста.

Приятный и полезный час проводит Свифт перед массивным зданием. Для изучения жестоких забав, коим предается человечество, – какое ценное место!

Но только ли здесь изучаются эти забавы? Вот свернуть на юго-запад,

к Темзе, – и он в квартале Темпл. Здесь, неподалеку от реки, сидят «рыбаки» – так зовут их в народе, – те, кто вылавливает из лондонского людского моря сотни и тысячи ежедневных жертв и бросает их с размаху во вместительную ньюгетскую корзину.

Запутанны петли переулков, мрачны крытые переходы и бессолнечны тупики в этом серьезном районе Лондона, где торжественно заседает и неумолимо работает английская юриспруденция – «железные руки закона» – так называются официально судьи и юристы: те, кто приговаривает к отрублению кисти руки осмелившегося, хотя бы в простой драке, ударить лорда; те, кто на три года тюрьмы осуждает бедняка, срубившего дерево в парке лорда; те, кто на тайбернскую виселицу посылает сразу по двадцать подростков, укравших кто каравай хлеба, кто ярд сукна… Что может сравниться с ненавистью Свифта к судьям и юристам. Он помнит: ненавистью этой жили и дышали все плебеи кромвелевской революции, мечтавшие отменить всю английскую юриспруденцию и заменить ее Моисеевым, библейским законодательством…

Свифт улыбается. Моисеево законодательство! Разве менее жестоко оно к беднякам, к неимущим? Иегова – бог-собственник, – конечно, одобрил бы он знакомое Свифту законодательство Англии о помощи бедным. Англия великодушная и богатая страна, она содержит своих нищих, а их числилось к началу века не менее четверти всего взрослого населения страны.

Мудрейший Иозайа Чайльд, хозяин Ост-Индской компании, биржевой король и ученый экономист, очень озабочен этим «важнейшим английским вопросом» о бедняках. Предлагает добрейший Иозайа устроить комитеты «отцов для бедняков», и эти комитеты, полагает справедливейший Иозайа, в обмен за помощь беднякам должны располагать над ними деспотической властью, подобно той, какой пользуются отцы над детьми.

Но неразумны дети, и так часто проклинают они своих отцов!

«Лучше в тюрьму, на каторгу, на виселицу, чем в рабочий дом для бедных» – так говорили призреваемые государством сто лет после Свифта; что же говорили они во времена Свифта?

Свифт помнит о недавнем бунте лондонских ткачей: с шести пенсов ежедневного их заработка не могли они отложить достаточно для приобретения хотя бы вытканного ими савана – посмертного наряда. «Позор для Англии, богатой страны, что так мучаются верные ее сыны!» – так восклицали они в своей петиции, поданной парламенту. Да, богатая страна Англия. Свифт читал еще в Мур-Парке работы экономистов, того же Иозайи Чайльда, биржевого короля. Вычислил аккуратнейший Иозайа,

что к концу века было среди членов Лондонской биржи больше людей с ежегодным доходом в десять тысяч фунтов, чем в середине века людей с доходом в одну тысячу. Десять тысяч в год? Вычислить нетрудно: это шесть тысяч девятьсот шестьдесят пенсов в день – несколько больше, чем шесть пенсов в день. Что ж, бедность и богатство – это и богом и человеком установленный порядок. Были безумцы – полвека с лишним назад, – пытавшиеся взорвать богом и людьми установленный порядок, – и что же? Жили они, страдали, мыслили, взывали, сражались и умирали – для того, оказывается, чтоб подсчитывал могучий Иозайа увеличившиеся вдесятеро доходы лондонских биржевиков, для того, оказывается, чтоб философ века, самодовольнейший Джон Локк, – яростно ненавидит его Свифт – искал в своих сочинениях всевозможные средства обезвредить бедняков, считая самую бедность естественным законом человеческого общежития!

Какая, однако, дьявольская игра эта история человеческого рода! Одно поколение едва успело пройти свой путь с тех дней, как всю землю наполнили громы революции. И нет уж грозных молний, прорезывающих мрачное небо, не слышно страшных раскатов. Спокойно и привычно копошится человечество в своих норках и дырках, забавляясь своими привычными, грязными, гадкими, а то и кровавыми играми. Идет одна сейчас на полях Фландрии война! Какая радость – победа при Бленгейме, победа под Рамильи. И Англия – великая военная держава: «У нас полтораста военных судов, у нас шестидесятипятитысячная армия в Европе», – похваляются пьяницы в трактирах… И мечтают и трезвые и пьяные, чтоб дураки, называющиеся англичанами, убили как можно больше дураков, называющихся французами.

Чудесное зрелище видел Свифт 7 сентября 1704 года на лондонских улицах! Праздник был в городе – торжественное шествие в ознаменование победы при Бленгейме… Королева, двор, лорд-майор, знатные джентльмены, купцы из Сити, олдермены, шерифы, епископы составляли нескончаемую процессию. Восемью лошадьми была запряжена карета, в которой сидела и грызла кончик своего веера увешанная бриллиантами скучная женщина с кислым выражением лица – королева Анна, по шести лошадей было впряжено в другие кареты. В золотых лучах осеннего солнца сверкали красные одеяния придворных, колыхались в ласковом ветре штандарты и знамена, хрипло ревели трубы, сыпалась барабанная дробь, и висел в прозрачном воздухе хрипло-восторженный вой пьяной уже с утра черни, отделенной от процесии шпалерой равнодушных людей в красных мундирах, синих штанах, черных гетрах и шляпах с загнутыми полями.

Спустились сумерки над лондонскими улицами. Густые, вязкие, почти осязаемые. В серой сетке мелкого дождя жалобно мигают масляные фонари, дрожат беспомощно жалостные огоньки одиноких факелов. Влажная мгла жадно всасывает тени прохожих. Хриплые возгласы, тоскливые стоны, острый женский визг, пьяный хохот, скрадываемый шумом дождя. Скопище человеческих звуков, словно отделившихся от людей, всосанных влажной мглой, скопище звуков, как бы живущих собственной жизнью. Это Ковент-Гарден – рынок женского тела, центр сумеречных лондонских развлечений. Ныне, при королеве Анне, разврат притаился, облюбовав себе дозволенные зоны: Ковент-Гарден одна из них. Джон Эвелайн, строгий пуританин, современник Карла II и Якова II, пишет в своих мемуарах: «Разврат, кощунство, презрение к богу. В воскресенье вечером я видел короля с его непотребными девками – Портсмуд, Кливленд, Мазарини – в галерее для игр, – все они были почти голые». Теперь немножко не так, теперь лицемерие шепчет на ухо пороку: будь скромнее, посторонись!

И вот создается в начале века из представителей церкви, знати, двора «Общество для исправления нравов»; и королева Анна, дура и ханжа, опубликовала декреты, запрещающие появление женщин в общественных местах, на улицах и в парках; и не разрешается молодым лордам вход за театральные кулисы; и не поощряются вообще театральные зрелища; и не идут уже в театрах веселые пьесы Уичерли и Конгрива, похабное остроумие которых заставило бы покраснеть и господа бога, и самого Франсуа Рабле; и обложены налогом карты и кости; и пятьдесят новых церквей строятся в Лондоне при Анне.

А разврат? Он благоразумно внял искреннему совету лицемерия, он посторонился, спрятался в отведенных ему уличных клетках – Ковент-Гарден одна из них, – но стал разнузданней, жесточе. Ковент-гарденские девки были злее судебных приставов и циничней государственных деятелей; ковент-гарденские девки были известны во всей Европе. Не побеседовать ли Свифту с одной из них о ее ремесле? Он мог бы кстати процитировать слова из «Сказки бочки» о том, что критики и проститутки – это две стариннейшие и постояннейшие в человеческом обществе профессии, но боится, что сочтут его льстецом ковент-гарденские дамы.

Сноп света, прорвавшись сквозь сетку мглы, почти ослепляет Свифта. Он очутился перед знаменитым лондонским трактиром «Старого Джонатана» со знаменитой его вывеской: «Здесь вы можете напиться допьяна за два пенса и до беспамятства – за четыре!»

Душными испарениями насыщен теплый, сыроватый воздух

сентябрьского вечера; с блаженным лицом сидит в разодранном платье на лестничке, ведущей в погреб, пьяная женщина; врезается в хриплую ее песню отчаянный вопль ее ребенка, свесившегося головой вниз за перила; извивается в эпилептическом танце скелетообразный юноша с закрытыми глазами на бледном лице. И рядом другие трактиры, и висят у входа в каждый из них бочонок, кружка, кувшин, графин – простой, но величественный символ; а из окна высокого дома напротив высовывается длинный железный крюк, и свисают с крюка и насмешливо покачиваются в тепловато-влажном воздухе, насыщенном душными испарениями, три круглых медных шара: здесь касса ссуд, открытая днем и ночью; здесь можно получить несколько медных монет в обмен на последнее с тела тряпье – и будет чем заплатить за стакан джина.

В 1685 году изобретен знаменитый напиток, именуемый джин. «Выпьешь первый стакан – проглотил гвоздь, выпьешь второй стакан – проглотил лепесток розы, а выпьешь третий… – никогда не мог я вспомнить, что чувствуешь, проглотив третий стакан» – так говорил о джине поэтически настроенный современник.

Но благородные джентльмены предпочитают джину благородный токай – семь шиллингов бутылка. Опьяняя, он возбуждает фантазию, а фантазия им нужна, фантазию они вкладывают в свои развлечения.

Сто семьдесят два пэра Англии получают ежегодного дохода миллион двести семьдесят две тысячи фунтов – одиннадцатая часть дохода населения всей Англии. У каждого лорда свита прихлебателей – что иначе делал бы лорд со своими доходами… Тысячи беззаботных молодых людей, пьющих благородный токай. Но им нужно развлекаться – кто ж этого не понимает! И они развлекаются. Весь Лондон, то есть эти несколько тысяч аристократов, охвачен лихорадкой клубов. Есть невинные клубы, посвященные тихим забавам аристократических обезьян, именующих себя людьми: клуб Бифштекса – здесь обжираются; клуб Октябрьский – здесь пьют ведрами октябрьское пьяное пиво; клуб Молчаливых; клуб Уродов; клуб Ворчунов; клуб Гинея – здесь играют в карты, ставка пятьдесят гиней, – играют в масках, чтоб скрыть неприличествующее аристократу волнение; клуб Адского Огня – здесь соревнуются в богохульстве… Клубы невинных забав для обезьян, именующих себя людьми.

Но были клубы и для злых обезьян. Клуб Прыгуний, Ударов Головой, Веселых Шуток, Мохоуков.

Беззаботные молодые люди развлекаются. В клуб Прыгуний втаскивают женщин с улицы, преимущественно молодых, и заставляют под ударами хлыста прыгать на четвереньках.

В клубе Ударов Головой нанимают за сходную цену сильного человека; развлечение состоит в том, чтобы ударом головы с разбега сбить его с ног.

А клубы Веселых Шуток и Мохоуков, самые избранные и аристократические, выносят свою активность на улицы Лондона. Пишет о них современник: «Цель их учреждения – причинять как можно больше бессмысленного вреда, на этом основан весь устав клуба. Для того чтоб осуществлять эту цель во всей полноте и целостности, они напиваются пьяными до полной потери человеческих чувств, собираются в отряд и идут в поход по улицам города. Горе тем, кого они ловят по пути: одних сбивают с ног, других избивают, третьих берут в плен. И затем эти мизантропы демонстрируют свои разнообразные таланты на несчастных пленниках. Одни из них искусны в операции превращения человека в слепого льва: нос жертвы расплющивается, глаза раздираются пальцами. Другие называются учителями танцев: они заставляют учеников своих делать самые фантастические прыжки, прокалывая им ноги шпагами, – это новинка, привезенная, по-видимому, из Франции. Третьи – это фокусники: они ставят женщин вниз головой и проделывают с их обнаженными ногами некоторые фокусы неприличного свойства, говорить о которых более подробно запрещает общественная нравственность…»

Забавы! Забавы, достойные порочной обезьяны, называющейся человеком!

Так где же, в конце концов, Бедлам? Там, в Мурфилде? Там только центральная станция Бедлама, а отделения его, филиалы, камеры и каморки – они весь этот громадный, уродливый, жестокий семисоттысячный город, с его пьянством, нищетой, развратом, злобой – злоба нависла над городом плотной пеленой: восемьдесят шесть синонимов глагола «бить» числилось в ту эпоху в английском языке; с его безобразными и жадными пороками, с его проститутками и джентльменами – государственными людьми, «имя которым вероломство»; с его чернью, несчастной, забитой и способной теперь, после реставрации и белого террора, лишь к вспышкам яростного, но бесцельного бунта; с его липкой грязью – в домах, на улицах, на лицах и одежде, в языке, в морали, в нравах, – липкой, жирной, потной грязью… Можно закрыть глаза, можно ее не видеть, можно притвориться, что не видишь.

Но широко открыты глаза у Свифта. Спокойны и четки его шаги, но убыстряется их ритм по мере того, как все с большей быстротой движутся горькие мысли…

Так где же Бедлам?

И с какой его камеры начать подметать?

По всему Лондону слышны удары «Большого Бена» – часов на башне Вестминстерского аббатства. Свифт сосчитал десять.

Куда теперь? В одну из лондонских кофеен?

Пытался закрыть лондонские кофейни Карл II, трусливый развратник: не нравилось ему, что слишком много и слишком весело говорят в кофейнях о политике. Но вскоре кофейни открылись снова, и в большем числе, чем раньше.

В первом десятилетии восемнадцатого века около шестисот числилось их в Лондоне. Многие из них перешли в историю. Сент-джемская, где собираются модники, аристократы и видные политики партии вигов, куда пускают лишь хорошо одетых, предпочтительно в шелковых чулках; «Кокосового ореха» – кофейня партии тори; Харрауэя, на Чэндж-Аллей, у него первого в Лондоне появился напиток, именуемый чай, – теперь там свирепствуют биржевые маклеры; «Греческая», на Стрэнде, – это первая лондонская кофейня, открыл ее полстолетия назад попавший в Лондон грек – теперь тут пристанище университетских людей; Гилдс, у собора св. Павла, – сюда прилично ходить даже епископам; Королевская – у биржи; Ллойдс – на Ломбард-стрит; кофейня «Смирна» в Пэлл-Мэлл – тихий приют громогласных сплетников; и две знаменитые литературные кофейни – Уилла, на Боу-стрит, и Бэттоновская в Ковент-Гардене, где заседает столь известный в истории английской журналистики «малый сенат» Джозефа Аддисона…

Людно в кофейне. Тут пьют не только кофе и чай – и кислое ирландское вино, именуемое кларет, и густое, пьяное испанское, и порт из бочки. Нюхают табак, курят неуклюжие длинные трубки, читают журналы.

Не уменьшается огонь в камине, аккуратно посыпан пол мелким песком, уютна обстановка и приятна сплетня – дворцовая, политическая, литературная, биржевая…

…И всем уж известно, что Эбигейл Мэшем, уродливая и красноносая, оттеснила от королевских милостей обаятельную Сарру, супругу герцога Мальборо, и стала новой фавориткой: это засчитывается как успех партии тори.

…И вполголоса сообщают, сколько заработал муж Сарры, великий воин, знаменитый герцог Мальборо, на своих фландрских победах.

…И с радостью рассказывают, что окончательно разорился герцог Лидс, расходовавший на одни лишь ливреи для своей челяди пять тысяч гиней в год.

…И с уважением вспоминают, что богатейший Иозайа Чайльд

экономил даже на своих париках.

…И с хохотом передают последний анекдот – леди Чолмондлэй, модная дама, известная картежница, родила ребенка, отмеченного пятеркой червей. «Если уж господь бог решил отметить, – сказала благородная дама, – так почему не тузом?»

…И с сочувствием узнают, что испустил дыхание знаменитый «Джек Боец» – боевой петух сэра Джеффри: выиграл на нем сэр Джеффри пятьсот фунтов, а потерял две тысячи, но все же устроил ему торжественные похороны.

…И с лицемерной скорбью отмечают, что успехи англичан в Испании недолговечны – испанцы дерутся как черти. Англичанам придется убраться.

Сгущался воздух. Становилось жарко. Пылал камин. Краснели лица. Высокий, стройный человек вошел в кофейню. Сел в углу, поодаль. Взял чашку кофе – небольшой расход, всего четыре пенса. В мертвом свете свечей, освещавших комнату, смуглое его лицо с высоким, прекрасным лбом казалось угрожающе темным – в тон нависшим над глазами густым, черным бровям. Сидел молча. Прислушивался.

Но когда пересыхал этот веселый ручеек привычного злоречия, ходовых острот, яростных сплетен, злостных анекдотов, мелкой клеветы, корыстных обличений, тогда ронял человек в возникавшей тишине – как бы походя, словно самому себе:

– У нас совершенно достаточно религии, чтоб заставить друг друга ненавидеть, но так мало ее, чтобы побудить друг друга любить…

– Как можно полагать, что человечество послушается совета, если оно даже не в состоянии внять предостережению?

– Сердиться – это значит мстить самому себе за ошибки других.

– Человек, однажды солгавший, не понимает, какую обузу он на себя взял: ведь придется ему солгать еще двадцать раз, чтоб поддержать эту первую ложь.

– Люди с узкими душами – это как бутылки с узкими горлышками: чем меньше содержания в них, тем шумнее они выливают его.

– Развлечение – это счастье тех, кто не умеет думать.

– Я не встретил ни одного человека, который не умел бы терпеливо, как истый христианин, выносить несчастья ближнего своего…

И снова тишина в кофейне, уже не благодушная, а тревожная, настороженная. Один неуверенно смеялся, другой недоуменно пожимал плечами, третий спешил записать услышанное.

Человек в черной священнической сутане, на которой ярко белело

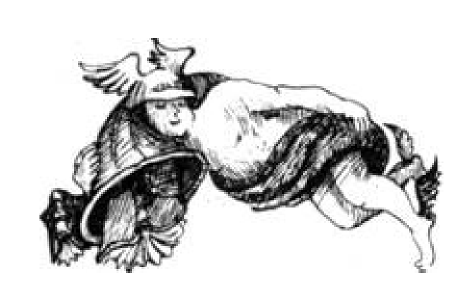
пятно четырехугольного жабо, вставал, расплачивался за чашку кофе, уходил. Замечено было, что никогда он не смеялся над своими шутками, – ведь это были только шутки? Скоро они стали известны завсегдатаям кофеен, их повторяли. И стало затем известно, что этот странный шутник – провинциальный ирландский священник, что-то когда-то где-то написавший…

Но не знали того, что эти короткие молнии афоризмов были для Свифта острыми итогами его длительных прогулок по бесконечным рядам грустных камер грандиозного Бедлама; были мгновенными разрядами нараставшей и душившей его тоски и грусти, боли и обиды за человека – обитателя грандиозного Бедлама…

Шарль Дартинеф, сам знаменитый остряк, не мог, однако, успокоиться…

– Кто же все-таки он, этот странный священник? – обратился он к соседу.

– О, просто «сумасшедший священник» – так прозвали мы его. И действительно: разоблачителю Бедлама – как не быть сумасшедшим?



Глава 7
Свифт знакомится со счастливцем



Как вы смеете называться поэтом
И, серенький, чирикать, как перепел?!
Сегодня надо кастетом
Кроиться миру в черепе!

Маяковский

…Он опасен мелкой дичи.
Зверя бы не уволок -
Сердца вашего не тронет
Этот вылощенный слог.

Руставели

В 1704 году была опубликована и в течение ближайшего времени выдержала три издания «Сказка бочки», анонимно выпущенная вместе с «Битвой книг» модным издателем Джоном Нэттом. Книга произвела сильное впечатление, даже сенсацию. Многим лицам приписывали авторство ее. Несомненно, казалось лестно прослыть автором этого не

совсем обычного, выражаясь мягко, произведения. Но одновременно – не опасно ли? Блестящая политическая и литературная фигура эпохи, Френсис Эттербери, литератор, священник, юрист, впоследствии большой друг Свифта, заметил вскоре после опубликования «Сказки»: «Автор прав, скрывая свое имя; в книге достаточно таких мест, которые повредят его репутации и карьере гораздо больше, чем поможет блестящее остроумие». Так думали многие – только не Свифт. И когда оправдалось предсказание Эттербери, Свифт с трогательной, но и забавной наивностью недоумевал: что же такого особо страшного в «Сказке бочки»? И теперь он совсем был не прочь, чтобы в литературных кругах узнали об его авторстве. Так и случилось. И все выводы отсюда были сделаны, в том числе и тот, что в английскую литературу вошел новый автор – исключительного таланта, небывалой силы. «Джонатану Свифту, самому приятному компаниону, самому верному другу и величайшему гению века – это сочинение подносит его покорнейший слуга автор» – такая надпись была сделана Джозефом Аддисоном на книге его «Заметки о разных частях Италии», поднесенной им Свифту в 1705 году.

Так написал сам Джозеф Аддисон!

Литературная интеллигенция той поры была активна и сильна, но жила она отраженным бытием, находясь в непосредственной зависимости, моральной и материальной, от политических партий, придворных кругов, сановников церкви или даже отдельных лиц – меценатов.

В разной степени, но зависимы были все причислявшие себя к литераторам. В наиболее унизительном и тяжелом положении безымянные перья – «наемные писаки с Грэб-стрит». Эта небольшая уличка в районе Мурфилда, неподалеку от Бедлама, приобрела огромную известность – выражение «писака с Грэб-стрит» равносильно кличке «разбойник пера». Там, на Грэб-стрит, они жили, молодые люди, мечтавшие пробиться, дорваться, сделать себе карьеру и фортуну при помощи пера, и там доживали свои дни в печальной безвестности и горькой нищете те старики – возрастом и душой, кто прошли свой путь, у которых были за спиной их маленькие успехи и тяжелые разочарования. Жадная молодость подавала здесь руку усталой старости, и под руку отправлялись они в походы на издателей, владельцев типографий и бумаги, Тонсона и Эдмунда Кэррла, Джона Нэтта и Бенджамена Тука, Барбера и Харта… Предлагали им за грошовую плату еще не развернувшуюся или уже истощенную фантазию, свою еще свежую или уже изношенную злобу, свои радостные надежды или усталый опыт… Нанимались. сочинять свирепые памфлеты

политического и религиозного характера, клеветнические пасквили, грязные доносы, лживые обличения, сатирические стихи, порнографические сценки – все, чего требовал рынок. Предложение было велико, но был и спрос.

Далеко ушли те времена, когда первый издатель официальных газет Роджер Лэстрендж писал в своей программе: «Все газеты зло, так как они знакомят публику с действиями и мнениями знатных и начальствующих лиц». Наивный Лэстрендж так и не осознал иронии своего высказывания, но указанное им «зло» пришлось по душе читателю. И если к концу века было в Лондоне девять еженедельных газет, то уже целых пятьдесят пять еженедельных изданий в две или четыре страницы продавались на улицах Лондона в первые годы нового века, и стоили они не дороже кружки джина – полпенса или пенс. А выходили, кроме того, правда, нерегулярно, и ежедневные газеты, и из них самая «достоверная и осторожная» – правительственная «Лондон-Газетт».

В первое пятнадцатилетие восемнадцатого века – период злобной хищной борьбы политических группировок – бывали дни, когда выбрасывались на лондонские улицы памфлеты тиражом в тысячу, и в три тысячи, и в пять тысяч экземпляров. Печатный станок жадно требовал пищи, неустанно готовилась она на кухнях Грэб-стрит. И ставили на огонь самые сенсационные блюда политической кухни, замешивали в котлах щепотку клеветы, порцию лжи, пригоршню злобы, сервируя все это с соусом грязи…

Но в литературных кофейнях Уилла, Бэттона и других собирались не писаки с Грэб-стрит; там заседала литературная аристократия, сливки профессии.

Но так ли уж отличались аристократы от подонков?

Талантом – отличались, но не методами использования таланта.

Ибо нельзя забывать: за немногими исключениями, вся литература эпохи была откровенно и подчеркнуто политической литературой, вне зависимости от жанров и форм ее. Политическими были и эссе, и поэма, и памфлет, и пасквиль, и театральная пьеса, и работали они на пользу определенных политических группировок, по косвенным, а то и прямым заказам. «Наемными перьями» в той или иной степени были и аристократы литературы; но, в отличие от писак с Грэб-стрит, продавали они перо не в розницу, а оптом, не за повременное грошовое вознаграждение издателя, а находясь в постоянном контакте с отдельным меценатом или с какой-либо политической группировкой. А некоторые из них умели использовать свой талант как средство получения выгодной синекуры, как ближайший путь к

той же политической, служебной, церковной или даже финансовой карьере.

Ухитрился ведь Уильям Конгрив, знаменитый драматург, «английский Мольер», пользуясь милостями своего друга, видного политика Чарльза Монтегью, получить сразу три чиновничьи должности: чиновника государственного казначейства, управляющего таможнями, главного комиссионера по наемным каретам. И немалую сумму давали три синекуры: тысячу двести фунтов годового жалованья! Правда, были все три должности потеряны, когда тори сменили вигов у власти, но это был уж, так сказать, риск профессии.

Уильям Конгрив был знаменит и славен – одна из наиболее ярких звезд первого пятнадцатилетия восемнадцатого века; но после того, как в самом начале нового века Джереми Колльер, мрачный священник, выступил с яростным памфлетом против «безнравственной драматургии», а особенно после того, как провалилась последняя и лучшая пьеса Конгрива «Пути светской жизни» – была она поставлена в 1700 году, – поклялся обиженный драматург, что он больше не напишет и строчки. И выполнил свое обещание, хотя жил он еще двадцать восемь лет. Жил, хотя и страдал от подагры и болезни глаз, в общем неплохо: у него были деньги, была инерция славы – считался он классиком при жизни. И была у него – всю его жизнь – старая душа. Свифт это понимал. В 1710 году говорит о Конгриве Свифт: «Он выглядит молодо и свежо и весело, как всегда. Он моложе меня, кажется, на три года, но я на двадцать лет моложе его».

Старая душа у Конгрива – вот смысл этого нелепого как будто парадокса. Холодная, дряхлая душа. Как видна она в светских, изящных, изумительных в остроумии своем его пьесах, «безнравственность» которых в действительности лишь бездушность, обнаженная, печальная и пугающая. Драгоценный камень не мог бы быть более холоден, бездушен и блестящ, чем Уильям Конгрив, лучший мастер сверкающего драматургического диалога, учитель в веках Ричарда Шеридана и Оскара Уайльда, не превзошедших, однако, своего учителя ни блеском, ни бездушием. И неудивительно, что Конгрив в старости возненавидел и свою славу и всю свою жизнь. Молодой француз, еще скромный в поведении своем, но уже одурманенный яростной погоней за литературной славой, уже в плену жадного своего честолюбия, – это был Вольтер – посетил «английского Мольера» незадолго до его смерти в его элегантном доме на Сэррей-стрит, в районе Стрэнд. Конечно, Вольтер, льстивший другим в ожидании дня, когда будут льстить ему, исходил восторгами по адресу «мэтра». Конгрив насупился. «Я не писатель, – сказал он, – мои пьесы – это

пустячки, написанные от безделья; я хотел бы, чтоб ко мне относились только как к английскому джентльмену!» И вот одно из благороднейших изречений вольтеровской жизни, – правда, о нем известно лишь с его слов: «Если бы вы были только джентльменом, мистер Конгрив, я не счел бы нужным явиться к вам!»

Уильям Конгрив не мог, да и не хотел претендовать в этот золотой век английской литературы – первое пятнадцатилетие восемнадцатого века – на звание вождя литературы, центральной фигуры эпохи. Не могло быть, конечно, таких претензий и у его коллег – драматургов Ванбру, Фаркера.

Александр Поп! Не он ли в таком случае виднейший кандидат на пост Литератора с большой буквы?

…Умница, циник и знаменитый поэт, Александр Поп, сутулый, длинноносый, завистливо-злобный, болезненно честолюбивый, человек маленького роста, всю свою жизнь привстававший на цыпочки, происходил из состоятельной семьи фабриканта льняных изделий, занимался поэзией как основной своей профессией, не нуждался в меценатах. Холодный мастер чеканного стиха, «божественный Поп», «князь рифмы» не брезгал в лучших своих произведениях сводить свирепые личные счеты со своими современниками-конкурентами и не прочь был использовать и политическую обстановку и связи с меценатами, чтоб «топить своих опасных соперников».

Джон Гэй. Хорошо сложенный, элегантно одетый, с очаровательно саркастической улыбкой, беззаботно честолюбивый, наивно тщеславный, гениальный насмешник, умевший своим элегантным юмором обнажать самые позорные язвы своего общества, автор бессмертной «Оперы нищего», вдохновившей писателя и композитора двадцатого века, он отнюдь не претендовал на лавры борца-моралиста, и смех его не был смехом сквозь слезы. Всю свою жизнь состоял он при меценатах и был, в конце концов, «любезным паразитом».

В бурной жизни своей Ричард Стил, прославленный драматург, эссеист и журналист, друг и соратник Аддисона, был чем угодно: военным, политиком, директором театра, членом парламента, чиновником в канцелярии патентов, управляющим государственными имениями, редактором журналов, нищим, одалживавшим по грошам у всего Лондона, богачом, приглашавшим на пиры весь Лондон; всегда оставался весельчаком-юмористом, но никогда не был голосом общественной совести, глашатаем идеи, хотя и пытался конкурировать на поприще политической публицистики с самим Свифтом…

Но борцом за идею не назовешь и Мэтью Прайора, тонкого

лирического поэта и дипломата-любителя, умело оказывавшего поэтические услуги любой партии, находившейся у власти; таким не назовешь и меньших из созвездия – Николаса Роу, издателя Шекспира, Кинга, Дэйпера, Парнела.

Правда, Николас Роу, поэт и драматург, пытался противопоставить свои антихудожественные, но высокоморальные пьесы блестяще циническому и откровенно нигилистическому, театру Уичерли – Конгрива; в соответствии с духом времени Роу мечтал выдвинуть свою кандидатуру на неофициальный пост знаменосца морали и цензора нравов.

И все же Николас Роу оставался второстепенным литератором. Кроме указанных поэтов и драматургов, кроме политиков, занимавшихся дилетантски литературой, как Генри Сомерс, Генри Сент-Джон, впоследствии виконт Болинброк, Френсис Эттербери, епископ Бернет и наиболее замечательный из дилетантов – Джон Арбетнот, королевский врач и близкий друг Свифта, кроме этих знатных, почетных, но случайных гостей на пиру литературы, можно вспомнить еще два имени, одно из них особенно интересно. Антони Кэшли, впоследствии граф Шефтсбери, внук неистового и мужественного старика, поднявшего знамя бунта при Карле II, унаследовал от своего деда любовь к свободе и атеистические настроения. Но в своих морально-философских памфлетах, сильно читавшихся в это пятнадцатилетие, трактовал он принципы свободы отвлеченно, метафизически, и атеизм его был лишен воинствующего острия, расплываясь в отождествлении религии с моралью и добродетелью. Его эссе написаны стилем прозрачным и изящным, но они бескровны, совершенно лишены боевого темперамента. Он был, конечно, эпигоном, усталым потомком бурных эпох, и прав Бернард Мандевиль, иронически заметивший, что прекраснодушная философия Шефтсбери – это «философия джентльмена», мыслившего вне низменных, житейских реальностей.

Интереснейший памфлетист Бернард Мандевиль, врач, француз по происхождению, голландец по месту рождения и англичанин по языку и культуре, опубликовал в 1706 году знаменитую свою социально-философскую сатиру в стихах «Шумный улей, или Исправившиеся мошенники»; второе, пополненное издание 1714 года называется «Басня о пчелах, или Общественная выгода частных пороков». Не только против прекраснодушного идеализма Шефтсбери был направлен горький сарказм Мандевиля, с блестящим остроумием утверждавшего, что порок – это необходимый признак цивилизации, естественное качество человека и основной двигатель прогресса. Мандевиль своим дерзко оригинальным

памфлетом подкапывался, быть может сам не сознавая того, под устои буржуазной морали.

Кто же остается кандидатом на вакантную должность Литератора с большой буквы? Ведь перечисленные имена – это почти вся литературная Англия первого пятнадцатилетия восемнадцатого века и буквально вся литературная аристократия.

Двое остаются. Но один из них – Даниель Дефо – был в то время, до «Робинзона» и «Молль Флендерс», фигурой без большого веса, яростным памфлетистом партии вигов, публицистом талантливым, но с кругозором узко ограниченным, человеком, никак не импонировавшим своим духовным обликом.

Кто же единственный кандидат в Литераторы, кто претендует быть духовным вождем нации, кто тот писатель, для которого литература – не выгодная профессия, средство к карьере, приятное развлечение, не наслаждение холодно-формальной стороной творчества, а способ борьбы за мировоззрение, могучее средство оздоровления своей страны, своей эпохи?

Такой был: и в признании современников, и в оценке потомства.

Звали его Джозеф Аддисон…

«Натура и обстановка вынудили его бороться, не сочувствуя защищаемому им принципу, писать, не увлекаясь искусством, думать и не додумываться ни до какого догмата: он был кондотьером по отношению к политическим партиям, мизантропом по отношению к человеку, скептиком по отношению к истине и красоте».

О ком эти весьма суровые и… очень пышные строки? Не об Аддисоне ли? Нет, конечно, они о Свифте написаны, и написал их сам Ипполит Тэн.

Итак, «кондотьером» входит Свифт в литературу.

Но, однако, как неудачно начинает «кондотьер» свою направленную к карьере, славе, богатству деятельность. В момент, когда весьма непопулярны некоторые политические деятели, публикует он памфлет в защиту этих деятелей. В момент, когда считается «завоеванием революции» усиление роли палаты общин, нападает он в своем памфлете на самый принцип власти «случайного большинства», вскрывая демагогию и ложь парламентского режима. В момент, когда опираться на какую-либо политическую группировку просто необходимо для каждого сколько-нибудь разумного политического писателя, осмеливается «кондотьер» в своем памфлете вообще восстать против обеих основных группировок. Какой, однако… неумный кондотьер этот Свифт!

Что делает дальше «кондотьер»? Получив некоторую известность, проникнув в переднюю политики, общаясь с алчущими и жаждущими кандидатами и аспирантами в «великие люди», посещая и гостиные больших политиков, и Сомерса и Монтегью, заручившись личной дружбой сильных мира, стоя уже на пороге карьеры и славы, – что делает «кондотьер»?

Публикует «Сказку бочки» – беспричинно яростное, на взгляд среднего читателя эпохи, бурно неистовое нападение, нападение на людей церкви, людей политики, людей литературы, людей науки. На всех и на все.

Кому же в таком случае рассчитывает продать шпагу свою этот «кондотьер»?

Неумный, неудачливый, несчастный какой-то кондотьер! Особенно по сравнению со счастливым – некондотьером, – со счастливым идеалистом, рыцарем литературы и политики, Джозефом Аддисоном!

Поняв Аддисона, гораздо легче понять и Свифта. Не потому, что они были сходны по облику своему. Нет, потому, что трудно представить себе несходство более принципиальное, контраст более разительный, как бы нарочито большим мастером созданный, между двумя этими современниками, литературными коллегами, «компаньонами» и, пожалуй, друзьями. Большой мастер литературного портрета, все тот же Тэн мобилизовал всю ловкость эффектного пера своего, чтоб дать эффектнейший рисунок контраста.

«Один наслаждался счастьем, был доброжелателен, любим, другой сам ненавидел и в других возбуждал к себе ненависть и в жизни был несчастнейший из людей. Один являлся партизаном свободы и самых благородных стремлений человека, другой – защитником ретроградной партии и злостным клеветником человеческой природы. Один соблюдал всегда осторожность, деликатность, считался образцом лучших английских качеств, другой представлял собой образчик самых жестоких английских инстинктов, выходящих из всяких пределов и правил».

Характеристика эта настолько формалистична и тенденциозна, что не приходится искать в ней не только исторической справедливости, но и элементарного соответствия общеизвестным фактам жизни Свифта. Не знал разве Тэн, что трудно найти в истории мировой литературы человека, кто, как Свифт, умел возбуждать к себе любовь, граничащую с поклонением, и со стороны лучших умов эпохи, и со стороны «человека с улицы»…

Но не в этом дело. При всей ничтожности характеристики есть в ней показательная значительность. Многому учит она. Тому хотя бы, что Ипполит Тэн, этот близкий – через время и пространство – родственник Аддисона, весьма удавшийся Аддисон, яркое воплощение «аддисоновского», не мог не высказать в характеристике свою и аддисоновскую чуждость Свифту; больше чем чуждость – враждебность. Враждебность к Свифту как к «изменнику»; изменнику тэновско-аддисоновскому обществу, среде, классу. Пусть не осознана эта вражда, но имеет она глубокие корни.

Логика Тэна плачевна. Но чувство его понятно. Действительно, был разительный контраст между Аддисоном и Свифтом, только совсем не в том он заключался. Стоит вдуматься в этот контраст.

Кем же был Аддисон?

Счастливчиком. Какая жизнь! Перманентный фейерверк успехов, похвал, почестей, достижений – асфальтированная дорожка преуспеяния.

Сын почтенного декана, с пятнадцати лет оксфордский студент, уже в университете известный своими латинскими стихами, оставленный при университете как знаток античности, ученик Вергилия и Горация. Затем он берется за английские стихи, пишет оду в честь Драйдена; общепризнанный глава литературы и видный политик в это время, Драйден польщен, он представляет молодого Аддисона виднейшим лидерам вигов – Сомерсу и Монтегью (1699 год); те очарованы молодым ученым, поэтом, светским человеком, решают сделать его пером своей партии; Аддисон согласен, отказывается от предлагавшегося ему – двадцатитрехлетнему – видного церковного поста, становится вигом, пишет стихи в честь Монтегью и Сомерса, получает правительственную пенсию в триста фунтов в год, посылается в заграничную командировку – влиятельные друзья хотят сделать его дипломатом; три с лишним года за границей, вращается в лучших кругах, повсюду ласкаем, повсюду любим; пишет «Послание» в честь Монтегью, готовится занять видный дипломатический пост; и вдруг – смерть Вильгельма, на престоле Анна, виги в немилости, пенсия Аддисону приостанавливается, о дипломатической карьере нет уже речи, он испытывает даже материальные затруднения, поступает наставником к знатному юноше, в 1703 году возвращается в Лондон, живет в Хаймаркете в мансарде; и вдруг в одно прекрасное утро видит в своей скудной мансарде канцлера казначейства Бойля в качестве представителя главы министерства Годолфина. Просто объясняется это чудо: английская армия одержала блистательную победу при Бленгейме, нужно ее подобающе воспеть, искали кандидата. «Я знаю человека для вас, – сказал

Сомерс Годолфину, – хотя он и виг, но талант его выше партий». В три дня была Аддисоном написана поэма «Поход», пришел Годолфин в восторг, принят Аддисон при дворе, и вот получает он уже приличный пост с маленьким пока жалованьем, но блестящими перспективами впереди.

Не пора ли сделать передышку и взглянуть на литературную деятельность Аддисона в эти годы? Хотя бы глазами Маколея. Как и Тэн, считает Маколей Аддисона воплощением всего лучшего, что есть в английском характере, и к тому же сам Маколей был горячим вигом. Но вместе с тем он знал толк в литературе и умел честно мыслить и писать.

И говорит Маколей.

Насчет произведений Аддисона, посвященных античности: «Дело в том, что Аддисон писал о вещах, о которых не имел понятия».

Насчет латинских его стихов: «Тот род сочинений, в котором Аддисон превзошел своих современников, был предметом занятий во всех английских центрах учености… Каждый, кто был в публичной школе, писал латинские стихи… чистота слога и непринужденная плавность стихов обща для всех латинских стихотворений Аддисона».

Насчет английских стихов: «Он издал перевод одной части четвертой „Георгики“, „Строфы к королю Вильгельму“ и другие пьесы равного достоинства, то есть без всякого достоинства».

Насчет «Послания к Монтегью»: «Это послание, когда-то пользовавшееся большой известностью, знакомо теперь лишь немногим, и вряд ли эти немногие считают его сколько-нибудь увеличивающим литературную славу Аддисона».

Насчет знаменитой поэмы «Поход»: «В целом поэма нравится нам менее “Послания к Монтегью”».

Насчет прозаических «Заметок о разных частях Италии»: «И теперь чтение этой книги доставляет нам удовольствие… однако это занимательное сочинение… заслуживает справедливого порицания по причине заключающихся в нем упущений».

И в итоге? Маколей честно подводит итог: «До сих пор его слава основывалась только на произведениях, которые, оставаясь единственными его произведениями, были бы теперь почти забыты, – на нескольких превосходных латинских стихах, на нескольких английских стихотворных произведениях, из коих только некоторые были выше посредственных, на книге путешествий, написанной увлекательно, но не указывающей на особую силу ума».

Не расходится с Маколеем и Тэн, говоря об этой части аддисоновского литературного наследства.

При такой характеристике – характеристике апологета – как же можно рядом произносить имена Аддисона и Свифта?

1705 год. Уже любим, уважаем, ласкаем Аддисон. Уже восседает он в кофейне Бэттона, окруженный льстецами и прихлебателями, уже облепляет его рой докучной, но приятной все же мошкары.

И расширяется дорога счастья, гладкая, укатанная, и катится он – гладкий, без сучка и задоринки, шарик.

В 1705 году у власти снова виги – и Аддисон на важном посту помощника статс-секретаря. В 1708 году он член палаты общин, затем в качестве главного секретаря по делам Ирландии, при лорде-наместнике Уортоне, переселяется в Дублин, с жалованьем в две тысячи фунтов. Аддисон – виг, лучший поэт и журналист партии вигов. И, однако, такова его популярность в Англии, что к концу 1710 года, в момент падения вигов, Аддисон лишь теряет свой пост, но избирается все же членом торийского парламента и процветает в Лондоне, занимаясь литературно-публицистической деятельностью. Добивается вскоре постановки плохой, но высокоморальной своей пьесы «Катон», наслаждаясь аплодисментами и вигов и тори. А затем маятник английской политики вновь резко сдвигается: в 1715 году разгромлена партия тори, виги торжествуют победу. Аддисон возвращается на свой ирландский пост. Далее – новые выгодные и почетные назначения, далее – выгодные коммерческие операции, далее – выгодная и почетная женитьба на богатой и благородной леди, далее – отказ по болезни от активной политической деятельности, но, однако, с пенсией в полторы тысячи фунтов, далее – жизнь в прекрасном доме под Лондоном – Холланд Хаус, где до сих пор висит его портрет: «черты приятны, цвет лица замечательно хорош, но в выражении лица мы видим скорее кротость характера, нежели силу и проницательность ума» (Маколей), далее – литературные планы: трагедия на смерть Сократа, перевод псалмов и трактат о христианстве – от последнего сочинения нам остался отрывок, без которого мы могли бы легко обойтись; и тихая, христианская кончина – в 1719 году, в возрасте сорока семи лет, торжественные похороны, прах Аддисона помещен в Вестминстерском аббатстве; наконец – великолепное издание его сочинений по подписке, а среди подписчиков – испанские гранды, итальянские прелаты, маршалы Франции, королева шведская, принц Евгений Савойский, великий герцог тосканский, герцоги пармский и моденский, дож генуэзский, кардинал Дюбуа, регент-принц Орлеанский! – какая знать, какие имена!.. – и полное забвение его в веках читателями и постоянное, назойливое, тенденциозное противопоставление ясного, радостного счастливца и человеколюбца

Аддисона мрачному, злобному, несчастному человеконенавистнику Свифту!

Как же все-таки превратился этот шарик без сучка и задоринки в рыцаря без страха и упрека?

Несомненно: Аддисон имеет право на посмертную славу. Не как поэт, драматург, мыслитель или политик, а как талантливый юморист-очеркист, один из редакторов и главный сотрудник вошедших в историю «нравственно-сатирических» журналов: «Тэтлер», «Спектэйтор», «Гардиан» («Болтун», «Зритель», «Страж»), выходивших в 1709–1713 годах.

В легких, остроумных зарисовках, блестящих жанровых картинках, сценах, выхваченных из жизни, юмористических очерках, специально заготовленных письмах в редакцию, в монологах Бикерстафа, мифического редактора «Тэтлера», в похождениях, рассуждениях и недоумениях сэра Роджера Коверли, героя «Спектэйтора», – во всем этом материале, интересном, удобочитаемом, развлекательном и всегда остроумном, заполнявшем 1081 номер трех журналов, выходивших, с перерывами от одного названия к другому, то ежедневно, то три раза в неделю, небольшим форматом, в одну страницу убористого шрифта, напечатанную с обеих сторон, и тиражом в две-три, а иногда и десять и даже двадцать тысяч экземпляров, – была единая социальная программа. Была она подчинена одной основной идее и проводилась тщательно и неуклонно.

«Оздоровление нравов», разворошенных, расшатанных и развращенных эпохой гражданской войны и реставрации – такова идея и программа. Оздоровлять, бичуя пороки общества бичом сатиры, юмора, насмешки. Подметать уголки возводимого здания нового социального режима.

Так вот, оказывается, у кого в руках метла! У Аддисона, а не у Свифта? Да, у Аддисона. Только не метла, плебейская, грубая, а скорее бархатная метелка в аристократической, облеченной в лайковую перчатку руке…

Все тот же Тэн пишет о программе аддисоно-стиловских журналов, пишет с симпатией нарочито подчеркнутой, но и с иронией нескрываемой:

«Они отличались строго нравственным направлением и содержали упреки легкомысленным женщинам, советы семьям, рисовали портрет честного человека, рекомендовали средства против страстей, излагали размышления о боге, религии, будущей жизни. Не знаю, какой прием ожидал бы во Франции подобную проповедническую газету, в Англии же успех ее был громадный». «Спектэйтор», «Тэтлер» и «Гардиан» – это

проповеди светского проповедника». «Спектэйтор» – это руководство честного человека, что-то вроде идеального нотариуса». «Аддисон умеет убедить своего читателя, так как в публике же он черпает свои верования». «Он силен, так как общедоступно полезен, так как миросозерцание его узко». «Ничего высокого, ничего несбыточного в цели Аддисона нет, наоборот, она вполне практична, то есть буржуазна и осмысленна, она дает возможность легко прожить на земле и быть счастливым в небесах».

А Маколей суммирует – уже без всякой иронии: «…великий сатирик, умевший все представить в смешном свете, не употребляя во зло этой способности; сатирик, который, не нанеся ни одной раны, совершил великую общественную реформу и примирил разум и добродетель после долгого и бедственного раздора, за время которого разврат сводил с прямого пути разум, а фанатизм – добродетель».

Действительно, был он весьма полезным для режима «сатирическим нотариусом». Ибо был Аддисон идеальным представителем типа либерала-буржуа. И задача, выполненная им блестяще, – для своего времени позитивная задача! Задача укрепления нового общественного режима, рождавшегося в атмосфере, насыщенной испарениями крови, в воздухе насилия, в обстановке распада былой морали, в условиях развороченного, распыленного быта, на базе хищнического эгоизма. За бархатную перчатку на костлявой руке молодого капитализма боролся Аддисон. Не примирять добродетель с разумом, а стараться, чтоб не становился разум слишком пытливым, слишком дерзким, и держать его на привязи общедоступной, школьной логики; стараться, чтоб не становилась добродетель самоотверженной, выходящей за рамки классовой морали, а потому держать ее на узде повседневного здравого смысла; проверять и разум и добродетель критерием личной, то есть классовой, пользы и благополучия и действительно объединить их в единую ценность, настолько конкретную и узко реальную, что подобно биржевым бумагам могла бы подлежать она котировке, благо недалеко от биржи было до кофейни Бэттона, где над постоянным столом Аддисона висел почтовый ящик в виде львиной головы: туда опускались материалы постоянными и случайными сотрудниками его журналов.

Такова задача. И была она по плечу, конечно, не Свифту, а Аддисону. Ибо он – свой, глубоко свой в этом создавшемся строе молодого капитализма. Руководители обеих партий понимали, что аддисоновское стремление подмести сор, создать устои новой буржуазной морали будет на пользу каждой из партий, поочередно приходившей к власти. И сам Аддисон, понимая свою роль, очень обдуманно занял в своих журналах

1709–1713 годов позицию в стороне от политической драки, исключив вопросы узкой политики из своей программы, и всячески сдерживал своего соредактора, заядлого вига Ричарда Стила. Случайно разве в «Спектэйторе», наиболее аддисоновском из всех журналов, положительными персонажами, выступающими от имени редакции, выводятся сэр Роджер Коверли, землевладелец-тори, и сэр Эндрью Фрипорт, купец и биржевик – виг.

Так Аддисон сумел создать себе репутацию Литератора вне партий, заботящегося о благе «всей Англии». Так и возникла громадная его популярность, его почетный неофициальный титул «цензора нравов».

И был он к тому же человеком, умевшим и любившим нравиться, очаровательным собеседником, уютным собутыльником, ласковым товарищем.

За этим человеком – счастливчиком, родившимся с «серебряной ложкой во рту», – куда же было угнаться «неудачливому кондотьеру», родившемуся с топором в руке, Джонатану Свифту?

Конечно, не мог Ипполит Тэн, этот буржуа, уже вдохнувший сладостно-гнилой запах буржуазного декаданса, скрыть в своем пышно-блестящем этюде об Аддисоне этакого легкого, кокетливого презрения к «цензору нравов», к этому Робинзону от морали, упорно засевавшему свой остров семенами новой буржуазной этики. Но то было презрение утонченного литератора, и оно совмещалось у Тэна с чувством почтения. Пусть скучны Робинзоны, но они очень полезны. Особенно, когда подумаешь об угрожающем следе ноги необузданного дикаря Джонатана Свифта, грозившего затоптать нежные семена, из которых вырос пышный сад буржуазной культуры и морали. Где же гулять Тэну – пусть и скептически усмехаясь гулять, – если не в тенистых аллеях этого сада!

Теперь становится понятной эффектно-беллетристическая тирада о контрасте.

Контраст налицо. Но не между «гением добра» к «носителем зла», другом людей и человеконенавистником… А между либеральным буржуа и революционным гуманистом, между «своим» в этом строе и глубоко чужим, начисто отрицавшим проклятый режим капиталистического рабства, сменившего рабство феодальное; на этом основании столь же вульгарные, сколь и слепые социологи, идя на поводу у Тэна, зачислили Свифта в «реакционеры», относя, конечно, Аддисона к прогрессистам.

Был контраст. Между сладкой проповедью и бурной трагедией, бархатной метелкой и стальным топором, между лозунгом одного: мне хорошо, пусть будет хорошо и вокруг меня – и ощущением другого: людям

плохо, как же может и мне не быть плохо! Был контраст: столкнулись в кофейне Бэттона ласковый себялюбец и гневный гуманист.

И он должен был сделать карьеру подобно Аддисону, и на него должны были сыпаться милости Сомерса и Монтегью, ведь оказал он им услугу побольше той, что заключалась в стишках Аддисона… И в еще большей степени повторилось это через несколько лет в его отношениях с лидерами тори…

Помешала Свифту «священническая ряса» – говорит Маколей. Пустяки, конечно. Будто не делали карьеры духовные лица.

«Плохой характер», «неуживчивость», «человеконенавистничество» – говорят другие.

Пусть они и были – эти качества. Но ведь симптомами чего-то более важного являлись они. Симптомами бесконечного его одиночества в этом обществе и среде.

Это и мешало. Не ощущали Свифта «своим», вернее, чувствовали, даже не вполне осознав это чувство глубоко, не своим, принципиальным чужаком. Даже и тогда, когда он вел «позитивную», так сказать, работу, даже и тогда, в 1710–1714 годах, его ценили, ему не доверяя, им пользовались, его не продвигая.

А сам Свифт?

Ему казалось в это пятнадцатилетие, что он крепко взял в руки метлу и метет на общую радость.

Какое наивное, трагикомическое заблуждение! Если б Свифт знал, что на основании этого заблуждения открестят его Аддисоны будущих веков «кондотьером» и «наемным брави»!

Впрочем, он гордо улыбнулся бы. Да, он должен был остаться не своим и в будущих веках: садовникам капиталистических садов должен он был казаться «человеконенавистником, оклеветавшим человеческую природу».



Глава 8
Свифт строит на пепелище



…И если потеряна битва,
Погибло ли все?
Не сломлена воля.
Бессмертен мой гнев – за мной мое мщенье -
И мужество живо: не покорствую я.
Кто скажет, что я побежден?

Мильтон

Если кто-нибудь выдается среди нас – пусть уходит и выдается среди других.

Гельвеций

Рука схватилась за метлу. Хоть в одном из переулков Бедлама подмести, вымести грязь. Но это не переулок – это широкая улица большой государственной политики. По этому пути идет публицистическая деятельность Свифта в 1705–1709 годах, и особенно в следующее,

знаменитое пятилетие 1710–1714 годов. Странное и трагикомическое зрелище: Свифт, пытающийся идти нога в ногу с веком, влиться в русло позитивной работы…

Гневное пламя, высоко вздымавшееся, вонзавшееся в небо, подобно рвущимся вверх шпилям готических соборов, пламя могучих, грозных идей революции 1648 года, оно погасло, потонуло в крови и грязи реставрации.

Забыты люди и идеи середины семнадцатого века. Вопль о социальной справедливости, мечты о равенстве, коммунистические чаяния низов и примкнувшей к ним интеллигенции – как далеко это отошло, каким глубоким слоем пепла покрылось! Гремела песня в середине века, коммунистическая песня диггеров:

«Долго бедные терпели страшные насилия от богатых, от их прислужников попов, то было издевательство и позор, и отравлены были колодцы нашей жизни. Но вот идет равенство для всех, приходит общность, и уравняет она горы и долины. И близко то время, когда не будет мрака в человеческих сердцах и головах, тогда возникнет у всех общее дело и утвердится навсегда; объединятся в любви знатные и простые, исчезнет преклонение перед людьми…»

Отзвучала песня, смолкли голоса…

«Вопросы для всех людей, предлагаемые тем, кто желает помочь делу общественного блага, или моя лепта, брошенная в общую сокровищницу» – таково наивно-торжественное название памфлета, опубликованного в декабре 1649 года, когда горячи были надежды и радостны мечты, и достижение всеобщего блага казалось таким естественным и близким: стоит лишь правильно ответить на эти вопросы. Вот один из них:

«Не установлена ли частная собственность вместо всеобщего коммунизма – путем насилия и грабежей, и не этим ли способом поддерживается она? Не были ли в этом жестоком деле впереди всех хищники – лендлорды, адвокаты, духовенство, и не прикрывались ли эти бесстыдные деяния фиговыми листками догматов, религиозных формул и культов?» И еще вопрос: «Не откроют ли наемные рабочие и безработные путь свободе, если они самовольно займут и станут обрабатывать общинные земли?»

Давно уже перешли общинные земли в руки новых лендлордов; на костях погибших вопрошателей укрепился фундамент частной собственности, и не найти было ни в книжных развалах Грэб-стрит, ни у модного книгопродавца Тонсона экземпляра памфлета 1649 года. Пожалуй, и не найти было номера 61 газеты левеллеров «Модэрэйт» от 5 сентября

1649 года, а на пожелтевших его страницах мог бы читатель начала восемнадцатого века, когда вела Англия обогащающую богачей войну за испанское наследство, прочесть гневные строки о войне: «Войны во все времена прикрывались самыми прекрасными предлогами, как-то: преобразование религии, защита законов страны и свободы граждан, но результаты их были гибельны для этих целей, пагубны для каждой нации, ибо войны делают основой всякой власти не народ, а меч, отнимают у людей их прирожденные права и передают в руки немногих собственность – эту основу всякой борьбы партий и главную причину большей части грехов против небесного божества».

Знаком ли был Свифт с этими строками? Ведь слышен их отзвук и в «Сказке бочки», и в «Поведении союзников», и, особенно, в «Гулливере».

В книжных шкафах Мур-Парка должен был он найти изумительную книгу Джерарда Уинстенли, опубликованную в 1652 году, социальную утопию громадного размаха. «Закон Свободы» называлась она; это был гневный протест против социального неравенства, властный призыв к уничтожению бед человечества путем создания справедливой социальной республики. О трех братьях рассказано в «Сказке бочки»; в памфлете Уинстенли дан диалог двух братьев. Об «эолистах» рассказывает Свифт; против «сверхчувственного» учения священников, оглупляющего простых людей, превращающего их в одержимых, воинствует Уинстенли. Случайно ли совпадение?

И в политических памфлетах Свифта как не найти отзвуков «Оцеана» Харрингтона, этого блестящего революционно-утопического памфлета, полемизирующего с жестоким и мрачным гоббсовским «Левиафаном».

Пафос свифтовского гуманизма, он странен и одинок в начале восемнадцатого, но как на месте он был бы, оказывается, в середине семнадцатого века!

И отцвели большие идеи, толстым слоем пепла покрыты смелые мысли, благородные стремления лучших людей отошедшего века.

Пепелище! Но сверкающее обманчивыми огнями пепелище… Золотой век английской литературы – говорят школьные учебники.

Какие имена, какие люди! И Аддисон со Стилом, и холодный стилист, великий мастер Александр Поп, фейерверк нигилистического остроумия Джон Гэй, и Джон Арбетнот, королевский врач, автор трактата «Искусство политической лжи» – ценный вклад в идеологию пепелища, и другой врач – Бернард Мандевиль, холодный и жестокий ум, адвокат порока, и рядом с ним – гениальный софист в священнической рясе Джордж Беркли, веривший в бога, но не веривший в реальность мира, – и отнюдь не

случайна была невежливость эта…

Это премьеры, но сколько еще кругом литераторов и поэтов, остроумцев и памфлетистов, фехтовавших афоризмами с теми же изяществом и силой, с какими владели рапирой рыцари средневековья, джентльмены-конкистадоры эпохи Елизаветы…

Сверкающая плеяда дарований и умов, она жила, действовала, блистала на очень коротком отрезке эпохи – первое двадцатилетие века, в очень тесной, по существу, среде – кофейнях, клубах, светских гостиных, министерских приемных; все они знали друг друга, сталкивались чуть не ежедневно, одним воздухом дышали, в беспрестанных дуэлях остроумия и таланта скрещивали клинки…

Как же не воскликнуть: изумительная, неповторимая по блеску своему эпоха!

Эпоха холодного формализма, бездушного мастерства, опустошенного пересмешничества – в литературе, эпоха дискредитированных лозунгов, забытых идей, раздробленных идеалов, сгоревших эмоций – в общественной мысли. Эпоха скепсиса, имя которому нигилизм, эпоха анализа, имя которому смерть. Благополучнейший епископ Джордж Беркли – ее воплощение, строитель здания солипсизма – наиболее эгоистичной и безнадежной морально-философской теории, когда-либо выдвинутой. Только на пепелище великих идей, только в атмосфере скепсиса без цели, анализа без будущего могло быть воздвигнуто такое здание.

Но на этом пепелище пытается строить также Джонатан Свифт.

Идти по пути с веком – это значит найти лучшее, что есть в веке, не так ли? Лучшее – это значит меньшее зло, это Свифт понимает. Но где и как найти в стране и эпохе ту силу, которая меньше других заражена атмосферой гниения?

К современным ему политическим партиям обращается взгляд Свифта.

Моральные ценности и великие идеи партии вигов сводились к лозунгу – обогащаться! Такова идея сделки 1688 года. И Свифту и его современникам ясно видно было: это партия преимущественно «денежных людей», связанных прямо или косвенно с Английским банком, с Ост-Индской компанией, с войной за испанское наследство, обеспечившей европейские рынки английской мануфактуре. Были ценности у этой партии, но не моральные: облигации государственного долга, размещенные по преимуществу среди людей Сити, то есть вигов. И идеи были у этой партии, но не великие: идеи максимального сужения королевской

прерогативы, узкоэгоистические, своекорыстные идеи группировки кредиторов, желавших максимального участия в управлении делами государства-должника.

Такие ценности и идеи – они возмущали Свифта, обрушивался он на них всей яростью своего сарказма. Но видит Свифт, что виги живут ореолом «народной революции» 1688 года, репутацией защитников интересов нации против династии Стюартов, продавшейся Франции и потому свергнутой.

А каковы идеи и ценности у партии тори? Не идеи, а инстинкты; смутные инстинкты хаотической группировки «сельских джентльменов», тупых, ограниченных «охотников на лисиц», страдающих болезнью мелкопоместного идиотизма, чувствующих, что им все более затрудняется доступ к дележу государственного пирога, и мечтающих поэтому об усилении власти номинального хозяина пирога – королевского трона, боящихся и ненавидящих денежную аристократию – эту новую силу в стране; это инстинкты неудовлетворенной жадности, голоса ущемленной психики; так рождается их бессильно-авантюрная политика – ставка тори на возвращение Стюартов.

Как же мог относиться Свифт к этой партии? С жалостью, смешанной с презрением: это видно еще по памфлету «Раздоры».

И, однако, тори в большинстве своем – средние землевладельцы провинциальной Англии; кажется Свифту, что они представляют тот «земельный интерес», который в контрасте с «денежным интересом» служит залогом морального здоровья и устойчивости нации.

О, если б можно было создать третью партию, совмещающую в своей программе и практике «лучшие стороны» тори и вигов!

Странные мечты у скромного сельского священника, смелые фантазии… И однако мечта о «третьей партии» не оставляет Свифта в эти и более поздние годы: «…я забавляюсь проектами об объединении партий – я составляю их ночью и сжигаю по утрам» (письмо от 12 января 1709 года).

Знает, конечно, Свифт, что существовала когда-то эта «третья» подлинно народная партия – за полвека до появления его первого памфлета. Ее вождями и идеологами были Джон Лилберн, Уинстенли, Уильям Эверард, Костер, Палмер, Прэнс, Уолвин – забытые теперь имена, а ее кадрами были пролетарии города и деревни, безземельные и малоземельные крестьяне, ткачи, ремесленники… И были у нее высокие цели, большие идеи, подлинно моральные ценности. Но сейчас ее нет, ибо нет народа как активной политической силы. Народ распылен,

разочарован, безмолвствует…

Но все же, пока Свифт еще не создал «третьей» партии, с кем ему по дороге? На кого он, одиночка, в своем стремлении идти с веком может опереться, на какую силу, менее других затронутую гнилостным процессом, которая более других может считаться меньшим злом?

Эту силу Свифт нашел – по крайней мере сумел себя в этом убедить – в институте англиканской церкви.

Чего же естественней? Священник ларакорской церкви, доктор богословия защищает интересы института, к которому он принадлежит… Но если этого священника зовут Джонатан Свифт, если доктор богословия – автор «Сказки бочки», – как же тогда? Произошел переворот в его воззрениях – думают одни… Он никогда не был атеистом, и «Сказка бочки» направлена лишь против «некоторых злоупотреблений» – считают другие… Свифт просто вульгарный и циничный двурушник, избравший церковь как трамплин карьеры, что и подобает «человеконенавистнику», – заявляют третьи.

Как просто, однако, разрешается «загадка Свифта»!

Этот священник англиканской церкви был законченным атеистом, человеком, не нуждающимся в религии. Но не только к ней равнодушным, как современники Болинброк, Гэй, Поп, – активно ее ненавидящим как силу, враждебную достоинству и свободе человека, принижающую оглупляющую его. И в этом смысле он предшественник не только Вольтера, но и Дидро и Гольбаха: прямая линия идет от ларакорского попа к французским просветителям конца века.

Но они-то ведь не занимали поста в католической церкви!

Нужно понять, чем была для Свифта англиканская церковь.

Была она учреждением скорее политико-общественного, нежели религиозного характера. Была она создана как таран в руках королевской власти для атаки твердынь феодализма, но ко времени Свифта укрепилась как особая сила в стране, самоуправляющаяся политическая единица: с собственной юрисдикцией, своей налоговой системой и даже представительными органами.

В ведении церкви находились все университеты, большинство средних и начальных школ; личный состав верхов клира – интеллигенты, литераторы, политики; «светскость» этого института – характернейшая его черта. Но в отличие от католицизма англиканская церковь была подчеркнуто национальной церковью – единственной национальной церковью в Европе того времени. И национальный ее дух, и вящая заинтересованность в светских, мирских делах были именно основной

причиной выделения из нее многочисленных сектантских элементов, объединенных под общей кличкой диссентеров, или нонконформистов, – свифтовский «брат Джек». То были типические представители религиозно-мистического мышления, с их формулами религиозного «озарения» – «царство божие внутри нас», с их антиобщественной психикой, сектантским индивидуализмом, анархическим отрицанием общеобязательных моральных норм. Они пытались разрушить англиканскую церковь изнутри, ставя ее на одну доску с католицизмом; в ответ церковь провела знаменитый «Тест-акт» (1673), требующий от всех лиц, занимающих государственные должности – церковные и светские, признания тридцати девяти догматов англиканской церкви.

Свифту казался этот институт единственным находящимся вне социальных группировок, вне партийной склоки, независимым от «денежных людей», не подверженным влиянию временщиков и придворных фаворитов; он хотел в нем видеть ту активную силу, которая могла бы быть могучим орудием в борьбе за очищение страны и народа от моральной скверны.

Для него существовала церковь, но не религия; он был церковником, но антирелигиозным, атеистическим церковником. Целиком принимая догматы и обрядности, но не как мистические символы, а как простую формальность, установленные правила, необходимую принадлежность института, Свифт презирал с яростной откровенностью психику религиозности, существо религии, а поэтому и сектантов всех толков. И, защищая интересы института церкви, воинствовал он не за религию – за элементарную человеческую порядочность, за надежду на моральный прогресс.

И еще одно: англиканская церковь больше, во всяком случае, чем политические партии, была связана с народными низами в лице многочисленных и морально наиболее устойчивых элементов своих – сельского клира. Эта функция церкви была для него, плебея, наиболее ценна…

Вот из чего нужно исходить в программе своей деятельности.

Защищать интересы церкви в нынешней политической обстановке борьбы обеих партий, мечтая одновременно о создании какой-то третьей…

Практическая программа? Для кого же – для скромного ларакорского священника? Но ведь это совершенно беспочвенные мечты!

Не такие уж беспочвенные, если вспомнить, что этот ларакорский священник – уже очень известный и ценимый литератор, а кроме того, человек, которому обязаны благодарностью лидеры партии вигов, которая

с 1705 года снова близка к власти.

В апреле 1705 года Свифт приезжает из Ларакора в Лондон с официальной миссией. Ирландское духовенство уполномочило его добиваться у правительства отмены некоторых налогов, вносимых церковью в королевскую казну и падавших всей тяжестью своей на низший, сельский клир. Эти налоги были сняты королевой Анной в 1702 году с англиканского духовенства: справедливость требовала ожидать этой льготы и в отношении нищего ирландского духовенства.

Почему был избран Свифт для выполнения этой миссии?

Потому, конечно, что резко выделяется он в среде убогих и нищих ирландских пастырей. Но также и потому, что известны были его личные связи с вождями партии вигов. Желая выполнить эту миссию, надеется ли Свифт, что тут возникнет возможность его личного продвижения – его карьеры?

Надеется и хочет этого.

А как же иначе?

Чем большее положение займет он в церкви, тем полезнее это будет для дела церкви: оставаясь вполне честным с самим собой, не мог он уйти от этого естественного рассуждения.

Рассуждает так не вульгарный карьерист, не «кондотьер» или «наемный брави» – только человек, которому дорого его дело.

Надежды Свифта были достаточно реальны.

«…Лорды Сомерс и Галифакс (Монтегью) пожелали познакомиться со мной и оказали мне все признаки уважения и привязанности… Они очень жалели, что не были в состоянии оказаться полезными мне, и были весьма широки в обещаниях самого большого продвижения, на какое я мог надеяться, если это только будет в их власти».

Так писал Свифт в документе, не предназначавшемся к опубликованию и опубликованном лишь в начале девятнадцатого века. И это высказывание соответствовало фактическому положению вещей: Свифт, такой равнодушный к своей посмертной славе, не стремился принаряжать свой облик в глазах потомства. Естественно, что знатные лорды обласкали молодой талант и наобещали ему короба – дело было в 1702 году, и они были еще далеко от власти. Не были они у власти и в 1705 году, но в палате общин уже образовалось солидное вигское большинство, Сомерс и Галифакс были уже снова достаточно влиятельными людьми.

И все же в свой приезд 1705 года Свифт ничего не добился – ни для ирландских священников, ни для себя.

А кроме того, стал он понимать, что не от вигов должна ждать англиканская церковь своего укрепления. Эта сильная, уверенно шедшая к полноте власти партия, богатая людьми и деньгами, окрыленная победами в войне, начатой по ее инициативе, успевшая за пять лет царствования Анны – и путем дворцовых интриг, и методами денежного давления – прибрать к рукам вздорную, истерическую, ограниченную даму, – никак эта партия не была заинтересована в том, чтоб увеличивать привилегии англиканской церкви. Наоборот, слишком самостоятельное положение церкви раздражало вигов.

Что ж, подождем, – может быть, изменится ситуация…

В конце 1707 года Свифт снова в Лондоне, опять по тому же делу. Но теперь он не сомневается в успехе: ведь теперь (в 1708 году) во главе правительства сам лорд Сомерс! И уж во всяком случае совершенно блестящи шансы Свифта на продвижение, если окажется, что перо Свифта полезно для вигов.

А почему бы не оказаться полезным свифтовскому перу? Ведь он выступил в защиту благородных лордов тогда, когда были они гонимы и унижаемы; в частых беседах с Сомерсом в 1703 и 1705 годах Свифт указывал, что ему близка программа вигов – в части защиты гражданской свободы нации… Так в чем же дело?

Правда, есть этот неприятный вопрос о роли церкви в стране.

В тех же беседах Свифт жаловался Сомерсу на презрительное отношение вигов к институту церкви, на их заигрывание с нонконформистами. Однако не будет ведь эта сильная партия в угоду провинциальному священнику менять свою тактику. Доктор Свифт – блестящий и проницательный политик – должен понять, что виги нуждаются в расширении своей базы в стране. Вполне естественны в этом положении льготы нонконформистам – их ведь немало в стране, и они влиятельны, – в виде хотя бы отмены устаревшего «Тест-акта». Это наносит удар англиканской церкви? Несомненно, на то и политика! И притом, прямо говоря, ему, Свифту, так ли это важно? Несмотря на антицерковную политику вигов, очень многие из высшего клира – каноники, деканы, епископы – официальные виги; ведь мы, в конце концов, не покушаемся на блага и положения высших чинов церкви, к которым доктор Свифт имеет все основания принадлежать… Можно даже ублаготворить этих невежественных ирландских священников, удовлетворив ходатайство о снятии налога, но – как полагает доктор – если б эту льготу совместить с отменой «Тест-акта», на первое время, в качестве опыта, в одной Ирландии?

– Но вообще почтенному доктору Свифту не мешало бы, – обращается к ларакорскому священнику лорд Сомерс или лорд Галифакс в одной из многочисленных бесед с ним в этом, 1708, году, – не мешало бы наконец определиться политически, взяв пример хотя бы с мистера Аддисона.

– Вот лежит на столе только что вышедший памфлет «Размышления английского церковника» – почтенный доктор знаком с ним? О, бесспорно: талантливо написан памфлет, темпераментно, остро, кристально чистым и ясным стилем, автор, видимо, обращался к самым широким читательским кругам… сильное перо у автора, напоминающее, кстати, памфлет о «Раздорах»…

«…Там, где одно лицо или группа лиц, не представляющая всей страны, захватывает в свои руки власть, там налицо злоупотребление ею. Поэтому я исключаю всякую насильственную власть – ее я считаю, несмотря на все противоположные утверждения Гоббса, злом худшим, чем анархия: дикарь счастливее раба». «Тот, кто проповедует абсолютную власть, врученную одному лицу, должен считаться во всех свободных странах врагом человечества».

– Сильное перо, пожалуй, слишком сильное. Мысли правильны, но резковаты. Но странно другое. Автор памфлета выступает как фигура над партиями, словно верховный судья, человек со стороны, извне! Такие, например, строки никак не вяжутся с обликом серьезного политика:

«Английский церковник может склоняться к принципам одной партии больше, нежели к принципам другой, если он считает, что они более полезны для блага государства и церкви: но его никогда не побудит страсть или личный интерес защищать какую-либо точку зрения, потому что она есть точка зрения той партии, к которой он склоняется, – в этом он и видит корень всех наших неурядиц… Принимая во внимание хорошие и плохие стороны обеих партий, со всеми скидками на партийное пристрастие, – я считаю, что тот, кто хочет сохранить невредимой конституцию церковную и государственную, тот должен избегать крайностей вигов – в интересах первой, крайности тори – в интересах второй… Теперь я высказал все, что считал нужным по этому важному вопросу, и мне хотелось бы, чтобы обе партии признали, что я прав. Но если надеяться на это нельзя, то мое следующее желание было бы, чтоб обе партии нашли, что я ошибаюсь; и это я считал бы достаточно лестным для себя, а также достаточным основанием полагать, что я рассуждаю вполне беспристрастно и, очевидно, – правдиво».

– Остроумно, чрезвычайно остроумно! И – не находит ли почтенный доктор – весьма высокомерно…

Но автор памфлета безгранично наивный человек. С такими концепциями хочет он принимать участие в политической жизни, играть видную роль! Увы, очень легко поймут и тори и виги, что этот человек, мечтающий о каком-то особом положении гордого арбитра, ни на что им не пригодится. Впрочем, автора памфлета это как будто не пугает? Вот он пишет в первых же строках: «Я выражаю свои мнения с полной свободой в беседах с влиятельными людьми обеих партий… Мои высказывания не связаны ни с какими перспективами карьеры. И наконец, я тщательно скрываю свое имя, что вполне освобождает меня от каких-либо надежд или страхов при выражении моего мнения».

Возможно, Свифт кокетничал, набрасывая эти строки. Мог он понять, что ни Аддисона, ни других видных литераторов эпохи не сочтут автором памфлета «Размышления английского церковника», опубликованного в 1708 году. Но как он наивен, этот политик, вооружившийся метлой, этот мечтательный строитель!

Объединить враждующие партии в одну, правящую на пользу страны и народа, – таков идейный стержень памфлета, – разве могут на это пойти группировки, за которыми скрываются враждующие реальные интересы «денежных людей», с одной стороны, остатков феодальной аристократии и мелких земельных собственников – с другой? Конфликт этих интересов разве может быть ликвидирован страстной логикой его памфлета?

Свифт это понимает. Но что же ему делать? Он хочет быть наивным. Не оптом, но по мелочам стремится он теперь «совершенствовать человеческий род».

Свифт также знает, что высокомерный памфлет отнюдь не поможет его карьере. Если раньше шли толки о назначении его на пост уотерфордского епископа, то теперь, когда поняли Сомерс и другие, что польза от Свифта невелика, теперь предлагают ему – и то условно – дипломатическую должность в Вене или даже пост епископа в американских колониях – далекой Виргинии… Сомерс не прочь выполнить свои обещания 1703 года, но Свифта, этого беспокойного, высокомерного и странно наивного человека, нужно убрать подальше.

Но вскоре и эти толки прекратились – из-за резкой ссоры Свифта с новым наместником Ирландии, лордом Томасом Уортоном, от которого фактически зависело снятие налогов с ирландского духовенства.

Лорд Уортон, герой жестокого свифтовского памфлета 1711 года, был примечательной фигурой эпохи.

В 1739 году, через тридцать лет после первой встречи Свифта с

Уортоном, была опубликована любопытная книжечка Джона Мэкки (псевдоним) – сборник сплетен о дворцовом быте при Анне и Георге I. К книге был приложен список главных деятелей эпохи, с короткими их характеристиками. Книжка попалась Свифту – всю эту публику он знал, и, просматривая книжку, набрасывал он на полях старческой рукой – ему было уже семьдесят два года – свои примечания к характеристикам Мэкки. Он пережил всех, пережил и себя – тоска по смерти была единственным содержанием оставшейся жизни, глубоко под пеплом лет лежали события и люди той эпохи; трудно представить себе, что гордый, одинокий старик захочет мстить мертвецам…

С брезгливой улыбкой пробегает он характеристики: Мэкки был льстец, и бездарный льстец, и думал он, что попадет его книжка, написанная приблизительно в ту эпоху, в руки заинтересованным лицам. Вот имя лорда Уортона. Читает Свифт:

«Один из совершеннейших джентльменов Англии; очень ясный разум и изобилие остроумия. Он мужественно выглядит, очень широко живет, он среднего роста, блондин».

Суровым стало лицо старика, гневом зажглись глаза, улыбка перешла в застывшую судорогу негодования. Он обмакивает перо в чернильницу, аккуратно его стряхивает, четким и строгим почерком, в котором каждый штрих окончателен, как формула приговора, пишет несколько коротких слов:

«Самый законченный мерзавец, которого я когда-либо знал».

Можно спорить со Свифтом: были такие в ту эпоху, что не уступали в разврате Уортону – «честному Тому», как насмешливо прозвали его его же коллеги. Но несомненно, он выделялся среди современников откровенностью взяточничества, наглостью своего холодного цинизма, своим тяжелым и брезгливым равнодушием ко всяким нормам личной и общественной морали. Такого рода «сверхчеловеки» всегда приводили Свифта в состояние бешеного неистовства. А вдобавок Уортон кичился своим аристократизмом и с откровенным презрением относился к литературе и литераторам.

Но им пришлось встретиться для беседы по вопросу о льготе ирландскому духовенству, и легко догадаться, что беседа эта мирно не прошла.

Однако гораздо более взволновали Свифта слухи о том, что правительство действительно решило связать вопрос о снятии налога с отменой «Тест-акта» в Ирландии.

Как! Значит, нищее, обездоленное ирландское духовенство должно

приобретать то, что ему принадлежит по праву, ценой моральной пощечины!

И он, Свифт, в роли маклера, посредника в этой унизительной торговле… Он чувствовал, что пощечина горит на его щеке, оскорблена его гордость, унижено его чувство справедливости: все это должно было быть отомщено.

Месть последовала незамедлительно.

Почти одновременно были опубликованы, в том же 1708 году, два памфлета, снова безымянных, но в принадлежности их Свифту никто не сомневался.

Свидетельствовали оба памфлета – каждый по-своему – о могучей силе Свифта! Первый из них – «Письмо о священной присяге» – касается злобы дня, он написан реальным политиком, это бешеная атака на партию вигов в связи с ее отношением к церкви; он написан уже определившимся свифтовским языком – крутым, плебейским, мужественным, где каждое слово – удар молотком по гвоздю, где аргументация становится физическим почти воздействием…

Но насколько страшнее, губительнее для спокойствия правящей группировки, насколько разрушительней для основ и устоев создающегося режима второй памфлет! Писал его не «человек с метлою», борющийся с отдельными несправедливостями, не реальный политик – вернулся автор «Сказки бочки», мыслитель, не знающий компромисса и безжалостно взрывающий все «правила игры», могучий аналитик, снимающий своим скальпелем самые глубокие пласты общественного лицемерия. Памфлет направлен против смысла современности и существа эпохи. И если первый из памфлетов имеет ныне лишь историческое значение, то остался и останется бессмертным в веках другой, спорящий с веком.

«Опыт доказательства того, что уничтожение христианства в Англии может при нынешнем положении вещей создать некоторые неудобства и, пожалуй, не вызвать тех благих последствий, кои имеются в виду».

Очевидно, шутка, мистификация – разве кто-нибудь предлагает уничтожить христианство?

Но Свифт совсем не шутит. И тени улыбки нет в памфлете. Все это так серьезно, так тяжеловесно серьезно, что кажется даже скучноватым. И с первых же строк не сомневаешься, что на самом деле внесен в парламент билль об уничтожении христианства, что встречен он всеобщим одобрением и что эти строки – безнадежная попытка защитить заведомо проигранное дело. Мистификация находится здесь на такой грани реальности, что кажется, будто и нет реальности вне этой мистификации:

автор «Гулливера» мог бы и не написать «Опыта», но автор «Опыта» должен был написать «Гулливера».

– Христианство в Англии отменяется – просим не сомневаться.

У защитников отмены христианства весьма серьезные доводы – с большой робостью позволяет себе автор подвергнуть их некоторому сомнению: он не издевается, не негодует, только скромно размышляет вслух.

И сразу оговаривается: он и не думает выступать в защиту подлинного христианства, существовавшего, по слухам, когда-то. Теперь такого нет – оно несовместимо с нынешними принципами богатства и власти; автор поэтому имеет в виду в дальнейшем лишь номинальное христианство. Общество протестует и против него, говоря, что и номинальное христианство слишком раздражает вольнодумцев и остряков. Автор не спорит, но разрешает себе заметить: если отменить его, где найдут эти остряки столь удобный объект для насмешки? Не обратят ли жало ее на правительство, министров, но ведь это опасней для общественного блага.

Говорят еще, что расходы на содержание десяти тысяч сельских священников могут быть с гораздо большей пользой обращены на улучшение условий существования двухсот молодых людей, блестящих отпрысков разорившихся аристократических семей, а из отставленных священников выйдут неплохие матросы и солдаты. Это сильный аргумент! Однако автор почтительно хочет указать, что освободившихся средств все равно не хватит на содержание этих молодых людей сообразно их рангу. И притом – как же не иметь в сельских округах хоть одного грамотного человека? Убрать священников – такого не останется. Нужно также подумать и о будущности нации: автор считает, что десять тысяч священников, живущих впроголодь, не растративших в светских удовольствиях своих мужских сил, – «великолепные производители».

Указывают затем, что хорошо бы превратить церкви в игорные дома, рынки, биржи, ночлежки… Пусть простится автору резкое слово – это крючкотворство! Разве не ясна неоспоримая польза церквей: какое прекрасное место для свиданий, выставки модных туалетов, светской болтовни, и где же можно так хорошо соснуть, если не в церкви на воскресной службе!

Полагают далее, что после уничтожения христианства исчезнут все секты, разделяющие народ. О, если б имело место такое благодетельное следствие, автор не спорил бы. Но скажите, если парламентским декретом будут удалены из английского языка и всех словарей термины: блудить, лгать, воровать, мошенничать, пьянствовать – на другой день разве

проснемся мы трезвыми, нравственными, поборниками правды и честности? Если вычеркнуть из словаря слова – оспа, ревматизм, подагра, разве доктора останутся без работы? Те причины, что заставляют людей делиться на враждебные партии и секты, разве исчезнут с уничтожением их названий? Разве так беден наш язык и не сумеют зависть, тщеславие, скупость, жадность, честолюбие найти для себя новые клички? И все останется, как было…

И еще говорят – нелеп тот обычай, что в один день из семи разрешается специальной группе людей нападать в своих проповедях на все способы добывания богатств, славы и наслаждений, которые так усердно применяются в остальные шесть дней недели. Но разве на эти нападки обращает кто-либо внимание? К тому же гораздо приятней делать то, что запрещается.

Доказывают затем, что с отменой христианства и вообще религий исчезнут и предрассудки воспитания, которые под названием – добродетель, совесть, справедливость – нарушают наше спокойствие. Однако такая энергичная борьба велась с этими предрассудками, что они вырваны до последнего корня.

Автор сомневается вместе с тем, явится ли уничтожение религии такой приманкой для низших классов, как это считают; если и верно, что религия была создана, чтоб держать в страхе народные низы, то теперь религия так же мало популярна среди низших классов, как и высших; но некоторые элементы ее все же годятся – успокаивать детей, когда они капризничают, или доставлять материал для развлечения в длинные зимние ночи.

Если несколько доводов и контрдоводов в стиле все того же свирепого сарказма – и следуют заключительные строки:

«Я очень беспокоюсь, что через полгода после уничтожения христианства акции банка и Ост-Индской компании могут понизиться минимум на один процент. И так как это в пятьдесят раз больше того, чем мудрость нашего века была бы согласна рискнуть для сохранения христианства, нет основания подвергать себя риску таких грандиозных потерь, только ради удовольствия уничтожить его».

Спокойствие. Мрачное, леденящее душу. Ни одного сильного слова, ни одного восклицательного знака. Вежливый тон равнодушной беседы о маловажных, безразличных вещах.

И от этой маскировки – еще яростней ирония и жесточе ненависть. В нарочито педантическом перечислении аргументов – какая гениальная издевка! Гениально ненавидит памфлетист и гениально оскорбляет

ненавидимых. Сжав зубы, пишет эти леденящие строки Свифт, медленно выводит букву за буквой, слово за словом; на весах холодного гнева взвешивает каждый поворот мысли, через сито неумолимого презрения процеживает каждый аргумент. И становится слово могущественным и целеустремленным.

Человек, умеющий так высокомерно и полноценно ненавидеть, – каким же сильным он должен быть и каким одиноким! Одинок пророк в отечестве своем… а если он к тому же иронический пророк?

Раздражение и испуг были основным тоном реакции на свифтовский памфлет. Для англиканской церкви – насквозь оппортунистической организации – чуждым и страшным должен был показаться свифтовский максимализм, безудержное его стремление высказать всю горькую правду о положении религии в стране, презрительное его нежелание замалчивать неприятные истины. Ведь такая защита религии – яростное обвинение иерархических верхов церкви, непримиримое обличение их реальной политики: сохранить видимость, отказываясь от существа. Такой союзник совсем не нужен был руководителям церкви – он только им мешал.

Для политических же деятелей – и вигов и тори – свифтовский сарказм звучал личным выпадом. Слишком ясно было, что не религию защищает против них автор, а основные принципы социальной и личной морали, те самые принципы добродетели, честности, долга, которые называет он изжитыми предрассудками и места которым не было ни в их жизненной практике, ни в мировоззрении.

Но и на ласкового буржуазного моралиста вроде Аддисона самое удручающее впечатление должен был произвести свифтовский памфлет. Человек с хорошим литературным вкусом, он не мог не отдать должного грандиозному таланту своего коллеги.

Но как должна была раздражать и пугать благонамеренного моралиста наивность бешеного священника, так яростно и бестактно говорящего о том, что всем умным людям давно известно! И он, Аддисон, будет защищать мораль и добродетель в своих нравоучительно-сатирических журналах, но будет это делать по принципу «каждого данного случая», по деловому всякий раз поводу, направляя свои обличения в конкретный адрес… А у Свифта адресат – вся Англия! Его страна, его народ, его век! Нет, Аддисону не по дороге со Свифтом, и не потому, что Аддисон – виг, а Свифт ссорится с вигами, а потому, что Свифт ссорится вообще со всей эпохой, что он определенно не «свой»…

Но кому же было со Свифтом по дороге, для кого он был свой?

Если политические его памфлеты политически отдалили его от

господствующей партии, то «Опыт доказательства» отдалил его не только от вигов, но вообще от всех «здравомыслящих людей».

Полтора с лишним года – с ноября 1707 по июль 1709 – пробыл Свифт в Лондоне. Приехал – мечтателем, уехал – банкротом.

Неудачи – крах – банкротство повсюду.

Так как же Свифту, столь владеющему даром обобщения, не попытаться обобщить причины неудач, не задуматься над основным вопросом: нет ли чего-то в корне порочного в его стремлении идти нога в ногу с веком, заниматься позитивной работой в рамках этого общества, в условиях этой среды…

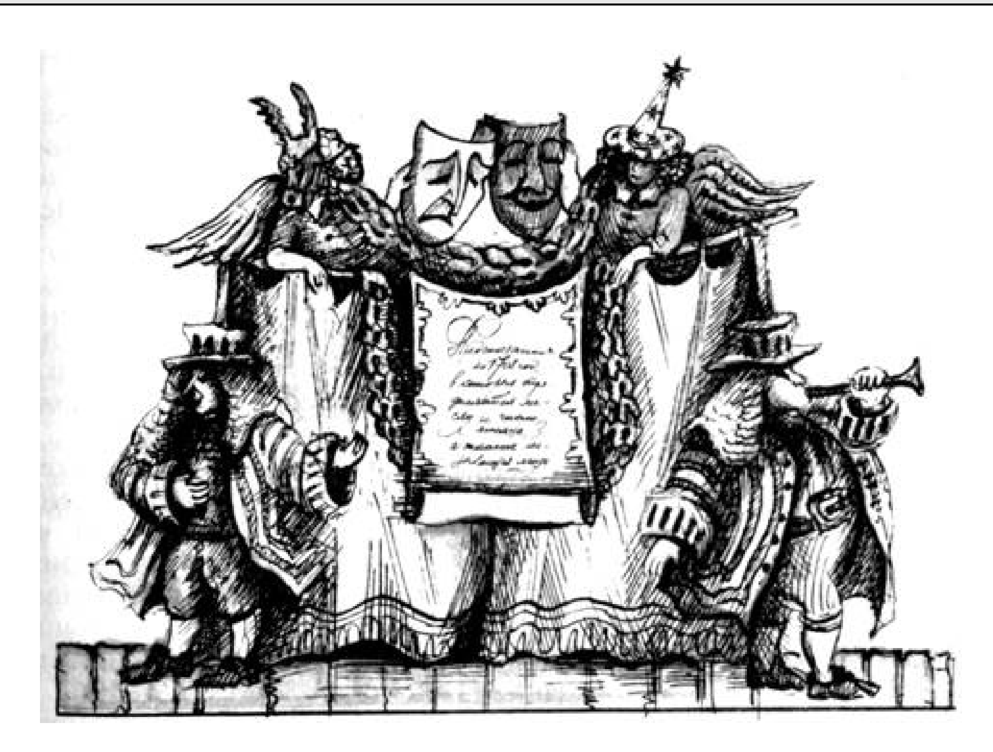
Казалось бы, так очевиден этот вопрос, и, однако, нет данных, что он встал перед Свифтом в этот период. Не исполнились еще сроки. Но если б и было так, если б и решил, хотя бы подсознательно, Свифт «отрясти прах со своих ног», то потускнело такое решение в ослепительном свете следующей главы его жизни!

Изумительная глава! Ирония истории продиктовала эту главу, трагикомическую эпопею величия и падения…

Однако вклинивается тут интермедия – и сугубо театрального характера. Интермедия, свидетельствующая, что герой трудной жизни, Джонатан Свифт, сумел бы превратить ее в серию сменяющих одна другую легких забав.



Глава 9
Свифт просто забавляется



Ни небо, ни земля, ни самый ад —
Такого демона, как вы,
не сотворят!

Мольер

Когда острят и занимают деньги —
полезно заставать людей врасплох.

Гейне

Легкие забавы больших людей…

Как часто они лишь материал для подстрочных примечаний, вежливый кивок биографа любителям «развлекательного чтения». Но жизнь человека, каким бы значительным он ни был, разве можно механически делить: вот текст жизни, а вот примечания к нему?

Свифт же, словно намеренно, строил жизнь свою так, чтобы путать

будущих биографов, просто провоцируя их на то, чтобы заносить страницы важнейшего текста по ведомству примечаний. Эти легкие, маленькие забавы, относимые обычно в рубрику «чудачеств Свифта», тесно переплелись с основным ее драматическим звучанием и никак не отделимы от единой ее темы, в них все та же свифтовская мысль, все та же свифтовская страсть.

И не то чтобы эти маленькие забавы, чудачества, мистификации были отражением, отзвуком больших дел. В совокупности своей они создали своеобразный театр, в котором единственным автором, режиссером и актером был он сам. Конечно, основным приемом этого театра была мистификация.

Мистификация – любимое оружие Свифта, характерный прием его стилистики: на мистификации построена значительная часть «Сказки бочки» и трагически серьезный памфлет об уничтожении христианства. Маленькая забава мистификационного порядка была толчком к возникновению «Размышлений о палке метлы», а как важен этот «эстрадный пустячок» для понимания пути Свифта.

Как никто в мировой литературе, умел он ненавидеть, как бы забавляясь, или забавляться, как бы ненавидя. Но ненависть и забава как-то не сочетаются – отсюда и возник соблазн отделять свифтовский «серьез» от свифтовских «забав». Этот соблазн нужно преодолеть, иначе не увидишь единого Свифта. И поэтому не в примечания, а в текст его жизни нужно отнести великолепную постановку свифтовского театра, его «реализованную шутку», вошедшую в историю мировой литературы под названием «памфлеты мистера Исаака Бикерстафа».

«Реализованная шутка» – что это такое?

Прекрасное английское выражение «practical joke» не так легко поддается переводу. Это и свидетельствует, что оно, очень английское, определяет некую специфическую черту английского национального характера.

И тут вспоминается другое характерное английское выражение, также трудно переводимое, но уже получившее право гражданства в русском языке. Легче будет понять, что же скрывается за «реализованной шуткой», «шуткой, сделавшейся конкретной», – так приблизительно нужно перевести practical joke, если вспомнить о знаменитом английском сплине. Сплин и реализованная шутка перекликаются: может быть, в борьбе со сплином и была создана реализованная шутка.

Аристофан усердно пользуется в своих комедиях, особенно в

«Облаках» и «Птицах», приемом реализации метафоры, но реализовали ее действующие лица комедий – этим и создавался комический эффект для зрителя.

Но если перевести метафору, остроту, шутку из ее условного бытия в реальную жизненную повседневность, то есть уподобиться персонажу аристофановской комедии? Тогда и возникнет реализованная шутка. И это будет, очевидно, злая, мрачная, трагическая шутка.

Но если пойти еще дальше и сделать жертвой реализованной шутки не литературный персонаж, а подлинное, живое лицо? Если воспользоваться живым лицом как литературным персонажем, «обыграть» его в качестве литературного персонажа, перенеся таким образом свой метод литературного творчества в повседневную жизнь?

Лицо это вряд ли будет благодарно автору и данное литературное произведение, невольным героем которого оно явится, будет считать чем угодно – только не литературным произведением. И это значит, что не только литература обогатилась новым произведением, но и то, что блестяще удалась реализованная шутка.

Свифту удалось сделать героем литературного произведения живого человека и поставить его в максимально трагикомическое положение. Свифт по праву мог гордиться своей реализованной шуткой.

Джон Пэртридж (1644–1715) был все-таки незаурядным человеком. Подмастерье в сапожной мастерской в своей юности, он добился настойчивым трудом прекрасного знания латинского языка, овладел в известной мере греческим и еврейским, усвоил начатки медицины и в совершенстве ознакомился со средневековой литературой по астрологии и «черной магии». Он был корыстолюбив и славолюбив и хотел сделаться видным и признанным астрологом, продавать свои услуги по составлению гороскопов – предсказание о будущем человека, составленное на основании расположения звезд в момент его рождения. Старинная профессия астролога была весьма в ходу в эту эпоху, была уважаемой, прибыльной и хотя официально не признанной церковью, но все же безопасной.

Пэртридж энергично работал и добился многого. Начиная с 1680 года он регулярно выпускает свои альманахи с предсказаниями на предстоящий год. Был он, конечно, ловким шарлатаном, но нельзя ему отказать в литературных способностях. Он редактировал свои предсказания, касающиеся судеб видных общественных деятелей Англии и континента на предстоящий год, достаточно двусмысленно и даже многосмысленно:

оставляя себе и шансы на успех предсказания, и хитроумные лазейки на случай провала. Составлялись эти альманахи достаточно бойко и расходились в довольно большом тираже. К началу века Пэртридж был человеком состоятельным, уважаемым сочленом книгоиздательского цеха и вообще довольно видной фигурой лондонского общества.

В начале 1708 года он, как обычно, выпустил свой альманах. Конечно, он не был монополистом рынка, и другие авторы выпускали подобные альманахи. Но Пэртридж мог считаться наиболее популярным в своей профессии, он не боялся конкурентов и расправлялся с ними с неподдельным полемическим задором, обвиняя их в недобросовестности, невежественности, халтуре.

И не было нужды смущаться Джону Пэртриджу, когда в середине февраля 1708 года купил он, проходя по Грэб-стрит, у уличного разносчика четырехпенсовую брошюрку, весьма длинно озаглавленную:

«Предсказания на 1708 год, в которых определяется месяц и число месяца, называются лица и, в частности, рассказывается о важных фактах и событиях предстоящего года. Написано для того, чтобы предохранить английский народ от дальнейшего надувательства его вульгарными составителями альманахов».

И строчкой ниже – имя автора:

Исаак Бикерстаф, эсквайр.

Бикерстаф? Пэртридж никогда не слыхал этого несколько необычного имени. Очевидно, новое лицо в профессии. Или псевдоним старого конкурента? Ну что ж, это не страшно.

Пэртридж перелистывает брошюрку. Однако нахальный субъект этот Бикерстаф. С первых же строк издевается он над благородной наукой астрологии, злобно критикует методы составления предсказаний. Если это обычный конкурент, зачем бы понадобилось ему подрывать свое же ремесло?

А вот и его, Пэртриджа, имя на второй странице:

«Я, пожалуй, несколько удивляюсь, когда я вижу, как деревенские джентльмены хватаются за альманах Пэртриджа, чтоб узнать о событиях предстоящего года, как они не рискуют даже назначить охотничью экспедицию, не справившись о погоде в альманахе Пэртриджа…»

Безусловно, возмутительный субъект! Осмеливается далее обвинять Пэртриджа и других астрологов в безграмотности, незнании английского языка и, что хуже всего, в полной бессодержательности их предсказаний. Но кто ж он сам? Тоже астролог? Разоблачитель или конкурент?

Оказывается, и то и другое. Вот он хвастается (на четвертой странице)

своими успешными в прошлом предсказаниями и дальше пишет:

«Что же касается тех конкретных предсказаний, кои я предлагаю миру, я опубликовываю их не ранее, чем ознакомился со всеми альманахами за этот год. Альманахи эти составлены в обычной для них манере, и я прошу читателя сравнить их метод с моим. И тут я беру на себя смелость объявить перед всем миром, что я ставлю в зависимость все мое искусство от успеха моих предсказаний, и пусть Пэртридж и остальные из его шайки назовут меня шулером и обманщиком, если не сбудется хоть одно из моих предсказаний. (Будьте спокойны, мистер Бикерстаф, назовем! – думает Пэртридж.) Я полагаю, что всякий, кто прочел эти строки, будет считать меня человеком по меньшей мере столь же честным и знающим, как обычные авторы альманахов. Я не таюсь во тьме, я не совсем неизвестная фигура, и я назвал свое имя именно затем, чтоб оно стало знаком бесчестия для человечества, если оно убедится, что я обманщик!»

Пэртридж смущен, он и не подозревал, старый Джон Пэртридж, все зубы съевший на этом деле, что авторы альманахов умеют так писать. Кто ж он такой, этот Бикерстаф?

Еще полстраницы об астрологии, свидетельствующие, что Бикерстаф прекрасно знаком с техникой и терминологией этого ремесла, – и вот наконец первое предсказание…

Но что же это, что это такое?!

Бедный, старый Джон – ему уже шестьдесят пять, уже мучают его старческие болезни – читает дважды, трижды…

«Мое первое предсказание лишь пустяк, но я опубликовываю его, чтоб показать, как невежественны эти ничтожные кандидаты в астрологи в своих собственных делах: мое предсказание касается Пэртриджа, автора альманахов. Я составил его гороскоп по моему собственному методу и увидел, что он во что бы то ни стало должен умереть от острой лихорадки 29 марта сего года, около одиннадцати часов вечера. Я предлагаю ему подумать об этом и вовремя урегулировать все свои дела».

Далее следуют еще четыре странички пародийных предсказаний и блестящее мистификационное рассуждение о дальнейших планах Исаака Бикерстафа, астролога. Этих страничек бедняга Джон, наверно, и не прочел: с него было совершенно достаточно прочитанного.

Таково начало, таков первый акт театральной постановки Джонатана Свифта. Немедленный и восторженный отклик встретил этот первый акт.

Уже через десять дней после появления «Предсказаний» на улицах Лондона продавалась анонимная брошюрка «Ответ Бикерстафу». Вот ее

начало:

«За много лет я не видел, чтобы какая-либо брошюра наделала больше шума и покупалась более жадно, чем эти „Предсказания“; им удивляется рядовой читатель, ими забавляются читатели лучшего сорта, а умники считают их великолепной шуткой».

Автор «Ответа» восторженно анализирует «Предсказания», издевается над Пэртриджем, попавшим в нелепое положение, явственно намекает, кто скрывается за именем Бикерстафа, и кончает строками, свидетельствующими, с каким почтением и с какой опаской относятся в лондонских литературных кругах к фигуре Свифта. В свифтовской «Сказке бочки» был приведен мистификационный список сочинений, написанных автором «Сказки», каковые должны якобы быть опубликованы в ближайшем будущем; и среди других названий имеется название – «Всеобщая история ушей». Автор «Ответа Бикерстафу» (он остался неизвестным – брошюрка опубликована от имени «знатного лица») пользуется этим для прозрачного намека:

«Бикерстаф обещает и на следующий год опубликовать предсказания, но другие астрологи не должны этого бояться: я полагаю, что они выйдут в свет одновременно со „Всеобщей историей ушей“. Мне кажется, что Исаак Бикерстаф умер в тот момент, когда вышли его „Предсказания“. Десять дней тому назад он словно упал с облаков и через несколько часов вновь поднялся туда. И спустится к нам во второй раз лишь тогда, когда сумеет нам предложить новую, столь же остроумную шутку. Я полагаю, что это ему удастся каждый раз, как он этого захочет, то есть каждый раз, когда ему заблагорассудится проявить свое презрение ко всему, что его окружает, и в частности к разуму своих современников, каждый раз, когда он вновь захочет посмеяться сразу над миллионом людей…»

Трудно было бы сказать что-либо более лестное о Свифте; но не чувствуется ли в этих строках, наряду с громадным уважением, и привкус обиды? Автор «Ответа» прекрасно понимает, как дальнобойна насмешка Бикерстафа, пронзающая несчастного Пэртриджа лишь в качестве ближней мишени.

Но он ошибся в одном: Бикерстаф счел преждевременным исчезать – предстоял ведь второй и третий акт.

И вскоре был показан второй акт. Уже 30 марта горланили на всех улицах Лондона мальчишки, продавая листовку – «Смерть Пэртриджа»; полное ее название – «Исполнение первого предсказания Бикерстафа, или Отчет о смерти мистера Пэртриджа, автора альманахов, последовавшей 29 сего месяца».

С блистательной режиссерской выдумкой Свифт воспользовался «Ответом». «Исполнение предсказания» написано от имени фиктивного персонажа, посланного якобы «знатным лицом» – автором «Ответа» – к Пэртриджу, для проверки бикерстафовского предсказания. И это немногословный, со скрупулезной протокольной точностью составленный отчет о том, что происходило в доме Пэртриджа в роковой день 29 марта. Оказывается, рассказывает этот посланец «знатного лица», Пэртридж заболел 26 марта, а 29-го был очень плох. Призванный врач Джон Кэйэ – это был видный лондонский доктор – признал его умирающим. Весь день он был в лихорадочном бреду, но, когда посланец явился к нему, он нашел Пэртриджа в полном сознании и мог с ним побеседовать. Это была замечательная беседа, ибо Пэртридж покаялся!

«Я невежественный человек, но у меня достаточно здравого смысла, чтобы знать, что все претензии предсказывать будущее при помощи астрологии – это обман… только невежественная чернь может верить в предсказания ничтожных глупцов, как я и мои коллеги – люди, едва умеющие писать и читать» – так заявил Пэртридж посланцу «знатного лица». И к этому Пэртридж добавил, что он жалеет о своей деятельности, и рассказал, какими трюками он пользовался для составления своих предсказаний, – рассказ этот полностью совпадает с разоблачением Бикерстафа в первом памфлете. И, облегчив таким путем свою душу, Пэртридж умер.

Но Бикерстаф все же ошибся, и это лучший момент второго акта, вершина свифтовской издевки: Пэртридж умер не в одиннадцать, как было предсказано, но в пять минут восьмого – Бикерстаф допустил ошибку на четыре часа. «Зато во всем остальном Бикерстаф оказался совершенно точным. Но хотя он и предсказал смерть бедняжки, можно с успехом спорить о том, был ли он причиной ее. Во всяком случае, как бы там ни было, все это дело можно считать достаточно странным» – так кончается отчет.

Если раньше, при появлении первого памфлета, Лондон смеялся, то теперь весь город рычал от хохота. Если раньше бедняжка Пэртридж недоуменно сердился, то сейчас он неистовствовал от злости. Настолько была реализована свифтовская шутка, что – непонятно, как это произошло, но так было – цех книгоиздателей вычеркнул Пэртриджа из своих списков! А португальская инквизиция, в далеком Лисабоне, – это также исторический факт – предала сожжению брошюрку «Предсказания Бикерстафа», именно на том основании, что они исполнились и, следовательно, автор их связан с дьяволом; на такую реализацию своей

шутки не рассчитывал и сам Свифт.

И опять не считал он законченным свой спектакль.

Последовала еще интермедия. Свифт вспомнил, что он мастер сатирического стиха, и написал «Элегию на смерть Пэртриджа»; она была распродана в тысячах экземпляров в течение нескольких часов; издевательский юмор этой «Элегии» мог действительно довести бедного Пэртриджа до самоубийства. Но, играя на руку Свифту, Пэртридж был достаточно глуп, чтоб ловить и избивать мальчишек, продававших на улицах «Элегию» и «Отчет», и стал еще большим посмешищем для всего Лондона. Мало того, не удовольствовавшись этим конкретным опровержением сведений о своей смерти, он счел необходимым в следующем издании своего альманаха – на 1709 год посвятить целую главу «обманщику и мошеннику» Исааку Бикерстафу, исчерпал весь свой лексикон ругательств и торжественно заявил, что «не только он, Пэртридж, жив, но он был жив и в тот день, 29 марта».

Поистине Свифту повезло – так везет стальному топору, столкнувшемуся с гнилым деревом… На новое свое несчастье, вздумал Пэртридж тоже острить в этой фразе своего «опровержения». Она дала Свифту великолепный материал для заключительного, третьего акта.

В начале 1709 года третий акт был осуществлен новой брошюркой, названной «Оправдание Исаака Бикерстафа».

Нет нужды воспроизводить все пять «аргументов», коими Свифт «доказывает», что, несмотря на свое опровержение, Пэртридж мертв и не может быть жив. Но стоит привести один из них, основанный на жалкой попытке Пэртриджа в свою очередь сострить. Если Пэртридж, рассуждает Свифт, говорит, что он не только сейчас жив, но был жив и 29 марта, то этим он, очевидно, «хочет сказать, что может быть жив человек, который не был жив несколько месяцев тому назад. И в этом софистичность его доказательств. Он не смеет утверждать, что был жив после 29 марта, но говорит лишь, что жив теперь и был жив в тот день. Но это последнее утверждение я и не думаю опровергать, ибо он умер только ночью 29-го, как это явствует из опубликованного сообщения о его смерти; быть может, после этого он воскрес, об этом пусть судят другие. Я скажу лишь, что это недостойное крючкотворство, и мне стыдно дальше на этом останавливаться».

И затем – заключение, реплика под занавес:

«Когда к концу года оправдались все мои предсказания, вдруг появляется альманах мастера Пэртриджа, оспаривающий исполнение предсказания о его смерти. Я превращаюсь таким образом в легендарного

генерала, который был принужден дважды убивать своих врагов, так как волшебник воскресил их после первого раза. Если мистер Пэртридж осуществил этот эксперимент на самом себе и снова жив – пусть живет; это никак меня не опровергает, ибо я ясно доказал неуязвимыми доказательствами, что он умер».

Такова свифтовская реализованная шутка, таков его жестокий «театр для себя». Мороз по коже проходит от холодной ярости этого остроумия, от неумолимой последовательности, с которой доводится до конца это литературное произведение, имеющее «героем» своим живого человека. И нельзя не спросить: а для чего, зачем это нужно было?

Пусть в этой practical joke много от английского сплина, от нравов эпохи, но еще больше в ней индивидуально свифтовского. Безжалостное презрение к невежеству, глупости, моральной нечистоплотности – это понятно; но неужели и тут появляется наивно упорное стремление «совершенствовать род человеческий», хотя бы по мелочам?

Не становится ли тут несколько комичным и сам Свифт?

Да, в обличье Бикерстафа он «победил» несчастного астролога – альманашника Пэртриджа. Но, увы, уже через год и вплоть до своей тихой смерти, последовавшей в 1715 году, он преспокойно продолжал выпускать свои альманахи, так и не поняв, чего хотел от него Бикерстаф. Но стал бессмертным и сам Бикерстаф: этим ставшим столь популярным именем воспользовались Стил и Аддисон, выпустившие в 1709 году первый номер своего знаменитого журнала «Тэтлер»; редактором журнала был объявлен мистер Исаак Бикерстаф, эсквайр, от его имени ведутся все редакционные рассуждения, в дальнейших номерах дается его автобиография и родословная, – словом, со свифтовской легкой руки создается английский Козьма Прутков.

Что же в итоге? Получил ли Свифт моральное удовлетворение от этого блестящего своего спектакля? Он показал своим современникам, что умеет – он, и никто больше, – забавляться, ненавидя, и ненавидеть, забавляясь; быть может, он показал наиболее проницательным из них, что нет разницы между первым и вторым, что это для него один и тот же процесс.

Но что показал он себе? Что означала эта интермедия на его пути – и означала ли она вообще что-нибудь?

Июль 1709 года. Лондон позади. Свифт отступает на свои «ирландские позиции», он на пути в свой Ларакор, куда возвращается вот уже четвертый раз на протяжении немногих лет.

«Что ж, это все-таки кое-что… Правда, как политический писателе я ничего не добился; как священник англиканской церкви я ничего не сумел сделать – ни для себя, ни для собратьев своих. Но зато блестяще удалась моя шутка над Джоном Пэртриджем… Я шутник, я чрезвычайный шутник, но есть ли на свете хоть один смертный, которому было бы так горько и грустно от моих шуток, как мне… Мне уже сорок два, лучшая часть жизни позади – что же дальше? Подчиниться, признать, что это бешеное мое стремление сделать мир лучше, человека – умнее, честнее, справедливее – также не больше чем затянувшаяся шутка?»

Придется Джонатану Свифту подождать еще около пяти лет, прежде чем он получит возможность ответить на этот вопрос без иллюзий и самообмана.



Глава 10
Свифт поддается соблазну



Ничто не может угасить разума:
он создан, чтоб владычествовать!

Байрон

– Это начальник? Какой ужасный вид – я не решусь заговорить с ним!

Мэтьюрин

К началу восемнадцатого века Кенсингтон еще не был в лондонской городской черте и считался хотя аристократическим, но пригородом.

Только что была проложена дорога для экипажей, соединявшая Кенсингтонский дворец с Сент-Джемским; триста фонарей освещали эту дорогу, и все же она не могла считаться вполне безопасной. Но стали уже людными кенсингтонские сады. Серебряная лента Серпентайн отделяла Хайд-парк – любимое место прогулок в экипажах лондонской знати – от

кенсингтонских садов; они плотно примыкали к Кенсингтонскому дворцу, неуклюжему зданию из красного кирпича, тяжелому, приземистому. Дворец был перестроен при Георгах; при Анне он был лишь поместительным домом. Но королева Анна предпочитала Кенсингтонский дворец Сент-Джемскому и Виндзорскому; эта неумная, лживая и истерическая дама была ханжою по призванию – неуклюжий облик дворца импонировал ее чувству приличия.

Впрочем, большой зал для приемов, примыкающий к внутренним покоям королевы, вполне приличен, даже импозантен, с его громадными двухсветными окнами, выходящими в прекрасный сад, и куполообразным, нависающим потолком, украшенным легкими и нарядными фресками работы художника Кента.

Зал полон. Королева вскоре должна здесь проследовать, направляясь на вечернюю службу в домашнюю церковь. Зал жужжит. Несколько десятков человек перешептываются, болтают, смеются, стоят у камина в позах небрежного самодовольства, мягко ступают по пестрому, светло-серому с желтыми продольными полосами, ковру, встречаются, сталкиваются, расходятся… Большинство – из числа тех нескольких сот, чьи имена и фигуры олицетворяют для мира Англию, сильную, богатую и коварную страну, заканчивающую ныне утомительную, долгую войну за испанское наследство и навязывающую ныне свою волю континенту – миру…

Зал жужжит неумолчно и приглушенно. Сегодняшний день не может считаться большим днем. Сегодня нет королевского официального приема, потому и отсутствуют в зале знатные дамы; но все же всегда полезно побывать в этом зале, дать заметить свое присутствие, небрежно кивнуть друг другу, бросить фразу, улыбку, обменяться пожатием руки, передать, дополнив и расцветив ее в меру фантазии, только что услышанную дворцовую сплетню, показать другим, да и убедить самого себя, что ты тут как дома… А если придет счастливый случай – где ж искать его, как не здесь?

Четвертый час хмурого октябрьского дня 1712 года, скоро будут зажжены гирлянды настенных канделябров.

Зал затих напряженной, тревожной тишиной. В дверях, ведущих на широкую, парадную лестницу, показался человек. Он вошел легкой и быстрой походкой. И неожиданно остановился, вгляделся в зал – поверх людей – внимательным, почти сумрачным взглядом. Он казался несколько выше своего среднего роста благодаря гордой посадке высоко поднятой головы; капризно очерченные, несколько припухлые губы были крепко

сжаты; четкий, гладко выбритый подбородок слегка двигался, как бы сдерживая затаенный внутри смех; маленькая, тонкая рука, прятавшаяся в широкой кружевной манжете, крепко сжимала четырехугольную золотую табакерку; черные туфли с блестящими пряжками ловко облегали маленькую ногу; морщинки не было на строго натянутых черных шелковых чулках; черно-матовые волны парика спускались на хорошо сшитое священническое одеяние, из-под которого виден был высокий жилет, доходивший до горла и украшенный продолговатым четырехугольником черно-белого жабо. Он остановился, несколько наклонившись вперед, – в облике и позе его достоинство, чуть подчеркнутое: резкий отпор ждет каждого, кто осмелится словом или жестом – покуситься на это достоинство.

Лорд Эберкорн, кругленький, еще моложавый, с мясистым лицом, на котором беспокойно шевелились черненькие, узенькие глазки, тяжело дыша, приблизился к вошедшему, семеня короткими ногами. Улыбнулся сладковатой улыбкой, обнажившей неожиданно большие, черноватые, подгнившие зубы, бережно коснулся маленькой руки в кружевной манжете.

– Почтенный доктор…

– Я вас слушаю, милорд…

Голос Джонатана Свифта был четок, звучен и как-то намеренно, преувеличенно ясен, голос, не оставлявший сомнений и не разрешавший иллюзий.

– Я вас слушаю, милорд, – повторил Свифт, когда, отойдя в сторону, они уселись на короткой, низкой софе, стоявшей у стены. Мерное жужжание зала возобновилось.

Лорд Эберкорн замялся, ему хотелось, чтобы Свифт сам коснулся интересующей его темы: неужели же этот наглый священник не понимает, что неудобно ему, лорду Эберкорну, опять оказаться в роли просителя?

– Вы, конечно, знаете, почтенный доктор, что лорд Селкирк выставил странные претензии, к которым я не могу отнестись иначе как с удивлением.

– Говоря проще, милорд, вы боитесь, что лорд Селкирк перебежал вам дорогу?

– Несколько рискованное выражение, доктор Свифт, но я понимаю, что ваше великолепное остроумие…

– Речь не идет о моем великолепном остроумии, лорд Эберкорн, – голос Свифта стал еще суше и безнадежнее, – я излагаю дело, как оно есть: Селкирк считает, что он имеет больше прав на этот титул!

В узеньких глазках лорда промелькнула злобная искорка.

– Из английских дворян только я один могу претендовать на титул герцога Шэтельро. Его величество, король Людовик, оказал мне милость, высказавшись именно в этом смысле. При сен-жерменском дворе только ждут соответственных официальных представлений со стороны лорда-казначея…

– Вы так осведомлены о том, что происходит при сен-жерменском дворе? Но ведь мир еще не заключен… – Глаза Свифта, в упор направленные на собеседника, холодно улыбались.

– Это не так важно, – пробормотал Эберкорн, – вы сами признали справедливость моих притязаний, и вдруг этот Селкирк! Конечно, Селкирк родственник герцога Гамильтона, а всем известно, что вы друг герцога…

Но Свифт, как бы дружески, прикоснулся рукой к его колену – и Эберкорн замолчал, прикусив губы. Свифт понизил голос, слова его падали медленно и тяжело, каблук его туфли все глубже входил при каждом новом слове в мягкий ковер.

– Вы, конечно, не намерены сказать, милорд, что мои мнения по какому-либо вопросу меняются в зависимости от дружеских отношений с каким-то знатным лицом? И притом вам надлежит знать, что я выбираю моих друзей, а не они меня. Я действительно был настолько любезен, чтоб изложить ваши претензии лорду-казначею, указав, что считаю их убедительными. Лорд Селкирк также выставил свои претензии на титул герцога Шэтельро. Дело лорда-казначея решить, чьи претензии основательнее, моя же роль в этом деле кончена. Если вам нечего добавить, милорд, простите – я очень занят…

И, встав, не ожидая ответа, он отправился в глубь зала. Эберкорн застыл с полуоткрытым ртом.

Свифт быстро подошел к высокому священнику в потертой одежде, стоявшему поодаль, в одиночестве. Тот встрепенулся, в водянистых серо-зеленых его глазах промелькнул испуганный вопрос. Свифт смотрел на него очень серьезно:

– Я занялся вашим делом, викарий Торолд. Пост главного священника в нашей посольской церкви в Роттердаме вам обеспечен. Это важный пост, с дипломатическим значением, хотя оплачивается невысоко – всего двести фунтов. Пожалуйста, без благодарностей, и вам нечего больше делать в этом вавилонском вертепе, отправляйтесь домой, вы на днях получите ваше назначение…

Торолд, то красневший, то бледневший, быстро, словно Свифт подгонял его, пошел к выходу. У самой двери он столкнулся с маленьким,

тоненьким человеком, который почти вбежал в зал, неся в далеко отставленной руке громадный желтый, туго набитый портфель. Свифт остановил его, когда он был уже посреди зала.

– К королеве с бумагами, мистер Гвинн? Идите, идите, только не забудьте потом подойти ко мне – мне нужно вам сообщить кое-что от лорда-казначея…

Человек поспешно заулыбался, кивнул головой и понесся дальше.

– Вы слышали, – шепнул соседу грузный и угрюмый герцог Ноттингем, – оказывается, Гвинн докладчик не только королевы, но и этого безбожного священника!

Сосед усмехнулся:

– Если сэр Уильям ведет к нему на поклон испанского посла…

И действительно, Уильям Уайндхэм, член правительства, секретарь по военным делам, один из лидеров партии тори, член общества «Братьев», еще молодой политик, но уже щеголявший в парламенте своим эффектным красноречием, подвел к Свифту престарелого испанского гранда с изможденным, бледным лицом.

– Почтенный доктор Свифт, – произнес Уайндхэм, как бы любуясь своим выразительным, хорошо отрегулированным голосом, – мой друг маркиз хочет выразить свое удовольствие от встречи с вами…

Стоявшие рядом отодвинулись, не настолько, однако, чтобы не слышать дальнейших слов Уайндхэма, – было ясно, что слова эти предназначены не только для Свифта. Посол наклонил голову. Наклонением головы ответил и Свифт, лицо его было серьезно, почти сурово.

Уайндхэм продолжал, элегантно подчеркивая нужные слова:

– Мой друг желает поделиться с вами своим горячим убеждением в том, что его государь, испанский король Филипп Пятый, равно как и французский король и наша возлюбленная государыня Анна должны считать себя лично обязанными вам, уважаемый доктор, больше, чем кому-либо во всей Европе, за ту роль, что вы сыграли в почетном для всех сторон окончании этой ужасной войны!

Гул прошел по залу. Не слишком ли лестно? Но сэр Уильям достаточно опытный придворный, чтоб знать, что делает…

Испанец улыбнулся и протянул Свифту руку, вялую, бескровную. Маленькая, горячая рука прикоснулась к бескровной, усталой руке. Свифт думает: «Согласно правилам игры, я должен ответить ему: „Ваша светлость, я только выполнил свой долг христианина, смиренного служителя господа“, – придется обойтись ему без ответа…»

Испанец отошел. Свифт взял Уайндхэма под руку, направляясь к софе у стены.

– Послушайте, Уайндхэм, это не может продолжаться дальше!

Брови его сошлись, лоб нахмурен, но в глазах мелькали блики сдерживаемого смеха.

– Я не совсем понимаю вас, почтенный доктор?

– Вот как? Прекрасно поймете, когда вам придется явиться на ближайший обед «Братьев», – ну конечно, завтра четверг, завтра – в новое место: таверна «Звезда и Перчатка», в Бэдж Роу… Я уже договорился с хозяином.

– Но как на это посмотрят остальные?

– Им придется примириться! Послушайте, этот разбойник с Сент-Джеймс-стрит взял с нас в прошлый раз двадцать один фунт восемь шиллингов шесть пенсов за скромный обед на одиннадцать человек без вина. Черт возьми! Я не в состоянии тратить такие деньги на мои развлечения, я не благородный лорд и не денежный мешок из Сити, я только бедный ларакорский священник! Это совершенно серьезно, Уайндхэм…

– Но я не возражаю, любезный доктор, и, пожалуй, остальным «Братьям» действительно придется примириться… в конце концов прелесть наших еженедельных обедов не зависит от того, на каких блюдах подаются яства.

И все же он недоумевал, сэр Уильям Уайндхэм, молодой карьерист, полагавший, что он прекрасно знаком с человеческой природой и что эта природа мало чего стоит; все же он недоумевал: «Конечно… все близко стоящие знают, что этот Свифт на самом деле то, что называется „честный человек“, но не до такой же степени! Доводить честность до такого абсурда, чтоб нуждаться в деньгах на элементарные расходы, и при его положении?»

Сэр Уильям Уайндхэм редко удивлялся и не любил удивляться. Пришлось бы ему все же удивиться, прочти он в некоем документе, предназначавшемся Свифтом отнюдь не для потомства, такие строки, на днях только им написанные:

«Я живу в Кенсингтоне уже около двух недель, отчасти из-за воздуха и режима, отчасти для того, чтобы быть ближе к двору. Обычно я езжу в город в карете и возвращаюсь пешком. В субботу я обедал у герцогини Ормонд, в ее загородном доме, и думал вернуться по Темзе. По берегу я дошел до Кью – лодки не было, дошел до Мортлэйка – опять лодки нет. Наконец подошел маленький ялик, переполненный достаточно грязной

компанией. В нем я доехал до Хаммерсмита, оттуда прошел две мили пешком и лишь к одиннадцати часам попал домой… Я даже люблю все эти тривиальные пустяки, когда они в прошлом, но я их также ненавижу, ибо происходят они потому, что не располагаешь тысячью фунтов в год…»

– Смотрите, он опять что-то выдумал, – злобно шепнул герцог Ноттингэм Эберкорну.

Свифт стоял у камина, в глубине зала, поставив ногу на решетку. Вокруг него, сохраняя некоторое расстояние, сгруппировалась значительная часть присутствовавших. Голос его звучал повелительно, с легкой насмешкой:

– Я хочу, джентльмены, чтоб ваша щедрость обогатила английскую литературу. Вы не сомневаетесь, конечно, что мой молодой друг мистер Поп – лучший поэт Англии. Он начал ныне свой благородный труд – перевод песен Гомера. Но было бы несправедливо, если б мой друг передал свой труд печатнику, не имея в своем распоряжении хотя бы скромной суммы в тысячу гиней. Вам предлагается сейчас, джентльмены, быть первыми в числе участников подписки: заметьте, это большая честь для вас, милорды, – в любой кофейне Сити эта ничтожная сумма была бы собрана в полчаса. Но я согласен предоставить первую возможность представителям нашей аристократии. Я жду, джентльмены…

Пауза была очень непродолжительной. Лорд Эберкорн быстро подошел к Свифту:

– Прошу возглавить моим именем подписной лист, почтенный доктор, на сумму хотя бы в полтораста гиней…

Свифт ответно улыбнулся; последовавшие его слова были осторожны, даже вкрадчивы:

– Вы совершенно убеждены, дорогой лорд, что только забота о процветании английской литературы побудила вас сделать ваше любезное предложение?

– Я отказываюсь понимать вас, доктор Свифт!

– Ваша воля, лорд Эберкорн!

Реплики последовали почти одновременно.

– Впрочем, благородный лорд, я согласен оставить за вами шанс изменить ваше побуждение. Вы возглавляете лист, лорд Эберкорн. Кажется, вы сказали – двести гиней?

Эберкорн отошел, растерянно мигая. Глупо было ожидать, что бешеный священник будет вести себя, как полагается благовоспитанному человеку… Какое дело Эберкорну до каких-то стишков: каждый понимает, что, ожидая от Свифта услуги, он готов вперед заплатить за нее, – чего же

естественнее? Но бешеному священнику доставляет непонятное удовольствие издеваться над самыми нормальными человеческими чувствами и поступками! Околдовал он, что ли Роберта Харли и Сент-Джона? Подумать только – одно слово этого Свифта Харли или Сент-Джону – и что останется от надежд Эберкорна на герцогский титул? Выбросить двести гиней и не знать даже, увеличило ли это его шансы…

Список имен в записной книжке Свифта меж тем увеличился. Подписались и лорд Эрран, мечтавший проникнуть в общество «Братьев», и молодой Дэвенант, – отправляясь на днях в Голландию с дипломатическим поручением, он нуждался в некоторых советах Свифта, и лорд Риверс – он не любил стихов, но любил Свифта, и Джордж Эши, епископ, не любивший ни стихов, ни Свифта, и сам герцог Ормонд, – до полной тысячи осталось немного.

Свифт вынул часы и воскликнул удивленно:

– Как? Пятый час, а сэр Роберт еще не вышел?

– Ваши часы спешат, мистер Свифт, теперь без четверти четыре, – сказал юный Дэвенант.

Свифт рассмеялся звонко, почти молодо:

– Ну да, льстецы всегда торопятся, они и подарили мне часы, которые всегда спешат…

Гул пронесся по залу. Из дверей, ведущих в покои королевы, вышел сэр Роберт Харли, ныне граф Оксфордский, лорд-канцлер, то есть первый министр, пятидесятилетний, рыхлый и вялый, с расслабленной походкой человека, которому некуда спешить, ибо он устал и ему все равно… Его одутловатое, красными пятнами покрытое лицо алкоголика – неожиданными казались на этом лице полузакрытые, умные и горькие глаза его – искривилось нерешительной гримасой, изображавшей улыбку: он увидел Свифта.

Пройдя через зал и обмолвившись несколькими медлительно-вялыми репликами с обступившими его придворными, он кивнул Свифту. Об руку они спустились с парадной лестницы.

– Я чертовски устал, Джонатан, – слова эти были сказаны высоким, почти пискливым и усталым голосом, – и быть в одной упряжке с таким бурным конем, как Генри Сент-Джон… я не знаю, куда наша пара может привезти государственную колесницу…

– Но я знаю, что ваша пара прекрасно перевернет колесницу, если рысаки будут мчаться в разные стороны!

– Вы все в той же роли зловещей Кассандры или заботливого опекуна, – слабо улыбнулся собеседник Свифта.

– Скажите лучше – ворчливой старой няньки, сэр Роберт! Но это не моя вина. И я, право, не знаю, зачем мне понадобилось это надоедливое занятие! – Свифт говорил сердито и тихо, словно сам с собой.

– Как? А честолюбие, милый Джонатан? Разве не дошли до вас слухи, что правит Англией не ее королевское величество, и не парламент, и даже не я с Сент-Джоном, а некто Свифт, ирландский священник…

– Мое честолюбие, сэр Роберт! – Тут он остановился; конец фразы: «что вы можете знать о нем» – остался непроизнесенным. Вместо этого он добавил: – Следует ли упоминать о честолюбии человеку, который вместо того, чтоб сказать: Сент-Джон со мной, говорит: я с Сент-Джоном…

– Я и не заметил, что так сказал, – искренне удивился Роберт Харли. – Что же поделаешь: привычка, не больше. Мое честолюбие, увы, устало…

– Тем опаснее становится ваша привычка, – проронил Свифт.

И опять неопределенная гримаса вместо улыбки искривила губы Роберта Харли. Он прекрасно понимал, что еще больше, чем молодое и агрессивное честолюбие, способно наносить кровоточащие раны честолюбие усталое, живущее лишь по инерции; но только наносить их, никогда не залечивая. Однако: неужели и это понимает Свифт? Неужели все на свете понимает этот странный человек? И действительно ли он сам в самом деле не честолюбив?

Они уже стояли перед каретой.

– Пообедаете со мной, дорогой доктор?

– Благодарю, сэр Роберт, но я уже пообещал пообедать в Сити с моим издателем Бен-Туком.

– Тогда разрешите вас довезти – вы вряд ли достанете карету…

– Если б и мог достать, попросил бы вас довезти меня: вы знаете, я не в состоянии тратить фунт в день на мои разъезды по государственным делам…

Опять эта вызывающая откровенность! Роберт Харли органически не выносил прямых, решительных формулировок и никогда не пытался додумать до конца: чем же вызвана эта откровенность, в чем состоит честолюбие Свифта и почему он – усталый, равнодушный и вялоциничный политик – так привязался к этому странному человеку, что ему даже неловко моментами выдерживать пристальный взгляд его суровых голубых глаз…

Карета тронулась.

Анна уже проследовала в церковь. Зал опустел. Последними вышли герцог Ноттингэм и лорд Эберкорн; они никак не могли расстаться с темой, именуемой – доктор Свифт.

Герцог, грузный, еле передвигавшийся на своих опухших, подагрических ногах, с лиловыми мешками под мутными, старческими, но все еще злобными глазами, кашляя и отплевываясь, выбрасывал ненавидящие слова:

– Я вам говорю, Эберкорн: это духовное лицо – величайший безбожник во всем королевстве, во всем христианском мире; он околдовал этого пьяницу и труса Харли, он справляет дьявольский шабаш с этим распутником Сент-Джоном, он издевается над всеми нами, аристократами крови…

Эберкорн согласно кивал головой. Он жалел о своих двухстах гинеях, но не мог не подумать: недаром так бесится развалина Ноттингэм – ведь весь Лондон повторяет свирепо сатирические стихи по его адресу, написанные Свифтом…

Свифт справляет пир! Праздник жизни, мощное и великолепное цветение ее… Весело пировать; но не растет ли готовящийся за дверью счет, счет, что будет предъявлен великолепной иллюзии от имени суровой реальности…

К концу 1709 года война Англии, Голландии и Австрии против Франции – она вошла в учебники истории под названием «война за испанское наследство», – длившаяся уже восемь лет и протекавшая благоприятно для союзников, застопорилась, завязла. Бленгейм, Рамильи, Уденарде! Три страшных удара было нанесено французским армиям, побледнел, подернулся туманом ореол французского оружия – и вся Европа с удивлением и восторгом повторяла имя трехкратного победителя, верховного главнокомандующего всеми союзными армиями, английского полководца Джона Черчилля, герцога Мальборо; французский национальный гений своеобразно отомстил победителю, превратив его в Мальбрука из знаменитой песенки, оставшейся в веках.

А затем последовало, уже на французской территории, кровавое сражение при Мальплаке. Около тридцати тысяч с обеих сторон осталось на кровавом поле – французская армия не считала себя разбитой, марш английской армии был приостановлен. Но кровавое сражение оказалось просто ненужным. Еще до этой битвы дипломатия Людовика XIV нащупывала почву для соглашения, идя полностью навстречу требованиям и интересам Англии.

В начале века денежные люди из Сити, промышленники, купцы и банкиры и в первую очередь производители и торговцы знаменитой английской шерстью – основой английской экономической мощи – поняли,

что Франция ведет глубоко заложенный подкоп под Англию, ощутили зловещую французскую угрозу. Угроза возникла в тот момент, когда внук Людовика Филипп Бурбон занял в результате сложных подземных интриг освободившийся испанский трон. «Нет больше Пиренеев!» – это хвастливое восклицание Людовика быстро перелетело Ла-Манш и посеяло панику в переулках Сити… «Нет больше Пиренеев» – это означало установление фактической власти Франции на Пиренейском полуострове и вытеснение английских товаров – прежде всего шерсти – с заокеанских рынков. «Франция, будучи госпожой Испании, станет распоряжаться торговлей и сокровищами Вест-Индии…» – говорилось в одном из современных памфлетов. Но ведь это значит, что символический «мешок с шерстью», на котором восседал и по сей день восседает в палате лордов английский лорд-канцлер, превратится в мешок с грязным тряпьем!

Но мало того: по смерти Вильгельма Людовик XIV, продолжая политику всей своей жизни, отказался признать Анну законной английской королевой, заявив, что всеми силами он будет поддерживать домогательства на английский престол сына изгнанного Якова II Стюарта, католика, находившегося при его дворе, известного под кличкой «претендент». Английский парламент в ответ объявил «претендента» вне закона, закрепив права наследования после Анны за протестантской антифранцузской ганноверской династией. В результате этих событий и началась в 1702 году «война за испанское наследство»; с большим основанием ее можно было бы назвать войной за «вигское наследство»; партия вигов защищала этой войной полученные ею в наследство от Стюартов блага.

Политико-экономические цели войны были уже осуществлены. Уже нанесен сокрушительный удар военной гегемонии Франции на материке; уже не находится под угрозой независимость Голландии; уже заявляет Людовик, что он торжественно признает Анну законной королевой и отказывается от дальнейшей поддержки «претендента». Соглашается Франция и на срытие укреплений Дюнкирхена – пистолета, направленного в сердце Англии; а имевшаяся в виду уступка Англии Майорки и Гибралтарской крепости знаменует начало новой эры европейской политики, отмеченной преобладанием Англии в Средиземном море.

И если отвоевано так много, теряет свое значение вопрос, будет ли находиться на испанском троне Филипп Бурбон или Карл Габсбургский.

И однако война продолжалась. В чьих же, однако, интересах? Это нетрудно было разглядеть. В Европе настаивали на продолжении войны узкодинастические интересы Габсбургов. А в Англии? В эти годы впервые

в истории был применен Англией капиталистический метод финансирования войны могучим финансовым учреждением – Английским банком – при помощи биржи. За несколько лет войны государственный долг Англии возрос с четырнадцати до пятидесяти миллионов фунтов; в руках небольшой группы «денежных людей» из Сити сконцентрировались облигации долга, приносившие солидный обеспеченный доход. Но кроме того, бешено и бесстыдно наживалась кучка спекулянтов и банкиров на поставках на войну. А во главе этой кучки стоял сам Джон Черчилль, герцог Мальборо.

Был он человеком очень талантливым и очень откровенным; известен его афоризм: «Я полагаю, что гораздо приятнее возбуждать зависть, чем жалость!» К концу войны стал он богатейшим человеком в Европе – он наживался на каждой солдатской подметке, каждом куске свинины, бросавшемся в походный котел, каждой выпущенной во врага пуле. Вместе с португальским банкиром Соломоном Медина сумел благородный герцог осуществить грандиозную систему «налогового обложения» войны: с каждого фунта стерлингов, затраченного на военные нужды, определенный процент шел в пользу герцога и банкира. И помимо всего «благодарная нация» наградила его за фландрские победы великолепным лондонским дворцом, именуемым Бленгейм Хаус.

Так мог ли герцог Мальборо согласиться на заключение мира?

Популярность герцога была очень велика, влияние «денежных людей» из партии вигов было очень сильно. И все же к середине 1710 года, после того как уже в течение многих месяцев война беспомощно топталась на месте, в общественном мнении Англии произошел переворот. Невыносимы стали все растущие налоги. Повысился налог на соль с трех до десяти пенсов за галлон; были тяжело обложены чай, табак, перец, пиво, мыло, свечи, бумага, чернила, ситцы, шелк; пытался парламент ввести налог с окон – это было возвращением к столь ненавистному «подымному» налогу, уже издавна объявленному «признаком рабства». Сильно повысился и поземельный налог; один крупный лендлорд, уплативший четыре тысячи фунтов годового налога, воскликнул в пафосе отчаяния: «О боже, почему я христианин, а не магометанин, почему живу я в Англии, а не в Турции!»

Страна роптала. Правительство вигов стало шататься.

Неудачный судебный процесс, проведенный министрами-вигами, против некоего священника Сэчверелла, пошлого демагога и пьянчужки, выступившего с истерической речью в защиту англиканской церкви, на права которой покушаются якобы вигские министры, подлил масла в огонь. Три дня процесса Лондон бушевал; в защиту Сэчверелла,

выступавшего в роли мученика за веру, поднялись все неспокойные элементы громадного, буйного города; народные низы грозным потоком затопили улицы города; жизнь судей Сэчверелла была под угрозой.

Процесс Сэчверелла кончился ничем, но престижу вигского министерства, да и всей партии вигов, был нанесен чувствительный удар. Эта партия располагала устойчивым большинством и в палате общин и в палате лордов, ее представители занимали все основные посты в администрации и управлении государством. Но королева Анна учла политический момент и сочла возможным осуществить, воспользовавшись процессом Сэчверелла и сдвигами в общественном мнении против вигов, небольшой государственный переворот. Она распустила парламент и произвела перемены в правительстве, предоставив главные правительственные посты лидерам торийской партии Роберту Харли и Генри Сент-Джону.

Анна, фигура малозначительная, имела свои соображения, решаясь на эту перемену. Эта коронованная дама обладала всеми большими недостатками маленьких людей. Слабовольная, трусливая, а вдобавок и ханжа, она уравновешивала все эти мещанские пороки одной королевской добродетелью: она была тупо и злобно упряма, и главным образом в своей ненависти к партии вигов. Она ненавидела ее за многое: и за то, что исторические предшественники этой партии обезглавили ее деда; и за то, что отцы нынешних вигов прогнали с трона ее отца; что нынешние виги были в ее представлении «республиканцами» и грозили в случае чего прогнать с трона и ее; и за то, что они отстранили от престолонаследия ее брата «претендента», заменив его Георгом Ганноверским – «германским медведем»; и за то, что, как ее убедили, они покушались на права англиканской церкви, главой которой она была по ее положению; но больше всего за то, что ее долголетняя подруга и любимая прежде фаворитка Сарра Дженнингс, в супружестве герцогиня Мальборо, женщина недюжинного ума, чертовской энергии и жадных страстей, стала теперь, «осуществляя политику вигов», как казалось Анне, а по существу попросту отстаивая интересы своего мужа, подлинной властью за кулисами, тираном, а то и тюремщиком Анны.

Долгие годы выносила Анна необузданный характер Сарры, но наконец решила взбунтоваться. А науськивала ее в этом предприятии некая красноносая и толстая дама, Эбигейл Мэшем, урожденная Хилл, придворная камеристка, дальняя родственница Сарры, ею же устроенная на это тепленькое местечко.

Красноносая дама была сравнительно неглупа и возымела желание

стать новой фавориткой; она прижилась ко двору и заложила глубокую мину против Сарры: «Теперь королева не Анна, а Сарра», – нашептывала Эбигейл в королевские уши, и это было не лишено основания. «Нужно освободиться от Сарры и кстати от министерства вигов».

Сарра, проведав об интриге, заложила контрмины; последовала ожесточенная подземная борьба; крови пролито не было, но грязи было не меньше, чем на поле Мальплаке. В итоге возник хитроумный заговор камеристки, королевы и политика (Роберт Харли, он, кстати, приходился родственником Эбигейл) против могучей Сарры и вигского министерства.

И в результате заговора Роберт Харли и Генри Сент-Джон и пришли к власти: первый стал лордом-канцлером, второй – статс-секретарем по иностранным делам. Это произошло в августе 1710 года.

А в сентябре в Лондон прибыл из Дублина Джонатан Свифт.

Положение нового правительства было достаточно затруднительным. Правда, последовавшие новые выборы в палату общин дали ториям некоторое большинство, но в палате лордов заседали в преобладающем количестве все те же виги. Представители этой партии оставались и в составе самого министерства, на второстепенных правительственных и административных постах, – освободиться от них на первых порах было не так-то просто. В руках вигов находился и Английский банк – эта могущественная финансовая организация, распоряжавшаяся государственным кредитом; вигам принадлежала и знаменитая Ост-Индская компания. И наконец, оставались за вигами и командные посты в армии, во главе с самим Мальборо; вигами были и большинство высших чинов англиканской церкви – епископы и архиепископы. Харли и Сент-Джон находились, по существу, среди врагов – оттесненных, притаившихся, но далеко еще не разбитых.

Положение не улучшалось тем, что у торийских лидеров не было сколько-нибудь продуманной, стройной программы. Крайнее крыло партии – «сельские джентльмены» – члены палаты общин, объединившиеся в группировке «Октябрьского клуба», мечтали втихомолку о реставрации Стюартов, о передаче трона «претенденту», отлично понимая, что при ганноверской династии, тесно связанной с денежной аристократией, с Ост-Индской компанией и Английским банком, они останутся все в том же положении обиженных и обделенных. Но об этих мечтах за кружкой крепкого октябрьского пива нельзя было и заикнуться вслух – такие мечты встретили бы отчаянное сопротивление самых широких народных масс. И каково бы ни было подлинное отношение Харли и Сент-Джона к идее реставрации Стюартов, они понимали, что заговорить об этом открыто –

значило бы погубить себя.

Но и лозунг «защита церкви», под которым прошли последние выборы в палату общин, годился лишь для элементарной демагогии. На права англиканской церкви как института виги отнюдь не покушались, об улучшении же положения низовых органов церкви – сельских священников – торийское правительство, никогда и не думало. Отражая, далее, недовольство помещичьих и мелкобуржуазных городских кругов против все растущего засилия финансовой аристократии, новое правительство, в лице, по крайней мере, Роберта Харли, не решалось повести серьезную борьбу против людей из Сити.

Новое правительство тем самым могло выдвигать лишь программу «от противного» – и во главу угла стал вопрос о ликвидации войны.

А для ликвидации войны необходимо было дискредитировать партию вигов, и главным образом внешнюю политику этой партии.

Широкая антивигская агитация и пропаганда, как осуществить ее – с этой важной проблемой столкнулись новые министры с первых же дней.

Печать – и в форме повременных изданий – еженедельных и ежедневных газет, и в форме памфлетов на злобу дня, бесцензурная, по существу общедоступная по цене своей, не обремененная ни авторским гонораром, ни специальными налогами, – в эти годы уже была важнейшим рычагом воздействия на общественное мнение.

Но и тут положение было не блестящим. Большинство лучших литераторов Англии было связано лично или политически с партией вигов.

Два виднейших журналиста эпохи, Аддисон и Стил, были активными политиками вигов. Правда, столь популярные их журналы «Тэтлер» и «Спектэйтор» отстранились от обсуждения политических проблем после того, как Харли и Сент-Джон возглавили правительство, но рассчитывать на них как на проводников правительственной линии, конечно, нельзя было.

Не приходится поэтому удивляться, что оба министра с большим интересом узнали о прибытии в Лондон Свифта: должны были знать эти опытные политики, что у Свифта произошла какие-то недоразумения с руководящими вигами.

Прибыл он в столицу скромным ходатаем все по тому же, злосчастному делу о снятии налогов с ирландского духовенства, и на этот раз он был не более как агентом по связи, привезя с собой письмо от ирландских епископов к двум лондонским епископам, которые и должны были добиваться у новой власти этой льготы. Адресатов Свифт в Лондоне не застал – письмо не удалось передать. Но нечто интересное для себя в

Лондоне Свифт увидел. Увидел – и удивился. Удивился – и задумался.

Было что видеть – чему удивляться – о чем задумываться.

Было видно подчеркнутое внимание руководящих вигов к Свифту. Могло удивить их настойчивое стремление подружиться со Свифтом. И стоило задуматься над тем, как принимать эти авансы.

«Все виги отчаянно старались увидеть меня, пытались уцепиться за меня, как утопающий за соломинку; все большие люди приставали ко мне с неуклюжими извинениями. Забавно видеть, как они жалостно извиняются в своем прежнем плохом обращении со мной».

Так писал Свифт в некоем «автобиографическом документе», тут же, по свежим следам событий.

Так оно и было. Сомерс, Галифакс (Монтегью), даже Томас Уортон, тот самый Уортон, действительно попытались схватиться за Свифта, но не как за соломинку: они-то знали цену перу Свифта: приобрести это перо для борьбы против торийского правительства – значило не соломинкой, а топором вооружиться.

И разве этот топор не их? Поддержка конституции 1689 года, неприемлемость реставрации Стюартов, защита прав народа против королевского абсолютизма – эти принципы отстаивал Свифт в своих памфлетах, но ведь это же принципы вигов!

Рассуждение казалось безупречным, но одной досадной детали не учли виги. Для Свифта не существовало политики вне людей, вне повседневной практики этих людей. Отделять принципы от людей он не умел и не хотел; и в области жизни и в области мысли был он не доктринером, не теоретиком, но психологом, неистовым и непримиримым психологом-обличителем. И против практики вигов, против них как людей, граждан, а следовательно, политиков обрушивал он свой яростный гнев – и раньше и теперь.

Почему же именно против них?

Потому, что они уже были у власти и показали воочию, какой практикой оборачиваются их теоретические принципы: практикой коррупции, обмана, интриг, узколобого сектантства, оппортунистической беспринципности.

Великий мистификатор, любил Свифт разум обряжать в одежды безумия, но, великий разоблачитель, хотел он с корысти срывать одежды благородства… Виги были для него психологически скомпрометированы.

Был и еще момент, немаловажный.

Война! Еще в «Сказке бочки» гуманистический антимилитаризм Свифта побудил его поставить вопрос: в чьих же интересах ведутся войны?

В памфлетах своих все время возвращался он к этой теме и показал в «Раздорах», как ведут войны к порабощению народов. Мог ли он не видеть сейчас бессмыслицу затянувшейся войны; мог ли не заметить, с какой цинической откровенностью стоят за ее продолжение те, кто на ней наживается, – «денежные люди» из Сити; они-то и составляют опору партии вигов, их-то и ненавидел Свифт всю жизнь.

Этой детали опять-таки не учли виги.

Великолепный вельможа, меценат, любитель литературы, покровитель Аддисона, Конгрива, Чарльз Монтегью лорд Галифакс приглашает Свифта на званый обед, едва ли не в честь Свифта Устроенный, в своем загородном доме в Хэмптон-Корте, летней королевской резиденции.

Полушутя, полусерьезно провозглашает красноречивый лорд тост за возрождение и победу вигов.

Поднимет ли свой бокал Свифт?

Нет, рука не протянулась к бокалу.

– Вы не поддерживаете этот тост, доктор Свифт?

– Я поддержал бы его, если бы вы сказали: за покаяние и исправление вигов! – был ответ, любезный и многозначительный.

Общество смущено, но не смущен Свифт и добавляет с еще большей любезностью:

– Вы ведь знаете, лорд Галифакс, что вы единственный виг в Англии, которого я уважаю!

Благородному лорду и его друзьям предоставлялось сделать из этого все выводы.

А сам Свифт, какие выводы делает он?

Приехав в Лондон по специальному своему делу, он мог надеяться, что ныне, при изменившейся ситуации, добьется успеха. Мог также надеяться, что исполнится его мечта: получит он хороший приход в Англии и покинет ларакорскую дыру. Но не больше того.

«Я уже устал от этого города и хотел бы не вмешиваться в эти дела», – говорится в «документе» в первые его лондонские дни.

И в те же дни сообщает «документ», что вдруг видит себя Свифт чуть ли не центральной фигурой политического Лондона; в скромной его квартирке из двух комнат на Бэри-стрит за восемь шиллингов в неделю – считает он, что это дорого, – толпятся ежедневно люди, литераторы, политики, придворные; чуть ли не ежедневно получает он приглашения на обед от самых видных людей столицы – лордов, епископов, аристократических дам, людей из Сити…

Как это случилось?

Через десяток с лишним лет, описывая, как внезапно стал Гулливер модным человеком в столице лилипутов, Свифт поймет, в чем было дело. А сейчас – сейчас он усиленно размышляет.

Итак, виги почти заискивают в нем, но из этого ничего не выйдет. А что делают тори?

«Тори откровенно заявляют мне, что я могу стать богатым человеком, если я захочу. Я их не понимаю, – или, вернее, я их понимаю» – так говорит «документ».

«Вы были единственным человеком в Европе, которого мы боялись», – скажет ему через несколько месяцев Роберт Харли.

На четвертое октября было назначено первое свидание. А утром того же дня приносит лакей Галифакса на Бэри-стрит любезное приглашение пожаловать сегодня в Хэмптон-Корт: там соберутся виднейшие виги, предстоит важная беседа…

Два виднейших политика Англии назначают ему одновременно свидание…

Чем определится его выбор?

Какой же, однако, может быть здесь выбор! С вигами ему делать нечего – пока они не покаялись и не исправились. А к Харли его призывает дело, по которому он приехал в Лондон, – и «выйдет ли это дело или нет, я скоро возвращусь», – говорит «документ».

Свидание носит предварительный характер: Харли просит Свифта прийти к нему снова седьмого числа – пообедать и конкретно поговорить об интересующем его деле.

Роберт Харли, по существу дилетант, лишенный мировоззрения и программы, понимавший под политикой умение использовать в своих интересах игру человеческих страстей, медлитель и лентяй, тихий и упорный алкоголик, знавший лишь одну настоящую страсть – коллекционирование редких манускриптов, был недюжинным психологом, психологом-комбинатором, ловцом человеческих душ. При первой же встрече хотел он очаровать этого странного священника из ирландской глуши, о котором столько слыхал он со всех сторон, произведения которого читал с таким удивлением: звучат в них страстная ненависть, непримиримый гнев – этих качеств Харли органически не понимает, может быть и побаивается…

«Он принял меня с величайшим уважением и любезностью…», долго пожимал своей пухлой, безвольной рукой горячую, сухую руку. «Посмотрим, посмотрим: я вижу – передо мной большой человек, но, кажется, я не ошибаюсь, – и наивный человек!»

А седьмого октября, в субботу, состоялось второе свидание – важное.

Харли выходит встретить Свифта в вестибюль, просит пройти в гостиную – там его сын, зять, несколько друзей. Непринужденная беседа, хорошее вино, шутки, остроты – весь аристократический Лондон помешан на остроумии в эпоху Анны – раздолье Свифту; и хотя остроумие его не гостиного свойства – оно слишком бьет, жалит, – слушатели переглядываются в восторге, а хозяин словно пробует острие кинжала, который он намерен приобрести.

А затем следует двухчасовая беседа с Харли с глазу на глаз. Свифт излагает свое дело – весь вопрос решается в четверть часа: Харли немедленно доложит королеве о ходатайстве ирландского духовенства, – нет сомнения, оно будет уважено. Свифт доволен: очевидно, этот министр по-настоящему умный и справедливый человек…

Беседа переходит на политические темы. Что думает мистер Свифт о политической ситуации? Не считает ли мистер Свифт, – впрочем, зачем такая официальность? – не разрешит ли мистер Свифт называть его по-дружески – Джонатан?

«…Оказывается, он очень хорошо знал, как мое имя».

И, подводя итог этой встрече, говорит «документ»:

«Он сказал все, что я только мог пожелать… было так много комплиментов и выражения уважения ко мне, что я почти начал верить, как сообщали мне друзья, он сделает все, что угодно, чтоб завоевать меня. Он пожелал пообедать со мной – какая забавная ошибка – я хочу сказать, он пожелал, чтоб я пообедал с ним во вторник, и после того, как я пробыл с ним четыре часа, он подвез меня в наемной карете к сент-джемской кофейне… Все это странно и смешно, если подумать о нем и обо мне…»

Это написано Свифтом в одиннадцать часов вечера, седьмого, через три часа после свидания с Харли.

Да, действительно смешно и странно, что Свифт только теперь начинает догадываться, что его хотят завоевать любой ценой, что он считает честью для себя, что обедает с Харли! Прав Харли – Свифт действительно наивный человек. И не видит себя Свифт хозяйскими глазами Харли, умного человека, сразу смекнувшего, как пойдет его мельница, если пустить на нее неистощимый поток ясной и могучей свифтовской мысли!

Снова свидание и еще свидание. Не на официальных приемах, а на дому, вдвоем или в присутствии ближайших друзей. Конкретное дело Свифта разрешается быстро и успешно, медлительный Харли на этот раз не медлил, уже через десять дней имеется принципиальное согласие

королевы – при вигах Свифт не мог этого добиться ряд лет. Правда, остаются еще всякие формальности, и притом у Свифта возникают новые дела: его уже забрасывают и в Лондоне и из Дублина письмами и просьбами о протекции, помощи, но в общем – «через пару месяцев мне здесь нечего будет делать».

Характерно: Свифт с большой охотой оказывает протекцию и помощь в первую очередь своим литературным друзьям вигам. Тщеславное удовлетворение ролью «благодетеля»? Несомненно. Но Свифту ли не понимать, что тут уже начинается измена принципам – не свифтовские ли стрелы яростной иронии разили систему протекции? От нее один лишь шаг до коррупции.

Происходят дальнейшие свидания с Харли. И происходит знакомство Свифта с Генри Сент-Джоном, впоследствии виконтом Болинброком.

Лицо – маска: надменная, бесстрастная; холодные, бледные до прозрачности, словно эмалированные, глаза; бескровная полоска губ; медленные, точные движения.

Не человек – манекен.

Нет, не манекен, а человек; человек всех страстей – обильных, неистовых, бушующих, как сама Англия. Веселый фанатик страстей, раздирающих его.

Почему нельзя быть одновременно грузчиком, ударом кулака убивающим, повздорив из-за девки, своего соперника, и государственным деятелем, вонзающим стилет убийственного красноречия во врага?

Тонким мыслителем, бесстрастно решающим отвлеченную проблему, и буйным картежником, ставящим самую жизнь на карту?

Капитаном судна, одолевающим бешенство бури, и могучим оратором, поднимающим бурю восторга силой своего слова?

Жить несколькими жизнями сразу, как умели жить легендарные люди итальянского Возрождения или конкистадоры эпохи Елизаветы!

Увы, Генри Сент-Джон родился слишком поздно.

Но все то, что можно успеть сделать в этой узкой жизни, он будет пытаться делать, подгоняемый всеми своими страстями и главной, воинствующей, пожирающей его, страстью честолюбия.

Честолюбие сделало его выдающимся оратором, память о котором до сих пор жива в истории английского политического красноречия, и оно же побуждало его претендовать на титул самого распутного в Лондоне человека; честолюбие толкало его на самые опасные политические авантюры, в которых рисковал он головой, и оно же ликовало, когда «весь Лондон» повторял, что Генри Сент-Джон первый осмелился появиться на

королевских приемах без парика. Честолюбие управляло его действиями в большом и малом, сделало его, органического атеиста, лидером партии тори, обвинявшей в безбожии вигов, привело его к потере чувства политической реальности и к катастрофе; и новый огненный взлет этой страсти превратил его, политика-банкрота, в талантливого политического мыслителя, учителя Вольтера, гордившегося своей дружбой с этим английским Алкивиадом.

И пусть он не резал хвосты бродячим лондонским псам, но даже в стремлении к славе, к власти не находила полного выхода страстность его натуры; он был героем не только лондонских гостиных, но лондонских кабаков и притонов; он мог к черту послать важное политическое совещание, увлекшись опасными похождениями в лондонских доках; и веру в свою личность, свою «звезду» доводил до того, что не удостаивал замечать окружавшую его политическую реальность, считая ее глиной в своих руках. Более всего опасна таким людям их собственная активность: залог их жизненного успеха – в безучастном дрейфе по воле событий, но горе кораблю, на котором они дрейфуют, если сами они стоят у руля, – волны и ветер, мели и скалы возьмут они в помощь своему бешеному бегу к катастрофе.

Таков Генри Сент-Джон, английский Алкивиад, как назвал его Свифт, и был он единственным из современников Свифта, кто действительно по-настоящему импонировал скромному священнику из Ларакора, до такой степени, что через десяток с лишним лет после их первой встречи, рассказывая миру о себе, полагал Свифт, что рассказывает он о виконте Болинброке.

Вскоре после этой встречи Роберт Харли и Генри Сент-Джон сделали Свифту интересное и важное предложение.

В двух комнатах на Бэри-стрит беспорядок. Слуга Патрик, долговязый, ленивый и добродушный ирландец, привезенный Свифтом из Ларакора, считает совершенно излишним убирать комнаты в отсутствии хозяина и боится их убирать в его присутствии. На столе, на стульях валяются брошюрки и книги, на полу рассыпан табак – утром, одеваясь, Свифт обронил табакерку. Повсюду чернильные пятна, не убрана даже тарелка с остатками утренней овсяной каши – завтрак Свифта. Но Свифту некогда обрушиться на Патрика ураганом своего гнева, от которого крупные слезы катятся из честных и глуповатых его глаз; Свифт только что – а уже десять! – вернулся с позднего обеда в кофейне «Дьявол» в Темпл Баре, он обедал с Аддисоном и Гартом. Он завален работой – только вчера кончил балладу о «Лондонском дожде» для «Тэттлера»; как восхищался ею

сегодня Аддисон. Но ведь не для того приехал Свифт в Лондон, чтоб писать баллады и эссе в журналах Аддисона.

А для чего он приехал?

Вопрос нужно решить – Харли ждет ответа.

Мечта последних лет – о создании новой политической партии, народной партии, – приближается ли она к осуществлению?

Народная партия!

Как нуждается в ней Англия…

Эта партия покончит с войной – кровавым полем грязной наживы, не позволит «денежным людям» занять преобладающее положение в стране, защитит единственный здоровый элемент английской нации, сохранивший начала общественной и личной морали, – мелких землевладельцев, потомков кромвелевских йоменов, положит конец позорному заигрыванию с католиками и нонконформистами.

Но эти люди, осыпающие его ласками, нуждающиеся в его помощи, Харли и Сент-Джон, они ведь лидеры не народной партии, еще не существующей, а партии тори?

Это так, но как будто с этими людьми Свифту по пути больше, чем с кем-либо другим. Они кажутся людьми честными, заботящимися об общественном благе, и, во всяком случае, общие пункты «программы минимум» Свифт легко может с ними установить.

Да, лидеры партии тори. Но, поддерживая их, Свифт не берет на себя обязательство поддерживать политику партии тори как таковую. Он воинствует за принципы, ему дорогие, торийские ли или вигские – ему безразлично, об этом он писал еще в «Раздорах».

Свифт знает, что ториям приписывают стремление восстановить династию Стюартов – католицизм – папство. А где папство – там и рабство, тирания. С этим Свифт не примирится никогда.

Но ведь это опасность отдаленная, а сейчас наличествует другая, близкая, на пороге: опасность возврата к власти вигов с их системой бесстыдной коррупции, с их лозунгом продолжения этой гнусной войны, с их методами разврата в политике.

Следовательно, нужно разоблачить, дискредитировать прежнее вигское правительство до конца. Тут Свифт найдет общий язык с Харли и Сент-Джоном, в борьбе против опасности возвращения вигов они могут быть воедино.

Министры предлагают ему теперь почетную миссию: стать единственным редактором и автором еженедельного правительственного органа – «Экзаминер» («Исследователь»).

Вышло уже тринадцать номеров газеты; ее составляли Сент-Джон, Эттербери, Прайор – лучшие литераторы тори; но Свифту не нужны компаньоны, он будет писать один, так, как сочтет нужным. Да, он исследует, сорвет все маски, обнажит все корни, поставит вигов к позорному столбу, предаст стыду и осмеянию.

Со свечой в руке, бросающей неверный, желто-тусклый свет, идет он на кухню за своим стаканом молока, проходит через каморку, в которой спит Патрик, блаженно полуоткрыв рот. Скотина Патрик, он не подмел сегодня – сколько пыли по углам, сколько грязи кругом, – с чего он начнет свою геркулесову работу в авгиевых конюшнях, именуемых Соединенное Королевство? Метла в руке! Наконец в руке настоящая метла, и он будет мести так, что все встревоженные крысы покинут свои насиженные углы…

И тогда, в очищенной атмосфере, Свифт как следует подумает о своей народной партии…

Но крыс нужно спугнуть, а озлобленные крысы склонны кусаться. Они уже точат зубы. Свифт уже слышал намеки, перешептывания, смешки: Свифт перебежал к тори! Это ли его остановит? Он чем-нибудь обязан вигам? Виноват ли он, что они дискредитировали свои принципы? Виги думают, что он специально приехал в Лондон, чтоб с ними расквитаться. Неправда! Все знают, как он отказывался от этой поездки; правда, сейчас он в ней не раскаивается. Раскаются зато виги – в своем обхождении с ним.

И в припадке нахлынувшей бешеной ярости, полураздетый, в ночном колпаке, при тускло-желтом свете свечи вносит Свифт в «документ» мрачные слова:

«Эти неблагодарные псы раскаются в своем обхождении со мной, прежде чем я оставлю этот город».

Прочтя эти слова – какой из биографов Свифта их не читал! – так легко отнести принятое Свифтом решение за счет его жажды мести обидевшим его политикам; так просто все мечты об открывшемся пути считать камуфляжем вульгарно-корыстного стремления к карьере!

Да, соблазн стоял перед Свифтом в этот решительный момент, и он ему поддался, – соблазн реализовать свою ненависть к человеческой подлости, трусости, глупости, связать эти качества с живыми людьми, дать им точный адрес, увидеть их в реальной обстановке и на них обрушить рассчитанный, уничтожающий удар.

Этим ударом, серией непрекращающихся ударов был журнал «Экзаминер».

Тридцать три номера «Экзаминера» – с 14-го от 2 ноября 1710 года до 46-го от 14 июня 1711 года. Это не обычный журнал: скорее еженедельные

памфлеты-листовки в три-четыре страницы, выходящие по четвергам, продававшиеся мальчишками на улицах по полтора пенса. На листовках – заголовок, номер, число и внизу фамилия и адрес типографщика, самые памфлеты безымянны.

Стиль чистый и ясный, как родниковая вода; стиль – словно спокойно-гладкая пластинка стекла, через которую каждый предмет, лежащий под нею, виден в своих форме и цвете с абсолютной точностью. Язык – только скромный выполнитель велений мысли, с неуклонной правдивостью передающий мельчайшие ее изгибы, сложнейшие вариации. Воздействовать на читателя существом мысли, а не нарядом ее, сделать содержание формой, а форму – содержанием, внушить читателю, что это, только что им прочитанное, и было всегда его мыслью.

В чем же убеждал «Исследователь»?

Что говорили читателю тридцать три памфлета?

Каждый из них – стрела, направленная в определенную цель. Чаще всего эта цель – конкретный человек.

Нужно развенчать великого полководца, любимца толпы, герцога Мальборо. Вся Англия знает о бесстыдной, маниакальной жадности герцога – сюда направляется удар.

Свифт не возмущается, не негодует. С неподражаемой серьезностью протестует против обвинения, что Англия недостаточно благодарна герцогу; всем известно, говорит он, что римляне умели ценить своих полководцев, устраивая им триумф. Во сколько обходился римскому казначейству такой триумф? Лавровый венок в два пенса, статуя при жизни – сто фунтов, тысяча медных медалей с его изображением – шестьдесят два фунта один шиллинг восемь пенсов, бык, принесенный в жертву, – восемь фунтов, триумфальная арка – пятьсот фунтов, горшки для фимиама – четыре фунта десять шиллингов, прочие расходы – триста фунтов, и в общем – девятьсот сорок четыре фунта одиннадцать шиллингов.

А сколько же стоил Англии Мальборо?

И Свифт перечисляет всей Англии известные затраты, приводя точные цифры – стоимость поместья, подаренного герцогу, и сооруженного для него дворца, специальные денежные выдачи, подарки, жалованье – и все это помимо частных доходов герцога, а в общем итоге – пятьсот сорок тысяч фунтов.

«Как же можно утверждать, что Англия не благодарна своим героям?» – спрашивает памфлетист, деловито, спокойно, без тени улыбки, без слова негодования.

А в следующем номере стрела летит в старого знакомца – Уортона,

Уортон был при вигах лордом-наместником Ирландии; Свифт вспоминает о знаменитой речи Цицерона против Верреса, наместника Сицилии, прославившегося коррупцией, грабежом, развратом. Памфлетист якобы переводит цицероновскую речь, подставляя в нее все известные факты беззаконной деятельности Уортона в Ирландии.

Не только о людях речь в памфлетах, но и о принципах, о политической ситуации, о наболевших вопросах.

С замечательным диалектическим мастерством отражает памфлетист ходовые обвинения, направленные против нынешних министров, перебрасывая их в лагерь вигов; с мужественной серьезностью поднимает он тему о постоянной армии, доказывая, что в нынешней ситуации противоречит существование этого института народным интересам и служит лишь трамплином для честолюбия генералов; с наглядной ясностью вскрывает лживость утверждения вигов, будто отражают они подлинные интересы народа; с уничтожающим юмором показывает, что бы делали сейчас виги, если б вернулись к власти…

Приемы памфлетиста различны в каждом памфлете и неистощимы: стилизация античной истории в плане современности, полемика с воображаемым противником, имитация монолога вига, апокрифическое письмо в редакцию, спокойное, отвлеченное рассуждение на абстрактную тему, и последние несколько строк вдруг расшифровывают рассуждение, превращая его в страстную атаку на противника.

И при всем этом беспримерном богатстве приемов, изумительном разнообразии технических средств не забывает памфлетист основной, по существу единственной, своей темы. С могучим упорством, железной настойчивостью проводит он в тридцати трех памфлетах целеустремленную кампанию, первую кампанию в истории мировой публицистики, показывая себя в ней гениальным мастером политической полемики, полководцем, равного которому не найти, с армией аргументов неутомимых, всегда в движении, побеждающих…

Кто враг?

Вигизм как мировоззрение, виги как партия, прошлое, настоящее и будущее вигов. И до Свифта знала Англия страстную полемику партий, но такого концентрата ненависти, ожесточения, бешенства и упорства обличения, такого гения оскорбления и фантазии ярости не знала политическая полемика Англии, да и всей Европы, ни до, ни после Свифта.

Эта политическая полемика была для Свифта одновременно и в первую очередь мировоззренческой, философской, моральной полемикой, и термин – вигизм, виги – лишь условным обозначением, символом всего

зла мира. О чем бы Свифт ни писал, всегда он писал об одном и том же, и «виги» «Экзаминера» – это все те же Петр, Джек, Мартин из «Сказки бочки».

Но тут возникает некоторое новое обстоятельство – неужели не видит его Свифт? Джеку и Петру ничего и никого не противопоставляет автор «Сказки», а вигам он настойчиво противопоставляет партию тори.

Это… серьезно? Автор не чувствует здесь режущего диссонанса, нестерпимой фальши? Пусть постоянно наличествует мысленная оговорка, что тори меньшее зло, что виги большая опасность, – разве снимает она сознание – не могло его не быть у Свифта, – что как морально-этическая категория тори не более отличны от вигов, чем впоследствии будут отличаться в «Гулливере» «тупоконечники» от «остроконечников»!

Сознание это нужно затаить, слишком зоркие глаза нужно прикрыть, иначе ничего не выйдет. Приняв свое решение в октябре 1710 года, Свифт поддался соблазну «совершенствовать человечество» в качестве политического деятеля – не угодно ли за это заплатить!

Плата берется вперед, хотя бы этим искусственным, насквозь фальшивым противопоставлением «злу» вигов «добра» ториев, хотя бы этой жестокой необходимостью окунать свое перо в патоку, в сироп каждый раз, когда он касается в своих памфлетах нынешнего министерства, когда защищает он своих политических «друзей»…

Не слишком ли дорого платит Свифт за удовольствие заниматься политикой?

Этот вопрос будет Свифтом поставлен впоследствии, и будет дан на него недвусмысленный ответ, когда заставит он Гулливера заниматься «реальной политикой» в стране лилипутов, где разделяются политики на тех, кто разбивает яйцо с тупого конца, и тех, кто это предпочитает делать с острого конца…

А сейчас – справляет пир Джонатан Свифт.

Творческая его энергия не умещается в рамках трех-четырех еженедельных страничек. Он пишет памфлеты и вне «Экзаминера». Один из них посвящен все тому же лорду Уортону.

«Тот, кто ради пользы науки описывает природу змеи, волка, крокодила, лисицы, тот делает это без какой-либо личной любви или ненависти к описываемому животному. И точно так же я не питаю ни любви, ни ненависти к его светлости. Я встречаюсь с ним при дворе, иногда в его доме, иногда в моем, ибо он удостаивает меня своими визитами; и когда эти строки будут опубликованы, он в крайнем случае

скажет мне – „чертовски вы обхамили меня“, а затем спросит о погоде. Дело в том, что у почтенного лорда нет чувства стыда или чувства чести, подобно тому как у некоторых людей нет чувства обоняния, и доброе имя имеет для него не больше значения, чем лучший аромат для лишенного обоняния. Поэтому я предпринимаю эту работу со спокойным сердцем, я уверен, что не рассержу его, не поврежу его репутации; его светлость достиг такой степени уверенности и довольства, какой не знал до него ни один философ».

И дальше следует тщательно подобранный, скрупулезно обоснованный комплекс оскорблений и обвинений, относящийся к деятельности Уортона в Ирландии, изложенный стилем академическим, монотонно-протокольным, но поток ненависти бьется за тонкой пленкой льда. Трудно представить, что это пишет памфлетист о современнике своем; редкому художнику удавалось вложить в описание ненавидимого им персонажа столько гнева и яда.

Уортон был лакомым блюдом на пиру Свифта.

Но этого Свифту мало. Куда девать свифтовский дар шутки, забавы, мистификации? Ему тесно в рамках политических памфлетов.

И он пишет – быстро, немедленно откликаясь на злобу дня, – стихи, агитки, баллады, оды, мистификационные, пародийные, сатирические, много сотен стихотворных строк, с неожиданной, всегда остроумной рифмой, с острой концовкой, ярким сюжетом. Он предстает здесь первым и исключительным мастером политической поэзии, стихи его пенятся, как шампанское, он бросает их щедрой рукой, они заучиваются наизусть, поются на улицах…

Но и этого мало. Одновременно он собирает материалы к основному произведению этой эпохи: своему знаменитому трактату «Поведение союзников» – ценнейшему вкладу в политическую историю Англии.

Но и этого мало. В рамках самой широкой творческой работы за письменным столом не умещается жадная жизнь Свифта, умственная его энергия.

Для пышного цветения жизни необходим и устный жанр.

И уже в первый год лондонской жизни он самый популярный человек в столице. Свифт нарасхват в гостиных знатных дам, в загородных виллах лордов, он центр внимания, приманка званых вечеров. Молчание пробегает, когда он входит в комнату, почтительное, ожидающее; его остроты ловят на лету, суждение воспринимается как приговор.

И Свифт острит («Шарль Дартинеф лучший остряк в городе, не считая, конечно, меня», – говорит «документ»).

Он импонирует – лаконичной силой речи, четкостью мысли, энергией безжалостного остроумия, самим взглядом своим, ясным, пронизывающим, самой фигурой своей с высоко поднятой мощной головой. Родился тот Свифт, который каждому современнику своему внушает почтение, смешанное со страхом.

И такой же он в столовой Роберта Харли, где не реже раза в неделю собирались за обедом влиятельнейшие люди страны – хозяин, Сент-Джон, лорд Риверс, лорд Харкур и Свифт.

Идет интимная политическая беседа, обсуждается правительственная тактика, подготовляются ответственные выступления… И как прислушиваются к словам Свифта благородные лорды!

«Вы не только наш любимец, но и наш опекун», – сказал ему лорд Харкур.

«Опекун»? Кто назначил его таковым? Где права его и полномочия на эту работу? На чем держится этот его авторитет? Как же не видеть: достаточно легкого недовольства хоть одного из «подопечных», не говоря уж о Харли и Сент-Джоне, – и прекращается странно-великолепный сон, и пробуждается Свифт все тем же ларакорским священником в отпуску. Ведь он не имеет никакой официальной должности, титула, чина, положения, нет у него денег, поместий, деловых связей, он живет на пересылаемый ему скромный доход ирландского приходского священника – около двухсот пятидесяти фунтов в год, он беззащитен всячески, он уязвим повсюду…

Свифт это видит.

И делает отсюда вывод, достойный большого человека. Тот уязвим, кто дорожит своим делом, функциями, положением. Неуязвим независимый во всем и до конца человек. Таким Свифт был всегда, тем более теперь. И свою независимость нужно так показать, чтоб о ней чирикали воробьи с лондонских крыш. Раньше всего в области личных, материальных дел. Может быть, вы думаете, лорды, что ларакорский священник стремится к карьере, к деньгам? Будьте добры признать вашу тяжелую ошибку.

Литературного гонорара не существовало в те дни, но литераторы и публицисты, писавшие в пользу какой-либо партии, не оставались без вознаграждения, подчас достаточно крупного. Выгодные синекуры, правительственные пенсии, чиновничье жалование, а то просто значительные денежные суммы – все это получали Аддисон, Стил, Конгрив, Прайор, другие.

Но только не Свифт. На первых же порах решительно и гневно отказывается он от почетной синекуры – места капеллана (домашнего

священника) у Роберта Харли.

Настойчиво отвергает он всякие попытки оказать ему денежную помощь.

Харли просто не понимает этого странного бескорыстия – «ведь Свифт работает для нас, как вол» – и в злосчастную минуту решает сделать скромный подарок Свифту, конфиденциально, чуть не тайком посылает к нему своего доверенного секретаря, Льюиса, кстати, друга Свифта, тот вручает ему скромный подарок: пятьдесят фунтов. Это было в начале февраля 1711 года.

Свифт почернел от гнева.

– Передайте вашему хозяину, что я не наемный писака! – крикнул он и бросил на стол банковский билет.

А в «документ» была внесена запись: «Я с ним не встречусь, пока он не извинится». И еще запись:

«Я ожидаю дальнейшего удовлетворения. Если позволить великим мира сего распуститься – ими нельзя будет управлять. Он обещает всячески удовлетворить меня, если я соглашусь на свидание с ним, но я не согласен, я требую письменного извинения, или я расстанусь с ним».

Извинительное письмо было вскоре написано, и запись через несколько дней кратко гласит: «Я снова хорошо отношусь к мистеру Харли».

А между тем Свифт нуждался в деньгах постоянно и чувствовал себя прямо несчастным, когда ему пришлось однажды заплатить три гинеи за новый парик. А между тем Свифт был страшно доволен, когда добился у министров подарка в пятьдесят гиней для начинающего литератора Хэррисона.

Но то Хэррисон, а то Свифт.

Так доводится до сведения всех и каждого, что в эту эпоху всеобщей коррупции, взяточничества и жадной погони за кусочком государственного пирога есть человек, который мог бы купаться в золоте, если б захотел, но, однако, этого не хочет.

И этого еще недостаточно Свифту.

Эти лорды считают его своим «опекуном»?

Прекрасно, он воспользуется каждым случаем показать, что он капризный, тиранический опекун.

Вот представился случай: кажется Свифту, что в одной из бесед с ним Генри Сент-Джон разговаривает с ним небрежно. Последовала бурная сцена.

– Я не намерен ни от кого на свете терпеть подобного обращения; если

вы что-нибудь против меня имеете, скажите прямо, а не прибегайте к вашей холодно-аристократической позе! – так гремел Свифт, смотря в упор на Сент-Джона.

Капризный «опекун»! И вообще тяжелый человек, и вдобавок стремящийся всячески демонстрировать это свойство характера.

Отсюда нарочитая и подчеркнутая колючесть – человек весь из острых углов, отсюда даже пугающая резкость в обращении, отсюда вызывающее высокомерие – не тогда, когда принимает он своих дублинских приятелей, просящих замолвить за них словечко, или обедает в таверне Сити с издателем Бен-Туком, славным и простым парнем, по полкроны с человека, или умоляет Патрика подмести наконец комнаты на Бэри-стрит…

А тогда, когда сидит он, откинувшись в позолоченном кресле, в салоне герцогини Ормонд; когда бросает с уничтожающим презрением модной красотке: «Миледи, вам не следовало бы рассуждать о политике»; когда отказывается знакомиться с герцогом Бэкингемом, полный титул которого – Джон Шеффилд – граф Мелгроу – маркиз Нормэнби – герцог Бэкингем, – именно потому, что у него такой длинный титул, что он известен как самый надменный человек Англии.

Нужно ли понимать все это как организованную систему поведения?

Конечно, нет.

Слишком сложны душевные движения Свифта, чтобы быть уложенными в рамки какой-либо системы, да еще выработанной им самим; слишком активно и непосредственно воспринимал он жизнь, чтоб отгородиться от нее заранее данными правилами поведения.

Но несомненно, что агрессивность его была лишь инстинктивной формой самозащиты, результатом постоянно присутствовавшего ощущения, что стоит ему, Свифту, хоть в чем-либо выказать слабость, хоть на минуту снять броню своей независимости, непроницаемости, неуязвимости – и окажется он перед лицом этого мира, глубоко чуждого ему, вот в чем дело, голым, беззащитным!

Но пока – он в упоении пира.

И самый опьяняющий кубок на пиру – тот, откуда пьет он жадными, быстрыми глотками, – ощущение своей власти над душами людей.

И склонны были некоторые современники превращать этот пир в кутеж самодура. Живописует один из современников, со злобой и не без остроумия, такой «кутеж», рассказывая об «утренних приемах» Свифта:

«Было отдано распоряжение, чтоб все являвшиеся на прием для подачи прошений передавали их, опускаясь на колено; он же сидел, окруженный величественным беспорядком. Вокруг него валялись

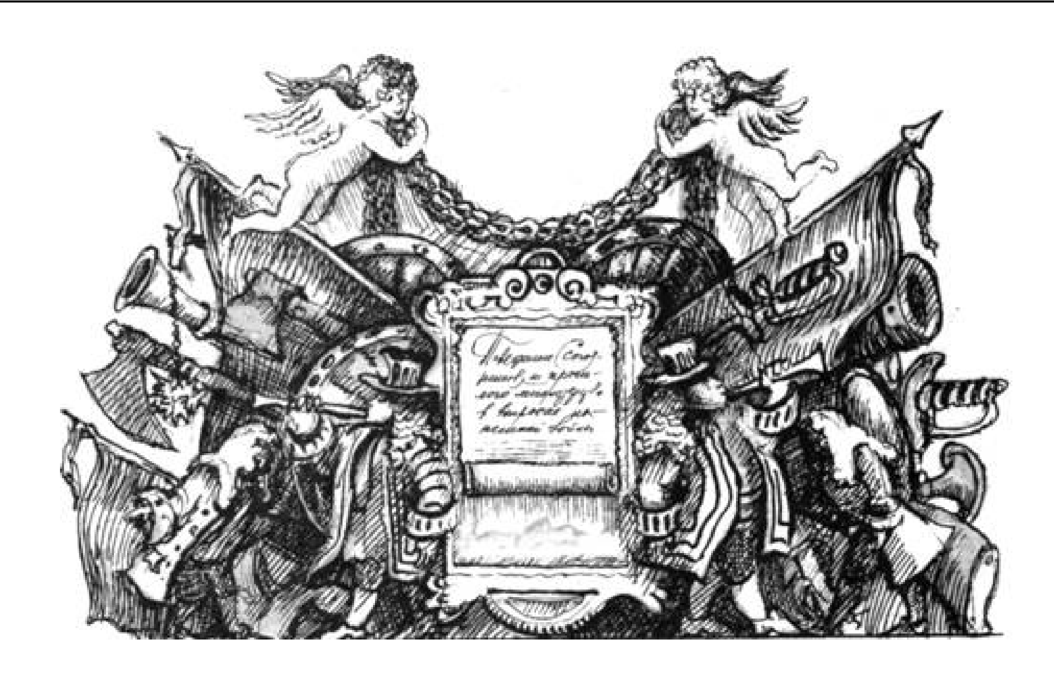
разбросанные, по прихоти Патрика, предметы одежды, ночные сорочки, колпаки и полотенца, полусгоревшие свечи торчали в бутылках, табак плавал в тарелке с жидкой кашей, пол и стулья были усеяны черновиками баллад, распевавшихся на улицах, отрывками речей, которые должны были быть произнесены с высоты трона. И если входил в комнату лорд, то хозяин, установивший свои правила поведения, чтоб показать, что он отличен от других и больше других, – хозяин обращался к лорду небрежно: „Если желаете сесть, можете снять с того стула эти проклятые четки и усесться“, но если появляется простой смертный, то, идя к нему навстречу, он очищает сам место на стуле, посылая Патрика ко всем чертям…»

Не понимает современник-мемуарист, что в этой верно подмеченной детали – подчеркнутая небрежность по отношению к лорду, подчеркнутое внимание к простому смертному, – и есть проявление инстинктивной самозащиты Свифта.

Стихийно пирует Свифт и не чувствует еще, как посмеется над ним безжалостная реальность.



Глава 11
Свифт опекунствует и благодетельствует



…И взор я бросил на людей,
Увидел их, надменных, низких,
Жестоких, ветреных друзей,
Глупцов, всегда злодейству близких…

Пушкин

Я каждое утро благодарю бога, что мне не нужно заботиться о Римской империи.

Гёте

Четвертого марта 1711 года Джонатан Свифт, возвратившись домой после обеда у Генри Сент-Джона, был грустен и озабочен.

Неужели эти люди, в которых он так верит, не понимают всей тяжести положения? Ведь страна разорена! Если б какое-либо частное лицо, коммерсант из Сити, находился бы в подобном положении, он давно был бы уже объявленным банкротом… Необходим мир во что бы то ни стало,

но никто не решается и заикнуться о мире…

Это не совсем так, верней – совсем не так. Сам Свифт ведет кампанию за мир уже с ноября 1710 года в своем «Экзаминере», а за кулисами давно идут тайные дипломатические переговоры с французским правительством. Тайные – хотя согласно договору 1709 года между союзниками (Англия, Австрия, Голландия) никто из них не должен сепаратно вступать в переговоры с Францией. Но слухи о переговорах просочились в публику, и буря полемики по вопросу о мире бушевала весь 1711 год.

«Там (во Франции) мы сражаемся как солдаты в войне, даем пощаду. Но здесь, в Англии, мы деремся как дьяволы, как фурии, мы словно хотим вырвать самые души из тел, в наших битвах воинствует личная зависть, месть, адское озлобление, безжалостное коварство. Мы сражаемся ядом, словами, пронзающими, как кинжал, неистовством зависти, отравой клеветы, непереносимыми обвинениями, неповторимыми оскорблениями, желчью коварной злобы…»

Говорит так современник, знающий толк в этих делах, сам матерый участник боев – Даниель Дефо. И конечно, думал он, набрасывая осенью 1711 года эти строки, об авторе памфлетов «Экзаминера».

Да, Свифт так сражался, но он умел сражаться и не только так – должен был признать Даниель Дефо, когда прочел появившийся на улицах Лондона 27 ноября трактат «Поведение союзников и прошлого министерства в вопросах нынешней войны».

Трактат был безымянным, но мог ли сомневаться опытный литератор Дефо, что лишь один автор в Англии может так писать?

Благородство тона, серьезность аргументации, глубина политического анализа – уже одни эти качества ставят данный свифтовский памфлет на недосягаемую высоту в политической публицистике тех дней. Но гораздо важнее другое.

Впервые в Англии, да и в Европе, раздался суровый и справедливый голос, обращенный непосредственно, через голову правительств, министров, официальных политиков, непосредственно к стране, к народу, к «человеку с улицы», аргументирующий исключительно интересами народа, срывающий с дипломатии, с политики покров «официальной тайны». Отсюда предельная ясность аргументации, тон высокого морального негодования – в нем могучий пафос памфлета, читая который даже сейчас чувствуешь: вот так говорит человек из народа с народом во имя интересов народа.

Морально оправдать необходимость мира для Англии – вот цель Свифта, рассказать и показать, что весь ход войны, а тем более

продолжение ее в данный момент было выгодно в Англии только узкой клике дельцов из Сити, кучке генералов и лично герцогу Мальборо; что никакие выгоды от войны не окупят уже понесенных жертв в сто тысяч человеческих жизней и пятьдесят миллионов фунтов государственного долга, тяжесть которого ложится на народ; что эхо «патриотической болтовни» завсегдатаев кофеен нельзя смешивать с голосом народа; что народ за эти десять лет систематически обманывали насчет целей войны, ибо велась она наперекор «общественным интересам» во имя «частных интересов»: «…мы вели войну, чтобы помочь карьере и богатству одного семейства (герцог Мальборо), чтоб обогатить ростовщиков и биржевых маклеров, чтоб споспешествовать опасным планам политической группировки…» И если есть еще в Англии глупцы, говорящие о славе английского оружия, о захваченных на поле битвы знаменах – «…нашим внукам останется сомнительное удовольствие любоваться несколькими тряпками, развешанными в Вестминстер-Холле и обошедшимися в сотню миллионов, проценты по которым им придется платить, хвастаясь при этом, по обычаю нищих, тем, как богаты и славны были их деды…»

К таким речам не привык английский народ. В гнилую атмосферу грязных интриг и ожесточенной склоки своекорыстных группировок вторгся свежий ветер. Словно римский трибун легендарных времен поднялся на форум – и прозвучал мужественный голос.

Сбрасываются, взрываются условные рамки политической публицистики, становится памфлет манифестом, политик – прокурором и судьей.

Вместе с тем автор не снижает, не упрощает темы. Ларакорский священник выступает здесь одновременно и политиком, и дипломатом, и государствоведом: работа его построена на анализе дипломатических документов, на учете экономической и политической обстановки современной ему Европы – она до сих пор ценнейший материал для историка эпохи.

Так это просто: пользоваться нужными словами в нужных местах!

Согласно Свифту, в этом все искусство стиля, и это искусство доводит он до максимального звучания в памфлете «Поведение союзников». Он никогда не был ритором и болтуном; риторика, словесные красоты – это словно «приключения» стиля, сводящие мысль с прямой и кратчайшей дороги. И «нужные» слова становятся решающими словами.

Для министерства миссия Свифта сводилась к поддержке их специальных целей – дискредитации вигов в их прошлом и настоящем; для Свифта же эта миссия была – открыть глаза народу. Достаточно умными

людьми были Харли и Сент-Джон, чтоб понять: союз их с человеком такого склада может оказаться для них опасным. И не раз они морщились, читая памфлет, написанный с их ведома и по представленным ими секретным материалам, особенно те места его, где пафос обличения обманщиков народа выходил за рамки политической группировки вигов, захлестывая весь класс имущих, но что поделаешь: приходилось брать Свифта таким, как он есть.

Поистине грандиозным оказался успех памфлета.

Через четыре дня – первого декабря – вышло второе издание – всего их было семь, с общим тиражом в одиннадцать тысяч экземпляров – неслыханная цифра для политической брошюры, требовавшей от читателя известного умственного напряжения, за которую к тому же нужно было заплатить целый шиллинг.

«Памфлет начинает греметь – со всех сторон спрашивают, прочел ли я его, и советуют прочесть, говоря, что это нечто необыкновенное» – такова запись в «документе» 28 ноября. И через два дня: «Памфлет произвел громадный шум и сделает много хорошего…»

И действительно, вся политическая Англия наперебой повторяла аргументы памфлета, его цитировали в обеих палатах, он читался вслух во всех кофейнях, ни один из литераторов-вигов не осмелился выступить против него в печати, было создано общественное настроение за заключение мира, волна смущения и паники охватила вигов – что-то нужно было предпринять, и немедленно!

Меж тем военные действия приостановились – мирные переговоры должны были начаться в январе 1712 года в голландском местечке Утрехт. Согласно конституции, обе палаты должны были при открытии сессий – 7 декабря – выразить свое мнение об условиях мира в ответном адресе на тронную речь королевы.

Каковы же настроения палат?

В палате общин министерство имело прочное большинство, несколько иное его положение в палате лордов.

Пэры Англии – герцоги, маркизы, графы, бароны, виконты и духовные лорды-епископы, заседавшие в палате лордов по праву титула, – не отличались стойкостью убеждений, принадлежность их к вигам или тори была приблизительна и условна. Но министерство всегда могло рассчитывать, что при умелом воздействии на лордов оно добьется благоприятного голосования.

Казалось – беспокоиться нечего.

Случилось, однако, не так.

Незначительным большинством палата лордов постановила внести в ответный адрес пункт, требующий не заключать мира, пока королем Испании остается Филипп Бурбон.

Сенсационное голосование! Оно ниспровергает политику правительства; войдя в силу, оно должно иметь следствием смену правительства, роспуск парламента, продолжение войны.

Что же произошло? Королева в своей речи решительно высказалась за заключение мира; внесение этого пункта в ответный адрес было равносильно отклонению правительственной программы; голосование части палаты – убежденных вигов – понятно, но почему к вигам неожиданно перешли колеблющиеся, «болото», те, кто фактически зависел от милости двора?

И почему – также сенсационный факт! – королева, по окончании заседания, дала свою руку герцогу Сомерсету, чтобы он проводил ее до кареты?

Сомерсет! Юркий, вертлявый, размахивающий руками, брызжущий слюной старичишка, не то виг, не то тори, член прежнего вигского министерства, сохранивший свой пост и в нынешнем, торийском, лукавый царедворец, заслуженный интриган! Но он как раз ожесточеннее всех выступал за внесение в адрес этого, как бы против речи королевы направленного, пункта. И королева оказывает ему высокую милость, предлагая свою руку.

Что же происходит, в конце концов?

Вспоминают в связи с этим то обстоятельство, что довольно часто, слишком часто появлялась за последнее время в апартаментах королевы в Кенсингтонском дворце супруга герцога, герцогиня Элизабет, дама грубая, ярко-рыжая и зловещая: ходили про нее слухи, что она в свое время помогла своему первому мужу скоропостижно умереть, будучи заинтересована во втором. А теперь ходят слухи, что герцогиня Сомерсет оттесняет на задний план признанную фаворитку королевы, красноносую Эбигейл…

Так что же происходит, в конце концов?

В шестом часу вечера, 8 декабря, назавтра после заседания палаты лордов, в апартаментах миссис Эбигейл Мэшем в Кенсингтонском дворце собралось небольшое общество.

Эбигейл только что вернулась из королевских апартаментов – обслуживание Анны за обедом входит в ее обязанности. Встревоженная, почти испуганная, она мешком сидит в кресле, тревожно следя за двумя мужчинами, находящимися с ней. В комнате жарко, камин пылает, крупная

капля висит на кончике красного носа Эбигейл.

Один из двоих, Джон Арбетнот, придворный врач королевы, дилетант-литератор, мастер легкого, блестящего остроумия, стоит, изящный и высокий, в своей обычной элегантно-небрежной позе у камина, забыв согнать легкую улыбку со своих красиво очерченных губ. Улыбаться как будто и нечему, но Арбетноту, спокойному созерцателю жизни, гурману, коллекционеру образчиков человеческой низости и глупости – итогом коллекционерской работы и была его знаменитая «История Джона Булля», – улыбка всегда к лицу.

Но не улыбается Свифт. Его толстая трость вонзилась в ковер, рука вертит табакерку; откинувшись в кресле, он не сводит упорного и сурового взгляда с хозяйки, слова его весомы и словно подчеркнуты ровной и толстой чертой.

– Вчерашнее голосование не было сюрпризом для королевы – вы это понимаете, миссис Мэшем? Следовательно, одно из двух: либо оно не было сюрпризом и для вас с сэром Робертом, значит, вы знали о готовившемся обмане партии мира и всей Англии, либо вы и сэр Роберт были также обмануты ее величеством, и она решилась на изменение всей политики за спиной у своего первого министра и фаворитки. В этом последнем случае вы виноваты в небрежности, в глупости, в разгильдяйстве; если же не в этом, то в измене и предательстве. Я прав, мистер Арбетнот? Я прав, мистер Мэшем?

Мистер Мэшем, супруг Эбигейл, незначительная личность, прикорнувший в уголку, что-то хмыкнул.

Арбетнот произнес, вдумчиво, слегка нараспев:

– От разгильдяйства до предательства так ли длинен путь? Не длинней, чем от небрежности к измене…

Свифт не слушал его.

– Я требую ответа, миссис Мэшем. Что из двух, что из двух?

Глухое постукивание каблука о ковер подчеркнуло повторение вопроса.

Эбигейл заторопилась, облизнула свои маленькие, полные губки – неожиданно маленькие, даже комичные на ее большом, грубом лице, показала мелкие, острые зубы.

– Но я уверяю вас, почтенный доктор, я уверяю вас, – бессознательно она имитировала свифтовское повторение, – сэр Роберт и я ничего не знали. Я убеждена, – тут она понизила голос и поджала губы, – эта рыжая кошка, Сомерсет, подстроила всю интригу, она и старик Ноттингэм.

– Ноттингэм подкуплен герцогом Мальборо!

– Конечно, – обрадовалась Эбигейл свифтовской реплике, – без герцога, без сучьей дочери Сарры дело не обошлось. А ее величество… – голос ее снизился до шепота, – ее настроение переменчиво, и она любит обижать своих преданных слуг, вдруг оказывая им свою немилость… – Скатившиеся слезинки, одна и другая, оставили следок на кирпично-румяных дряблых щеках. – Я не хочу осуждать свою государыню, но как вы могли подумать, доктор Свифт, что сэр Роберт и я что-либо знали…

Джон Арбетнот вежливо кашлянул:

– Разрешите перебить вас, дорогая Эбигейл… Джонатан! То, что произошло, нетрудно понять. Интрига Мальборо, Сомерсета и Ноттингэма. Пустить слушок, что королева находится в плену у министров и некоего ирландского священника, – легкий поклон в сторону Свифта, – что она будет довольна, если ее верные слуги, пэры Англии, будут голосовать против министерства, что им будет обеспечена в этом случае королевская благодарность… Коварный слух! Был ли он пущен с ведома королевы, по ее намеку, с ее молчаливого согласия – это лишь деталь. Женщина на троне, дорогой Джонатан, словно злой ребенок, запертый в комнате: от скуки он будет ломать собственные игрушки или любоваться своими гримасами в зеркале… Конечно, сэру Роберту следовало бы быть в курсе и парировать этот слух контрслухом. Сколькими голосами прошла поправка Ноттингэма?

– Пятью, – ответил Свифт. – Сэр Роберт считал, что у него постоянное большинство в палате в десять человек, и был спокоен. А я предупреждал его, что большинство исчезнет, если подкупить или обмануть лишь половину из десятка, и ведь нет такого десятка людей на свете, половину которого не удалось бы при известных условиях одурачить или обмануть…

– И вы оказались правы, Джонатан, – суховато заметил Арбетнот, он искренне любил Свифта, и все же в нем шевелилось досадное чувство зависти: свифтовские афоризмы сразу рождались на свет обточенными и завершенными. – Конечно, наш дорогой друг, граф Оксфорд, должен был хоть на этот раз пожертвовать своим вялым оптимизмом; я вообще заметил, что вялый оптимизм в политике…

Но афоризм – Арбетнот чувствовал, что этот окажется удачным, – остался незаконченным: в комнату вошел Роберт Харли, граф Оксфорд. Он вошел не свойственной ему быстрой походкой.

– Вы здесь, Джонатан! Как удачно! Здравствуйте, дорогой Арбетнот! Как поживаете, милая Эбигейл? Я вижу – вы все озабочены? Неужели потому, что наши друзья из палаты лордов оказались более предприимчивыми, чем им полагается?

Шутка, произнесенная фальшиво бойким голосом, не вызвала сочувствия.

– Я предложил здесь объяснение этой предприимчивости, сэр Роберт, но, может быть, вы сумеете объяснить это лучше?

Небрежный тон Арбетнота был явным вызовом, но Роберт Харли не принял вызова. Он расслабленно и недоуменно пожал плечами:

– Разве я виноват, что люди оказались лжецами и изменниками?

– Слабый ответ в устах опытного государственного деятеля! – сухо заметил Свифт.

Харли слегка оживился.

– Я могу добавить, что сердца королей, а особенно королев, неисповедимы!

Бессильная его улыбка не смягчила Свифта.

– С этой новостью, сэр Роберт, мы знакомы уже из библии, и худшей новости вы не могли бы нам сообщить. Но стоит ли шутить? Ваше министерство в опасности, судьба Англии в опасности, ваша светлость. Не будет ли с моей стороны смелостью спросить – что вы намерены предпринять?

Харли помолчал, потом подошел к Свифту, усмехнулся, потрепал его по плечу. Свифт привстал.

– Не надо беспокоиться, почтенный доктор, не надо беспокоиться, все обойдется… А кстати, – бросил он как бы шутя, – что бы вы предприняли на моем месте?

– Ваш белый жезл при вас, ваша светлость?

Харли удивленно:

– Да, я ведь от королевы.

И, отвернув полу сюртука, он вынул из кожаного чехольчика, пристегнутого к пряжке штанов на манер короткой шпаги, белый жезл, символ лорда-казначея, и коротенькую, в дюйм, круглую костяную палочку с утолщением на обоих концах, обтянутую грязноватой тканью.

Улыбаясь и смотря Харли прямо в глаза, Свифт положил табакерку на стоявший рядом столик и протянул руку к жезлу. Почти механически Харли передал ему жезл. Миссис Мэшем широко открыла тусклые глазки, задержала дыхание, супруг ее что-то хмыкнул, Арбетнот присвистнул.

Постукивая жезлом по табакерке, Свифт говорил размеренно, без улыбки, не сводя взгляда с Харли:

– Будь этот жезл в моих руках, я бы в недельный срок отнял бы у герцога Мальборо звание главнокомандующего, удалил бы с министерских постов скрытых и открытых вигов – Ноттингэма, Чолмондли и других,

запретил бы доступ ко двору этим дамам – герцогине Мальборо с ее дочерьми, герцогине Сомерсет, произвел бы чистку правительственного аппарата сверху донизу, я бы не был медлителен, сэр Роберт, я бы взнуздал события, сэр Роберт.

И, слегка поклонившись, он вернул Харли жезл.

Миссис Мэшем захлопала было своими коротенькими, пухлыми ручками и остановилась, полуоткрыв рот и сблизив пальцы рук…

Что-то хмыкнул супруг ее – незначительная личность в углу; коротко рассмеялся Джон Арбетнот.

– Я хотел бы рюмку вина, дорогая Эбигейл, токай у вас найдется?

– Конечно, сэр Роберт, как глупо с моей стороны, я не догадалась, что вы, наверное, голодны!

– Нет, я не буду ничего есть, благодарю вас, Эбигейл, я иду сейчас обедать. Надеюсь, вы со мной, Джонатан? Что же касается вашего совета… Ах, доктор Свифт, жестока наша жизнь, и лишь люди с ожесточенным сердцем могут в ней преуспеть… но я уверен, все окончится благополучно…

– Конечно, все окончится благополучно, если речь идет обо мне!

Харли удивленно взглянул на Свифта.

– Подумайте, вам при торжестве вигов отрубят голову, а мне, человеку незнатному, грозит только повешение, и мой труп будет опущен в могилу неизуродованным!

Харли смеялся тоненьким, детским смехом:

– Это великолепно, честное слово! Дайте мне еще рюмку вина, Эбигейл!

Положение казалось достаточно серьезным ближайшие три недели. Анна наслаждалась тонко сплетенной интригой, ей очень нравилось пугать и шантажировать своих министров. Тори волновались, Сент-Джон проклинал медлительность и нерешительность Харли, а виги ходили победителями. Лорд Уортон – веселый человек – при появлении кого-либо из торийских министров в палате лордов непринужденным жестом проводил рукой по шее – намек был слишком красноречив. Верховный судья Паркер – виг – вызвал к себе издателя Джона Морфью, опубликовавшего «Поведение союзников», и, гневно размахивая памфлетом, требовал открыть имя автора.

Свифт занес в «документ»: «Я полагаю, что игра проиграна». Если не за свою жизнь, то за свободу он имел все основания бояться. Виги научились его ненавидеть за этот год с небольшим, моральные пощечины, им нанесенные, горели на щеках даже такого рыцаря бесстыдства, как лорд

Уортон. В случае дворцового переворота Свифт мог считать себя обреченным.

Было о чем подумать в мрачные декабрьские, тревогой насыщенные дни.

Так, значит, напряженная работа всех этих месяцев, чудесная его творческая энергия, гордая, воинствующая мысль – все это может оказаться затраченным впустую, пойти насмарку только потому, что мелкое и злобное ничтожество, восседавшее на троне, подпало под влияние «рыжей кошки»…

А Харли медлил и хитрил.

Свифт считал, конечно, что все беды от его характера, не мог он, по крайней мере теперь, допустить мысль, что Харли ведет двойную игру, страхуется, не решаясь сжигать всех мостов между собой и вигами – как это в действительности было.

Было о чем подумать в мрачные декабрьские, угрозой насыщенные дни.

Свифт предпринимает кой-какие меры, наивные, впрочем, для обеспечения своей безопасности в случае краха министерства: Генри Сент-Джон обещает ему обеспечить заграничную командировку в последний момент, чтоб он сумел отсидеться за границей. Но пока есть хоть тень надежды, Свифт не сходит с боевых позиций, не прекращает устной и печатной пропаганды за мир, против вигов и их подпольных интриг. 23 декабря он пишет свое свирепое сатирическое стихотворение – «Виндзорское пророчество». Оно направлено против герцогини Сомерсет, и это жестокий удар: Свифт не побрезговал воспроизвести в стихотворении слухи, что герцогиня отравила своего первого мужа. Сатира эта была так неслыханно резка, что друзья Свифта испугались и советовали не публиковать ее; до того, однако, как Свифт успел снестись со своим издателем, несколько сот экземпляров «Виндзорского пророчества» уже было распродано, вместе с другой свифтовской сатирой – против Ноттингэма. Года через полтора Свифту придется об этом вспомнить.

Но в данный момент ухудшить положения это не могло: и так уже все стояло на карте.

И гроза прошла.

Роберт Харли еще раз оказался первоклассным подпольным комбинатором. Он сумел убедить даму на троне, что трон ее будет непрочен при переходе власти к вигам и продолжении войны. В самом конце года был опубликован сенсационный указ об отстранении Мальборо со всех его должностей, об отставке Сомерсета и Ноттингэма, и даже

«рыжей кошкой» принуждена была Анна временно пожертвовать. А для того чтобы сломить оппозицию в палате лордов, Харли заставил Анну подписать указ о назначении двенадцати новых пэров: палата лордов ведь не была выборным учреждением, и все лица, имеющие титул пэра, имели тем самым право быть пожизненным ее членом; этой нехитрой комбинацией Харли обеспечил себе большинство в палате, ибо вновь назначенные пэры были, естественно, его людьми. Среди них оказался и супруг миссис Мэшем, незначительная личность, хмыкавшая в углу, – он получил титул барона.

«Программа» Свифта была, таким образом, перевыполнена.

С полным спокойствием встретило общественное мнение страны такой решительный шаг, как отставка Мальборо.

Значит, был в корне подорван его авторитет, казавшийся несокрушимым; значит, подлинный переворот в общественном мнении осуществило перо Свифта статьями «Экзаминера», логикой «Поведения союзников».

Это была великолепная победа, Свифт мог ею гордиться. И недаром заявлял Мальборо после своей отставки, что ни к чему он так не стремится, как к тому, чтоб умилостивить Свифта. Умилостивить Свифта! А «документ» в эти дни говорит об отставке Мальборо: «Если министерство не уверено в заключении мира, я не одобряю этого мероприятия. Королева и лорд-казначей смертельно ненавидят Мальборо, и падение его вызвано этим обстоятельством гораздо более, чем всеми его недостатками… мне не нравится, когда личные соображения играют роль в общественных делах».

Но ведь сам Свифт ратовал за отставку Мальборо! Характерное и наивное противоречие! Ему хотелось, чтоб люди, которым он верит, – Харли и Сент-Джон – руководствовались в своей деятельности не личными расчетами, а соображениями общественного блага; ведь на фундаменте своей веры в них он и возводит свое здание политики.

За судьбу мирных переговоров Свифту нечего было беспокоиться. Они начались в январе 1712 года, проходили при непосредственном участии Генри Сент-Джона, получившего титул виконта Болинброка, и кончились через год с лишним Утрехтским миром, заключенным на основе принципов, изложенных Свифтом в «Поведении союзников» и других памфлетах.

Это был «свифтовский» мир. Историки Англии, принадлежавшие к партии вигов, сурово порицали Свифта, возлагая на него ответственность за «сепаратный» и «преждевременный» мир, не обеспечивший, по их мнению, должного преобладания Англии на континенте. Роль Свифта в

подготовке Утрехтского мира не осталась тайной и для современников.

Что же должен был думать об этом сам Свифт? Было ли ему чуждо гордое сознание, что он тот человек, который сумел повернуть судьбы нации – силой своего разума, мощью своего темперамента, уверенностью в правоте?

Если и было это сознание – оно осталось глубоко затаенным; нигде в высказываниях Свифта – ни теперь, ни после – нет ни следа его.

Но возможно, его и не было. Не было теперь, в этот момент, потому что, соприкасаясь слишком близко с событиями, наблюдая закулисную механику событий, приводя в движение различные ее рычаги, терял он чувство перспективы. Значительное потонуло в ничтожном; вульгарные будни политической борьбы оттеснили историческое ее значение в глазах того, кто участвовал в каждом часе, каждой минуте этих будней.

А впоследствии, когда все это было в прошлом, впоследствии у Свифта возникло иное чувство: все дела лилипутов должны были казаться такими жалкими и ничтожными в глазах Гулливера!

Весь 1712 год и первая половина 1713 года – в июне этого года Свифт покидает, правда на короткое время, Лондон – заполнены такими же насыщенными, горячими днями, как и раньше. Но содержание этих дней несколько иное.

Продолжается литературная деятельность Свифта, но не так она характерна.

Основная цель правительственной программы – окончание войны – на пути к осуществлению; где другие цели программы Роберта Харли графа Оксфорда, Генри Сент-Джона виконта Болинброка? Есть эти другие цели, но Свифт их не знает, к счастью своему не знает. И потому тематика свифтовских памфлетов 1712–1713 годов все та же: дискредитация вигов, защита позиции министерства на мирных переговорах, гневный протест против обвинений лидеров партии тори в тайных переговорах с «претендентом». Как и раньше, вносит Свифт в эту тематику свою оригинальную струю: мечты о «третьей» партии, защиту англиканской церкви и мелких землевладельцев как единственного здорового института в нации, страстное обличение «денежных интересов», негодующий сарказм по адресу людей из Английского банка и Ост-Индской компании, думающих, что они представляют нацию. Талант памфлетиста не уменьшился, но звучание его литературной деятельности потускнело. И это понятно, хотя, конечно, не могли этого понять Свифт и современники его – участники событий: историческая роль торийского министерства –

ликвидация войны – была уже выполнена, дальнейшее существование его утеряло смысл, длилось лишь по инерции. Рикошетом это должно было отразиться на литературной деятельности Свифта.

Но зато больший размах приобретает его деятельность закулисного политика. И осуществляется она двояко. Свифт становится, во-первых, «благодетелем», во-вторых, «опекуном».

Священник ничтожного прихода в Ирландии, получивший длительный отпуск для устройства в Лондоне «государственных дел», – таково положение Свифта в эти годы. И в 1712–1713 годах, как и раньше, в 1711 году, у него нет никакого официального поста, чина, должности, синекуры; как священник, он не может быть членом палаты общин; не епископ, а только приходский священник, он не может войти в палату лордов; он – только Свифт, «министр без портфеля», «благодетель», «опекун».

Совершенно по-особому волнующа и увлекательна деятельность «благодетеля». Свифт видит в ней возможности для утверждения своей личности, остающиеся вне кругозора обычного, дюжинного политика.

Друг его, дублинский архиепископ Кинг, пишет ему письмо с упреком, что он, Свифт, мало заботится о своей карьере и должен бы заняться писанием теологических трактатов. Свифт отвечает ему:

«Что касается моей карьеры, я никогда не сумею заставить людей поверить, как мне это безразлично. Иногда я пользуюсь удовольствием делать карьеру другим, и я боюсь, для меня это слишком большое удовольствие, чтоб быть включенным в число моих добродетелей».

Вот именно! Не от доброты сердечной, не для демонстрации любвеобилия своего и уж конечно не в плане корыстных расчетов берет на себя Свифт миссию «благодетеля», раздатчика карьер, продавца счастья…

«Человек должен подняться на много ступеней выше возможности продвигать себя, прежде чем берет он на себя смелость продвигать другого», – пишет Свифт еще в одном письме. То есть, продвигая других, Свифт тем самым все выше «продвигал» себя, но лишь в собственных глазах.

Кто ж были благодетельствуемые?

Кто угодно: знатные люди, старые дамы, провинциальные чудаки, дублинские приятели, случайные лондонские знакомые, но в первую очередь литераторы, начинающие и заканчивающие, славные и безвестные, и все, кто имеет хоть какое-то отношение к печатному слову.

Настойчиво подчеркивая при каждом случае, что он не литератор, предав эту профессию проклятию и насмешке еще в «Сказке бочки»,

Свифт, однако, любил ее «странной любовью» – в противопоставлении, очевидно, профессии лорда или банкира из Сити.

И с каким удовольствием благодетельствует он литераторам-вигам, оказавшимся в тяжелом положении при торийском министерстве! Все они фигурируют в его записной книжке – Конгрив, Стил, Эмброз Филипс, Николас Роу, Джордж Беркли и даже сам Аддисон, который, кстати, совершенно отошел от политической публицистики: узнав, что «Экзаминер» – это Свифт, как очень умный человек, Аддисон сразу понял, что этот противник ему не по плечу…

И для всех устраивает он должности, синекуры, свидания с министрами, а то просто правительственные субсидии. Особенно часто и с особым удовольствием благодетельствует Ричарду Стилу: не потому ли, что тот считался звездой вигской журналистики…

Свифт – в своем представлении – карал и миловал как верховный судья. Этих сложных чувств не было у него в отношении безвестных, начинающих литераторов – Парнела, Хэррисона, Дайапера. Тут дело было проще.

«Я считаю своим долгом по чести и совести пользоваться моим влиянием для того, чтобы продвигать людей, чего-либо стоящих», – говорит «документ».

И в то же время как не поворчать наедине с собой:

«Я могу помочь кому угодно, но только не себе». «Для себя лично я не могу ничего сделать – плевать, пусть лучше министры и прочие будут обязаны мне», – свидетельствует «документ».

Но не входит ли в миссию «благодетеля» элемент забавы, игры, наконец, издевательства? Устроив некоему Кингу выгодную синекуру – хорошо оплачиваемую должность издателя официальных публикаций, Свифт организует процессию из лордов и министров, идет во главе процессии на дом к Кингу и торжественно вручает ему ключ от должностного кабинета.

Над кем глубоко затаенная издевка – над собой ли, над благодетельствуемым, над теми, кто не смеет отказать Свифту в его просьбах?

Свою миссию благодетеля людей мысли и таланта стремится Свифт поставить на прочную организационную базу. Он создает общество «Братьев», куда входят Харли, Сент-Джон, Харкур, Ормонд, другие виднейшие политики, литераторы – Арбетнот, Прайор, Поп, всего двенадцать-пятнадцать человек. Цель общества – «способствовать дружеской беседе и помогать достойным лицам нашими возможностями и

рекомендациями». Члены общества собирались на еженедельных обедах, вели застольные беседы о политике и литературе, и на этих обедах то с шуткой и остротой, то гневной речью внушал Свифт лордам и аристократам, что отнюдь не они, а люди мысли и таланта – соль земли.

Таков Свифт – «благодетель».

В своем логическом развитии переходила миссия «благодетеля» в миссию «опекуна».

«Он не только наш любимец – он наш опекун», – сказал о Свифте третий влиятельный член правительства, лорд Харкур. А Роберт Харли шутя говорил, что дни политических бесед со Свифтом – это для него «дни сечения».

Свифт – в своем понимании – благодетельствовал и министров, опекая их, выполняя при них что-то вроде роли ворчливой няньки, следящей за их поведением. Увы, это была наивная и сентиментальная нянька.

Еще в начале своего лондонского периода, на одном из первых интимных обедов у Харли, в присутствии Сент-Джона и Харкура, произнес Свифт почти торжественную речь. Вот она в его записи:

«Я возьму на себя смелость предсказать, что этому министерству обеспечена долгая жизнь, ибо за него стоят и народ, и корона, и церковь; личные интересы министров совпадают с общественным интересом, а это счастье не часто приходится на долю людей у власти. Я уверен, что они сердечно любят друг друга, их дружба не может быть нарушена конкуренцией, ибо у каждого есть своя область».

Можно ли ошибаться так наивно и бездарно?

Впрочем, ошибался ли Свифт?

Не заставлял ли он себя верить вещам маловероятным?

Он заставил себя верить и в личное бескорыстие Харли и Сент-Джона, и в то, что у каждого из них нет тайных помыслов и стремлений, и в то, что они «сердечно любят друг друга».

Было поистине трудно не заметить, как сердечно ненавидят друг друга Харли и Сент-Джон.

Харли боялся своего компаньона, опасаясь, что тот втянет его в непоправимую авантюру, и имел основания этого бояться; Сент-Джон презирал своего компаньона, чувствуя, что тот не прочь предать его в любой момент, – и имел основания так чувствовать. У каждого из них была своя, тайная от компаньона жизнь: у Харли – ставка на вигов, у Сент-Джона – авантюрный план опоры в должный момент на «претендента».

Свифт мог обо всем этом догадаться, но не догадался; Свифт должен был все это знать, но не знал. Ослепление его было поразительным – не

потому ли, что в значительной степени было оно для него желательным?

Но ему пришлось быть свидетелем яростных конфликтов между министрами с первых же дней. И так как оба они – каждый в своем плане – относились с громадным уважением к Свифту, ему и пришлось стать посредником, опекуном, нянькой двух «непослушных детей».

В первый период, когда задача окончания войны оттесняла все остальное, работа опекуна кое-как удавалась, но все трудней и неблагодарней становилась она в дальнейшем. Выразительно характеризует эту работу «документ». Свифт пишет в начале 1711 года:

«Таков рок, висящий над этими людьми».

И через несколько дней:

«Мы с Льюисом озабочены, как спасти это министерство».

И через три месяца:

«Я использую все мое влияние, чтоб рассеивать недоразумения между министрами, и если между ними не произойдет разрыв, – я буду этому причиной. Это чертовски трудное дело».

И еще через два месяца, когда Сент-Джон пожаловался, что Свифт откровеннее с Харли, чем с ним:

«Я ответил, что достаточно часто посредничаю между ним и Харли и говорю каждому из них одно и то же. Я прибавил, что давно знаю, что такое мое поведение – самый верный путь, чтоб быть отосланным назад в Ирландию к моим ивам, но не обращаю на это никакого внимания, если только сумею оказать стране услугу, борясь за их единство. Я напомнил ему, как часто я говорил ему, Харли, Харкуру, всем вместе, что все зависит от их единения, и как я хочу, чтоб они любили друг друга, и каждому из них указывал, что говорю это не случайно, и я уверен, что сумею разрешить этот вопрос. Я выполняю честную миссию, зная, что она не принесет мне ни хвалы, ни выгоды».

Честную миссию. До какой же степени ослепления нужно было дойти, чтоб не увидеть: наивная до… глупости миссия.

В конце 1712 года Свифт уже не так красноречив, не так наивен:

«Снова и снова я способствую примирению этих господ – один бог знает, как долго это может длиться». «Мне не нравится ход общественных дел, и если б мне предстояло остаться здесь дальше, чем я имею в виду, я бы погубил себя попытками все это исправить. Невозможно спасти людей помимо их воли, и я уже отдал достаточно сил, примиряя, починяя, ставя заплаты».

Печально на душе у портного-опекуна!

Но не должна ли в ярость превратиться эта печаль, когда недели через

две после этой записи слышит Свифт сказанную ему Генри Сент-Джоном виконтом Болинброком фразу, сказанную походя, с веселой, обезоруживающей откровенностью:

– Вам лгут, доктор Свифт, разве вы не понимаете, что все мы вам лжем!

Но в этот момент, в самом конце 1712 года, Свифту не до ярости. Ибо именно в этот момент так остро, как никогда раньше или после в своей жизни, вдруг чувствует Свифт, что он, великий благодетель, могучий опекун, просто очень беспомощный человек…

Но если этот беспомощный человек – очень большой человек, не будет ли уместным какое-то более сильное определение?

Свифт нашел это определение.



Глава 12
Свифт беспомощен, как слон



Для камердинера не существует героя.

Гёте

Конечно, для камердинера не существует героя; но не потому, что герой не герой, а потому, что камердинер – камердинер!

Гегель

Радостное, оживленное возбуждение захватило маленький домик, расположенный на уединенной дублинской уличке, против церкви Сент-Мэри, где живут в одиночестве две женщины – мисс Эстер Джонсон, тридцатилетняя, но кажущаяся еще очень молодой со своей тонкой девичьей фигурой, большими, черными, грустными глазами и прекрасными густыми волосами, и круглая, веселая старушка, ее компаньонка, мисс Дингли. В руке у мисс Дингли большой плотный пакет с печатями и штампами, только что прибывший из Лондона.

– Будем сейчас читать, дорогая Эстер?

– Нет, нет, Дингли, как всегда, вечером, когда никто не сможет помешать…

Поздний вечер. Спокойная, мягкая тишина. Не мигают свечи в колпачках. С ласковым ворчанием пожирает угли пламя камина. Эстер в ночном халатике, с распущенными волосами глубоко уселась в большом кресле, поджав ноги, внимательно вглядываясь в огонь. Мисс Дингли, аккуратная и затянутая, по другую сторону стола, в таком же кресле. На столе – пакет и разрезальный ножичек.

– Что ж, начнем, – тихо вздохнула Эстер.

Мисс Дингли взяла ножичек, бережно, почти благоговейно взрезала пакет. На стол выпали восемь-десять листков плотной, хорошей бумаги с ворсистыми краями, густо исписанные с обеих сторон властным, настойчивым почерком. Листки были перенумерованы. Дингли взяла, подняла первый листок, приблизила его к глазам, вооруженным очками. Эстер вся как-то подобралась, напряглась, полуоткрыла губы. Старческим, но еще четким голосом мисс Дингли прочитала:

«Лондон, января 4-го 1711. Я был сегодня в Сити, где и пообедал, и своими собственными прекрасными ручками передал мое двенадцатое в почтовую контору, возвращаясь в девять часов домой. Я обедал с людьми, о которых вы никогда не слыхали, да и не стоит вам о них слышать – с авторшей и типографщиком. Затем я совершил прогулку для моциона и к одиннадцати лег; и все время, пока я раздевался, я болтал в воздух всякие забавные пустяки, как будто бы вы тут рядом, и опомнился лишь тогда, когда улегся».

Был уже третий час ночи, свечи догорали, пламя в камине умирало под густым слоем пепла, когда мисс Дингли усталым, но еще четким голосом дочитывала последнюю фразу последнего листка тринадцатого письма. Всего их было получено в маленьком домике на уединенной дублинской уличке против церкви Сент-Мэри – за период с октября 1710 года и по июнь 1713 года – шестьдесят пять…

А в одном из них, в тридцать четвертом – было оно начато 3 ноября и закончено 17 ноября 1711 года, – прочла Эстер Джонсон сначала про себя и затем повторила – дважды, трижды – прерывающимся голосом короткую, странную фразу:

«Я беспомощен, как слон…»

Эстер всплеснула руками. Нежно-смуглая кожа ее порозовела, глаза расширились, вопрошающие, изумленные…

…Конечно, она знает, доктор Свифт, Джонатан, ее учитель, ее любимый, он могуч, он велик, он единственный – как слон. Она это знает

давно, уже много лет, но как странно – она никогда этого не думала, – значит, беспомощен слон!

Полтора десятка больших и малых памфлетов, среди которых такое объемистое сочинение, как «История Утрехтского мира», писавшееся Свифтом около двух лет; тридцать три номера «Экзаминера», статьи в других журналах; громадное количество сатирических стихов; редактирование памфлетов и статей других журналистов – такова литературная деятельность Свифта.

Присутствие на дворцовых приемах, ежедневные деловые встречи с министрами и политиками, политические обеды, долгие беседы с издателями – такова общественная деятельность Свифта.

Заседания общества «Братьев»; вечерние встречи в кофейнях с литературными друзьями – Аддисоном и Стилом, затем с Попом, Гэем, Прайором; визиты к лондонским букинистам; посещения светских гостиных – для шутливых бесед, для игры в карты (Свифт любил играть по маленькой и терпеть не мог проигрывать); прогулки по Лондону и окрестностям, то в одиночку, пешком, то в карете, в обществе знатных дам, – таковы развлечения Свифта.

День заполнен без остатка.

Но все ли это? Исчерпаны ли этим перечислением занятия и досуги Свифта?

В течение тысячи без малого дней – с 9 сентября 1710 года и по 16 мая 1713 года – почти ежедневно, за небольшими исключениями, утром, а особенно вечером, еще или уже в постели, в течение десяти минут, получаса, а то и часа и двух занят Свифт еще одним делом – или развлечением? – строго секретным, почти таинственным, глубоко личным и, пожалуй, самым важным для него.

В эти утренние и ночные часы, при тусклом свете свечей, при отблеске пламени камина, в шлафроке, в ночном колпаке на голове, улыбаясь, морща лоб, жестикулируя, радуясь и печалясь, негодуя и смеясь, жалуясь и балуясь, Свифт беседовал и рассказывал ворчливо, нежно, сердито и любовно. И эти беседы его и рассказы за время тысячи утренних и ночных часов образовали в совокупности своей единственную, оригинальнейшую, глубоко захватывающую книгу, вошедшую в историю мировой литературы под скромным, условным названием: «Дневник для Стеллы».

Дневники, письма, мемуары…

Богатую, долгую жизнь числит за собой этот жанр произведений,

написанных вне литературных целей и все же ставших достоянием литературы. Своя поэтика и технология у этого жанра и свои точно очерченные разновидности.

Как определить в плане этого жанра «Дневник для Стеллы»?

Как будто это коллекция писем, отправлявшихся регулярно дважды в месяц из Лондона в Дублин, на адрес Эстер Джонсон и мисс Дингли, – всего шестьдесят пять писем.

Но это и дневники, поскольку почти каждое письмо – это совокупность ежедневных записей, ведшихся на протяжении двенадцати-пятнадцати дней.

Но это мемуары по характеру своему: ведь тут налицо связное повествование о событиях общественного и политического характера.

И, однако, отсутствует основной, специфический элемент мемуаров: автор рассказывает не для потомства.

Но в то же время тут нет и установки дневника: записи предназначены автором не для себя.

И какие же это письма, если в них нет главного признака эпистолярного жанра – внутренней законченности каждого отдельного письма, самостоятельного в нем сюжета?

Итак: и письма, и мемуары, и дневники; и в то же время – ни письма, ни мемуары, ни дневники.

Может быть, поэтому некоторые литературоведы считают, что перед ними просто… роман, первый и оригинальнейший роман в английской литературе. Они приводят достаточно остроумных соображений в подтверждение своего мнения, но не могут все же не признать, что автор «романа» никогда, ни одной минуты в жизни своей не подозревал, не предполагал, что писавшиеся им строки могут быть прочтены одним хотя бы живым человеком, помимо адресата.

И не менее, чем литературоведов, запутал «Дневник для Стеллы» психологов. Правы те, кто говорят, что «Дневник для Стеллы» – откровение о таких сторонах свифтовского характера, которые, не будь эта книга опубликована, остались бы неизвестными. Но как раз эти строки путают все концепции, без них было бы куда легче! Каждый из биографов Свифта обращается к дневнику как к неисчерпаемой сокровищнице аргументов для подкрепления своей концепции – и ни одному из них не отказывает сокровищница в обильных доказательствах; но этим самым не обесценивается ли сокровищница; служа всем, не служит ли она в действительности никому?

Так оно и есть, когда имеешь дело с растянувшимся на три года

«внутренним монологом», единственным в мировой литературе, по сравнению с которым «Исповедь» Руссо – вялая и аккуратная диссертация на соискание премии. Значит, и нужно отнестись к «Дневнику для Стеллы» как к внутреннему монологу, капризному и страстному; и нужно, войдя в этот грандиозный лабиринт противоречий, отмечая важнейшие углы и повороты, не стремиться примирить и сгладить противоречия во славу предвзятой концепции.

Какой же возможен иной путь, чтобы увидеть и осмыслить все облики Свифта?

Этих обликов было достаточно и помимо обликов «Дневника».

Личность почти легендарная, министр без портфеля, власть за кулисами – таков он в представлении широких политических кругов Лондона и Англии.

Человек нелюдимый и неприятный, пугающий своей суровостью, жестким своим взглядом, мрачной серьезностью, весь из острых углов, весь колючий – таким видят его случайные знакомые.

Обаятельный лев гостиных, сверкающий безжалостным остроумием, холодно-уверенный, – таков он для своих светских знакомцев.

Человек строгой морали и твердых принципов – и в политике, и в жизни, неустанный в ненависти, властный настолько, что становится деспотом, и одновременно способный на трогательную нежность, мужественную и верную дружбу, утонченное внимание, очаровательную застольную беседу, – таким предстает он своим политическим друзьям, высокопоставленным «опекаемым», литературным соратникам.

Казалось бы, достаточно обликов!

Но ведь есть еще «Дневник для Стеллы». И если б кому-нибудь из них – лицам из этих кругов – пришлось бы прочесть некоторые записи «Дневника», удивление их граничило бы с потрясением.

Значит ли это, что перед ними оказался бы настоящий, подлинный Свифт, человек без маски, а тот, кого они знают, он имитатор, притворщик, актер? Это значит лишь, что помимо того, также подлинного Свифта был и иной, из «Дневника». Метафизическим был бы вопрос – кто ж из них «настоящий».

В его внутреннем монологе достаточно часто встречаются интонации и эмоции того Свифта, каким его знают окружающие. Но еще чаще, рельефней, выразительней слышны мотивы, оставшиеся для современников неизвестными.

Был Свифт – капризный чудак, режиссер и автор «театра для себя», осторожный, педантичный, подчас мелочный буржуа, болезненно

чувствительный неврастеник и, наконец, просто беспомощный, а иногда и жалкий человек.

Этот новый, незнакомый «Свифт в ночном колпаке», дискредитирует ли он того?

Нет, лишь оттеняет облик того, в нарядном парике, создает для него фон богатого, изумительно сложного рисунка, и возникает тогда фигура подлинно объемная, трехмерная. Свифт «внутреннего монолога» никак не умаляет Свифта «Гулливера» и памфлетов.

«ПДФР будет сегодня очень занят… нет, не ПДФР, а другой я…»

«Другой я» – в этом все!

«Дневник для Стеллы» возник неожиданно для самого Свифта.

В третьем своем письме (первое было написано с дороги, второе коротко извещало о прибытии в Лондон) Свифт натолкнулся на эту своеобразную форму: письмо представляет ежедневные записи с 9 по 21 сентября включительно.

Создалась какая-то система: сделав последнюю запись 21-го утром и запечатав третье письмо, 21-го же вечером он начинает первую запись четвертого письма. Игра в эту систему увлекает Свифта и непрерывно продолжается до сорок пятого письма, то есть до 8 апреля 1712 года, – год и семь месяцев.

В течение всего этого периода запись производится каждый день, иногда два раза в день, но обязательно два раза в день по тем дням, когда производится отправка писем, – последняя запись в отправляемом и первая запись в начинаемом письме. Игра далее усложняется: автор аккуратно нумерует свои письма, настаивает, чтоб адресат аккуратно осведомлял его, когда был получен такой-то номер – письма из Лондона в Дублин идут двенадцать-пятнадцать дней, – и устанавливает такой порядок, чтоб в то время, как номер шестой, например, был получен адресатом, номер седьмой находился в пути, а номер восьмой составлялся.

И чтоб еще более серьезной сделать игру, получив ответ, он часто носит его в кармане, не вскрывая, не читая, – день, два, три, пока не будет закончено очередное пишущееся письмо; очевидно, это делается, чтоб не нарушить функционирование системы, согласно которой ответом на номер четвертый из Дублина должен быть номер седьмой из Лондона, но никак не номер шестой.

Далее: автор считает законченным очередное письмо, когда в нем записано определенное количество дней, от двенадцати до пятнадцати; и это тоже один из элементов системы – записи за это количество дней заполняют в среднем восемь больших листов бумаги, исписанных с обеих

сторон, и каждое письмо вмещает определенное количество материала – около половины печатного листа. А чтоб не ошибиться, автор часто считает строчки на странице, не преминув сообщить об этом адресату (то есть в известной мере самому себе): так, в пятом письме, из записи от 10 октября, – как раз в те дни, когда происходили важнейшие свидания с его министрами, – известно, что на данной странице уместились семьдесят три строчки.

Игра нарушается и система ломается в письмах от № 45 до № 57, с 27 апреля по 13 декабря 1712 года. Это обычные письма, написанные в один прием, отделенные одно от другого значительными промежутками и отправляемые тут же по написании. Свифт в это время болел, был плохо настроен, и главное – вмешались некоторые обстоятельства живой жизни (о них в своем месте), которые оттеснили игру на задний план.

Но затем игра возобновляется и последовательно идет вплоть до отъезда его из Лондона в мае 1713 года.

Но обыгрыванием педантически аккуратной системы не исчерпываются элементы этой своеобразной игры в свифтовском монологе.

«С сегодняшнего дня я буду каждый день что-нибудь писать для МД и буду всегда в беседе с МД, а МД с ПДФР».

Это фраза из второго письма.

Как сказано, письма адресовались Эстер Джонсон и Дингли, но ни в этом, ни в остальных шестидесяти четырех письмах не найти имени Эстер и редко встречается имя «Стелла» – как обычно называл Свифт мисс Эстер. В письмах она МД и иногда, в особо нежных абзацах, ППТ. Четырьмя же буквами ПДФР обычно подписаны письма, и они же встречаются в тексте, когда Свифт говорит в третьем лице о самом себе, – и как раз эти места писем наиболее интонационно выразительны.

Нетрудно догадаться, что эти сочетания букв – аббревиатуры ласкательных и интимных слов, но это только часть сочиненного, Свифтом «нашего маленького языка», по его собственному определению.

И на этом, с трудом поддающемся расшифровке «маленьком языке» выписан ряд фраз и абзацев писем; а когда говоришь на этом языке, нужно губы складывать особым образом: «Когда я пишу на нашем языке, я складываю губы так, как будто говорю на нем», – гласит одна запись.

И тут же, строчкой ниже, запись о важном политическом событии.

Дальше идет игра.

Монолог то и дело театрализуется, превращаясь в прямой диалог между ПДФР и ППТ:

«8, утром. Мне кажется, молодая женщина, я уже много сделал за четыре дня, находясь у конца этой страницы, а очередного письма от МД еще нет. Оказывается, я пишу МД о государственных делах. Как ей это нравится? Помилуйте, ведь желанна каждая строчка, приходящая от ПДФР! Но чтоб сказать правду, я предпочла бы, если бы имела право выбора, чтоб он писал не так таинственно. А теперь, ПДФР, я вам должна сообщить, что вы становитесь дурачком, – говорит Стелла. Ну, это только вы одна так думаете, мадам. Я обещал сегодня утром зайти к Сент-Джону, но мне лень, и я не пойду…»

Это далеко не единственный образчик непринужденного, как бы подслушанного и кем-то записанного диалога.

«12, утром. Я еще не спросил Патрика, какая сегодня погода. Эти два дня шел дождь. Дождливая погода плохо отражается и на моих легких и на моем кошельке. Патрик говорит, что очень ветрено и облачно – горе моим шиллингам! Итак, я встаю и иду к моему камину, – Патрик говорит, что он растопил камин, а ведь сегодня не холодно и не день бритья – все это очень убыточно. Стелла сейчас поднимает свою белую ногу и надевает на нее туфлю… Передайте ей мои приветствия и скажите ей, что я буду сегодня обедать у декана – пусть она тоже придет, или, лучше, Дингли, – напишите ей записку… Это утренний диалог Стеллы, нет, я хочу сказать – утренняя речь. Доброе утро, сударыня, дайте мне наконец встать. Но я вам говорю, она не может сегодня обедать у декана, она должна быть у миссис Проби, эта Уоллс, и пойти с ней в лавку купить ярд муслина и кружев для нижней юбки. Еще раз говорю – доброе утро, сударыня».

После этого можно не удивиться и такой строчке:

«Ну, довольно, слезьте с постели и дайте мне встать», – обращается автор к адресату в одной утренней записи, а перед этим горько жалуется, что Роберт Харли до сих пор еще не представил его королеве.

И на всем протяжении монолога идет нарочитое вплетение элементов игры и забавы в ткань сложной жизни Свифта в этот лондонский период.

То и дело перебивается проза монолога рифмованными строчками, мистификационно выдаваемыми Свифтом за народные пословицы, чужие стихи и т. д.; тут же, рядом, детские загадки, смешные шутки, дурачества – вот он пишет несколько слов с закрытыми глазами, чтоб показать устойчивость своего почерка, то вдруг имитирует почерк Стеллы, то сердится на сделанную кляксу, намекая, что сделал ее нарочно, или сочиняет нарочито плохую остроту и безмерно ею наслаждается…

Не нужно думать, что все эти игры «театра для себя» – теперь, через двести двадцать пять лет, они могут показаться равнодушному

исследователю слащавыми, приторно сентиментальными, наивно-глуповатыми, – практиковались Свифтом только в «Дневнике для Стеллы»; он их выносил – вспомнить хотя бы процессию к Кингу, а еще раньше постановку Исаака Бикерстафа – и на широкую общественную сцену. Но, конечно, только в своем внутреннем монологе давал он себе в этом смысле полную волю, не сдерживая размаха бурной своей фантазии.

В этих забавах Свифт отдыхал.

Отдыхал не только «благодетель», «опекун», но еще один Свифт, о котором рассказывает монолог: методический, аккуратный, деловитый буржуа, совсем купец из Сити, добропорядочный, расчетливый, даже скуповатый, и уж во всяком случае отнюдь не грозный боец…

Случилось однажды, что добродушный лентяй Патрик, так мучивший Свифта своей неаккуратностью, купил на свои гроши птичку коноплянку и клетку для птички.

«6 января. Утром. Вчера вечером, когда Патрик еще спал, я вышел, чтоб добавить угля в камин, и увидел в его каморке клетку с коноплянкой, которую он купил, чтоб отвезти ее в Дублин. Он заплатил за нее шесть пенсов. Я уверен, что через неделю она подохнет от тоски. Патрик посоветовался со мной перед тем, как купить ее… Я честно указал ему на величину затраты и на легкомыслие всей затеи, объяснив, что невозможно будет перевезти живой груз через море, но он не хотел последовать моему совету и принужден будет раскаяться…»

Это очень серьезно. Отнюдь не с большей серьезностью рассказывает Свифт в этом же и других письмах, что Харли и Сент-Джон не слушаются его советов и принуждены будут раскаяться.

С творческим восторгом культивирует в себе Свифт качества добропорядочного буржуа, солидного мещанина. С умилительной точностью сообщает он каждый день, где он обедал, и если не в гостях, то сколько заплатил за обед; обстоятельно рассказывает, как дорого обходится ему уголь для камина; в какое потаенное место прячет он на ночь свой кошелек; каковы суммы, проигранные им в карты в великосветских гостиных, – двадцать три шиллинга за 1712 год! – сколько заплатил он за новый парик («три гинеи, и, клянусь богом, я разорен!»); как он переехал за город на дачу – он платит за нее шесть шиллингов в неделю; и как он иногда для здоровья ходит из города на дачу пешком, и он сосчитал количество шагов – пять тысяч семьсот сорок восемь; и как он по утрам завтракает молочной кашей – «я ее не люблю, я ее ненавижу, черт возьми, но это дешево и полезно для здоровья»; и как он катается верхом – «в камлотовом сюртуке, с красными бархатными отворотами и

серебряными пуговицами»; и как он переменил квартиру и живет теперь в районе Листерфилд, платя десять шиллингов в неделю – «долго я таким образом не выдержу – честное слово!»; и как две знатные леди, каждая в отдельности, обещали ему подарить шарф, – хитро подмигивая, он заявляет: «Конечно, я посмотрю, какой лучше, и тот возьму…»

И кажется – он подмигивает самому себе: «Вот какой я практический и деловой человек…»

До того практический и выдержанный, что несколько раз торжественно заявляет, что преодолеет свою пагубную, разорительную страсть… покупать книги. Помилуйте! Вот он заплатил сорок восемь шиллингов за три тома французского издания Лукиана, вот купил Плутарха, вот истратил двадцать пять шиллингов на Страбона и Аристофана, да еще пришлось два шиллинга отдать извозчику; мало того, у лондонских букинистов той поры практиковался хитрый трюк, специально для «практических» покупателей, – они устраивали что-то вроде лотереи – отзвук мании лотерейной игры, охватившей Лондон в те годы; Свифт и проиграл однажды почтенную сумму – четыре фунта семь шиллингов – в такую лотерею, получив за эти деньги полдюжины малоценных книг.

Много огорчений у деловитого буржуа! Этот подлый обычай тратиться на рождественские, новогодние и пасхальные «на чаи» лакеям и швейцарам министров; да еще эти проклятые лорды меньше полукроны не дают… А постоянный расход на извозчиков из-за этого гнусного лондонского климата (хотя стоило бы Свифту лишь заикнуться, и ему был бы предоставлен постоянный и бесплатный выезд)… А вот все тот же Болинброк, черт его побери, прислал ему в подарок ящик прекрасного испанского вина – семь шиллингов и шесть пенсов пришлось заплатить слугам за доставку, а он еще боится, что вино прокисло – попробовал одну бутылку, она с кислинкой, – «какой я несчастный, и должен еще благодарить Сент-Джона…». Да еще в этот день, как раз после важной беседы с Робертом Харли, «опять пришлось заплатить два шиллинга извозчику, честное слово, я разорен!» Да еще Патрику нужно сшить новую ливрею стоимостью в фунт стерлингов, этому ленивому негодяю Патрику; ливрея сшита, но Патрик ее еще не получит, нужно ведь решить важнейший вопрос: возможно, что он все же расстанется с Патриком – неудобно ведь будет тогда отнимать ливрею. Словом, деловитого, практического буржуа просто заедают все эти сложнейшие обстоятельства, есть от чего прийти в отчаяние. Неважная, конечно, деталь, что этот приходящий в отчаяние от пустяковой проблемы человек между прочим

вершит судьбами государства, что от него зависят карьеры герцогов и графов, что стоит ему лишь пальцем пошевельнуть, чтоб иметь самые обильные доходы…

Но зато —

«мы долго думали с Эразмусом Льюисом, как бы заработать триста-четыреста фунтов, но решили, что ничего не выйдет».

Но практический человек все же стремится разбогатеть.

Встретился он в Лондоне со старым школьным товарищем Стрэтфордом (Стрэтфорд стал богатым коммерсантом в Сити и ведет крупные биржевые операции). И он предлагает Свифту свои дружеские услуги. Свифт колеблется, раздумывает и наконец решается на нижеследующую сложную и глубокомысленную финансовую операцию с акциями Английского банка:

«Мой проект был таков: у меня есть в Ирландии триста фунтов, и я написал Стрэтфорду, чтоб он купил для меня акций на триста фунтов, и чтобы акции остались у него, а я за них заплачу и рискну: поднимутся ли они или упадут, я уплачу ему пока проценты за одолженную мне сумму… Стрэтфорд, великодушнейший из людей, сделал все это, процент мне стоил тридцать шиллингов – это было сделано неделю назад, и я уже заработал пять фунтов».

Свифт очень гордился этой своей операцией, но понимает ли практический человек, что на такой глубокомысленный проект хватило бы интеллекта и у Патрика и что Стрэтфорд, ворочавший громадными суммами, – тридцать шиллингов процента он все же взял, – только головой покачивал, думая о финансовом гении своего странного друга!

И догадывался ли Свифт, что «великодушнейший» Стрэтфорд вознаградил себя не только процентом: Свифт ведь и сообщил ему, что, судя по политической ситуации, акции банка должны подняться, – за это сообщение Стрэтфорд охотно заплатил бы ему и пятьсот фунтов, но, зная характер своего практического друга, и помыслить об этом не посмел.

В другой раз, с помощью подобной же операции, деловитый буржуа заработал значительно большую сумму – в двенадцать фунтов.

Но вот предпринимается операция грандиозного масштаба. Свифт, получив из Ирландии деньги, вручает Стрэтфорду около четырехсот фунтов, чтобы тот купил ему акций знаменитой в то время спекулятивной «Компании южных морей»: предстоит заработать до ста фунтов. Но тут как раз разоряется один из должников Стрэтфорда, тот терпит на этом крупные убытки, ожидается его банкротство, и в этом крахе могут погибнуть и свифтовские четыреста фунтов. И Свифт заносит в «Дневник»:

«Я вернулся домой несколько задумавшись, я призвал на помощь мою философию и религию – и я могу сказать, что заснул лишь всего на четверть часа позже, чем обычно».

Он мог спать спокойно – на другой день он узнал, что его деньги в целости.

И он сентенциозно замечает:

«Стелла очень посмеялась бы надо мной, если б вышло, что такой осторожный и подозрительный человек, как я, оказался бы обманутым».

Свифт был искренне уверен, что он весьма осторожный, подозрительный и вообще практический человек. Но ему в голову не приходило, что всякий непрактический человек в его положении мог бы сделать себе крупное состояние, хотя бы своей деятельностью «благодетеля» – это было вполне в порядке вещей в ту эпоху.

Мало того: наш практический человек брезговал даже возможностями честного литературного заработка: он категорически отклонил предложение друзей выпустить отдельным изданием сборник памфлетов «Экзаминера» – ему гарантировали пятьсот фунтов прибыли. Это делали и Аддисон и Стил со своими журнальными памфлетами; Свифт считал это вполне нормальным для них, но не для себя.

И в то же время, живя на свои ларакорские доходы – около двухсот пятидесяти фунтов в год, он был действительно бережлив, даже скуп и действительно искренне жалел о шиллингах и пенсах, потраченных на извозчиков и чаевые. Но можно ли не заметить, что в деловитой этой бережливости добропорядочного буржуа был все тот же мотив увлекательной игры в бережливого буржуа…

И было что-то еще.

В настоятельном подчеркивании самому себе своих качеств солидного человека, умеющего справляться со всеми житейскими затруднениями, и, конечно, в активности «опекуна» и «благодетеля» было, может быть, и скрытое стремление уйти от сознания своей парадоксальной беспомощности в этом мире.

А об этой беспомощности никто не сказал выразительней и лучше, чем сам Свифт, воскликнувший однажды в «Дневнике»: «Я беспомощен, как слон!»

Он был, конечно, сердит в этот вечер 8 ноября 1711 года, беспричинно как будто бы сердит; отрывочен его монолог:

«Рассчитывал сегодня погулять в городе, просто для развлечения, – и ничего не вышло; так всегда бывает в этой жизни; и мне не удалось встретится сегодня с лордом Дортмутом, а у меня было к нему дело. Вот

ничего не вышло и из дела и из развлечения. Вы всегда можете пойти к вашему декану, а если не к нему, то к Стоит, к Уоллс, к Мейли и играть в карты и пить кларет. А я обедал где-то с приятелем – селедка, цыпленок и полбутылки плохого вина. По утрам холодно, и я топлю камин. Патрик говорит, что мои ночные колпаки уже изношены. Не знаю, как достать новые. Я беспомощен, как слон».

Откуда же взялось это странное определение?

Молния прорезалась и бросила неожиданный свет в самые глубины духа Свифта. Через десяток лет объяснил сам себе Свифт, что это значит – «беспомощен, как слон», – и можно ли не увидеть в этой изумительной формуле зародыш мысли о Гулливере среди лилипутов? Но сейчас он лишь роняет эту формулу – мимоходом, ворчливо, удивленно, подчиняясь необходимости сказать именно так, только так.

Долго ли искать иллюстрации к «беспомощности слона»?

В плане комическом эту иллюстрацию дают взаимоотношения Свифта со слугой его Патриком.

Он был милейшее существо, этот долговязый, голубоглазый, ленивый ирландец, но как он мучил Свифта! В каждом почти письме возвращается Свифт к теме Патрика. Комнат не подметает, камин забывает топить, почему-то в припадке аккуратности убирает чернила, как раз когда Свифт должен писать, все поручения путает, не прочь он и выпить, и однажды, уйдя с ключами и не вернувшись вовремя, вынуждает Свифта искать ночлега под чужой кровлей. И с какой беспомощно-комической яростью обрушивается Свифт на Патрика в своем монологе, превосходящей подчас ярость, направленную на Уортона и Мальборо… Увы, пришлось Патрика в конце концов уволить.

Была, однако, и другая иллюстрация «беспомощности слона» – более серьезная, развертывавшаяся в трагическом для Свифта плане. Была история «Свифта-карьериста», заполнившая самые тяжелые страницы внутреннего монолога и показавшая вот этот глубоко затаенный облик Свифта, облик беспомощного слона в царстве мышей.

Неотвязно стоял перед Свифтом все эти годы очень простой вопрос: а что же будет в конце концов с ним, Свифтом, священником из Ларакора? Свифт об этом думает с тревогой, с сомнением.

Чего Свифт хотел для себя в этот период – в плане практическом, не говоря о мечтах о «третьей партии», об осуществлении своей морально-политической программы?

Хотел того же, что и раньше, в 1704–1709 годах, – покинуть

Ирландию, получив видный священнический пост в Англии.

Он мог претендовать, будучи доктором богословия, не только на должность каноника или пребендария, но и на пост епископа; он имел моральное на то право, отстаивая уже много лет в своих выступлениях интересы англиканской церкви; он считал, что будет с честью и пользой занимать этот пост.

И теперь, при феерическом своем взлете, при исключительном положении министра без портфеля, мог ли он полагать, что желание его неосуществимо?

Возведение в сан епископа юридически зависело от королевы, номинально возглавлявшей англиканскую церковь, фактически же – от министерства. Что ж, тем лучше. Пусть Свифт сам никогда не заикнется о своем желании, но эти умные и порядочные люди – Харли и Сент-Джон, которые так его уважают, так любят, они сами поймут, что они должны сделать.

Обнаженно красноречива серия высказываний, относящихся к концу 1711 года и ко всему следующему, 1712 году.

«Я думаю, Харли услужил бы мне, если б я остался здесь».

«Вернусь (в Ирландию), как только смогу, но, сказать правду, министерство нуждается во мне. Возможно, они окажутся благодарны мне не более, чем другие».

«Я уже много сделал для них, и я думаю, они честнее предшествовавших им; я уверен, что мне не придется разочароваться».

«Мои новые друзья очень любезны, и у меня достаточно обещаний, но я на это не рассчитываю. Во всяком случае, мы увидим, что будет сделано, и если ничего – я не буду разочарован».

Представлялось достаточно возможностей исполнить мечту Свифта. И все же ему не удавалось уехать.

«Честное слово, если б я мог все бросить и вернуться, я б это сделал и расстался бы навсегда со всей этой цолитикой и честолюбивыми планами».

«Сотни людей охотно одолжили бы мне деньги».

«Меня удерживает здесь капризная игра судьбы, и честь и приличие не позволяют мне пойти ей наперекор. Возвратиться без какого-либо доказательства успеха – это будет выглядеть весьма плачевно. И помимо этого, я хотел бы быть немножко богаче, чем я есть».

«Если со мной поступят гадко и окажутся неблагодарными, как это было раньше, я к этому вполне готов и отнюдь не удивлюсь. И, однако, все мне завидуют, и каждый день самые значительные люди умоляют меня хлопотать за них».

«Я ничего не рассчитываю получить здесь, и если бы они отпустили меня, я бы вернулся немедленно».

«Харли и Сент-Джон сказали мне, что они говорили обо мне королеве, но она никогда не слыхала обо мне».

«Боюсь, что министры останутся в долгу у меня до самой моей смерти».

«У меня с министерством осталось одно лишь дело, и когда оно будет выполнено, я расстанусь с ними. Я ни разу не получал от них ни одного пенни и не рассчитываю получить. С меня хватит дворцов и министров, и я хотел бы быть уже в Ларакоре».

Ко времени этой записи (август 1712 года) положение Свифта было действительно странным, если не конфузным.

«Я об этом (его назначении на пост епископа) ничего не слыхал – это кажется, по-моему, более далеким, чем когда-либо, хотя весь город полон слухов об этом».

И через месяц с небольшим – мучительный стон:

«Ожидаю с недели на неделю, что-нибудь произойдет в моем деле, но ничего не происходит, и я не знаю – произойдет ли: люди так медлительны, когда они оказывают милость…»

А еще через месяц с лишним – попытка обмануть самого себя:

«Они мне все надоели, и как только смогу – скроюсь отсюда. Меня совсем не страшит возвратиться к моему прежнему положению».

И наконец – через шесть дней – 28 октября 1712 года:

«Мое пребывание в Лондоне не затянется. К рождеству будет закончена моя работа, и тогда меня здесь ничто не удержит».

Работа («История Утрехтского мира») была действительно закончена, и, однако, покидает Свифт Лондон лишь через пять месяцев – в мае 1713 года.

Жалостная эпопея, беспомощно-тоскливый голос! И новый, совершенно новый Свифт!

Правду сказать – мало привлекательный… Что осталось от гордого благодетеля, от властного опекуна?

И вот уже вырывается у него словечко – «милость», и как же скрыть от себя, что он в унизительном положении, созданном им самим, именно им самим! И это Свифт, человек, восхищавший всю Англию силой своего разума и воли…

Только в том виновен Свифт перед самим собой, что, побоявшись оказаться перед собой «карьеристом», он не обусловил с самого начала с Харли и Сент-Джоном, чего он хочет.

Чего бы проще сказать: «Я работаю с вами, милостивые государи, не из-за корысти, не в целях карьеры, мы идейные союзники, но совершенно естественно, чтоб мое положение в обществе соответствовало той роли, которую я фактически призван играть!»

Тем более это было просто, что не к каким-либо неслыханным достижениям стремился Свифт (забавный парадокс в том, что их-то он как раз и осуществил), а всего только к должности епископа или декана…

Но этого простого шага он не сделал: тут было, конечно, отражение основного противоречия, разъедавшего его психику весь этот период, противоречия, именуемого – Свифт в роли «политика». Отсюда все и возникло.

А потом, к концу 1712 года, возникло объективное обстоятельство, мешавшее Свифту.

Наступает 1713 год. Проходит январь, февраль, март. Свифт все ждет. Последняя его работа закончена, он не хочет предпринимать никаких новых вплоть до выяснения положения, он словно объявляет забастовку. Но вот в начале апреля он узнает, что открылись три деканские вакансии в Лондоне и Англии: декан, настоятель крупного собора – последняя ступень перед саном епископа, – но о его назначении на одну из вакансий ничего не слышно!

Какой безумный гнев должен был охватить Свифта! Безумный и беспомощный…

Но он задушил его страшным усилием воли: отдаться гневу значило бы нанести себе еще большее унижение…

«Сегодня утром мой друг Льюис зашел ко мне и показал мне распоряжение о назначении трех новых деканов – меня среди них нет. Я это предвидел всегда и принял известие спокойнее, чем он ожидал. Я просил Льюиса сообщить лорду-казначею, что я ничего против него не имею и в претензии лишь на то, что он своевременно мне об этом не сообщил: он обещал это сделать в том случае, если узнает, что королева против меня».

Осуществлению пустяка препятствовал другой пустяк: злобное упрямство Анны. Она терпеть не могла Свифта и вдобавок была восстановлена против него как «безбожника». «Сказки бочки» она, конечно, не читала, но переизданный в 1710 году этот памфлет читали другие, в числе прочих – влиятельное лицо в англиканской церкви, архиепископ Йоркский Шарп, виг и интриган, близкий к королеве. Находясь под его влиянием, королева и не разрешала все время представить себе Свифта; друзья его тщательно от него это скрывали.

И кроме того, активную роль в подпольной кампании против Свифта играл герцог Ноттингэм. Слишком больно ударил его хлыст свифтовской стихотворной сатиры, и он решился даже выступить в палате лордов с обличением «одного священника, стоящего за кулисами министерства и добивающегося сана епископа, несмотря на то что он отъявленный безбожник». Аналогичное выступление было сделано в палате общин новым лидером партии вигов Робертом Уолполом.

И самым ярым врагом Свифта оказалась герцогиня Сомерсет: «рыжая кошка»: ей было за что ненавидеть сатирика – не зажила еще рана, нанесенная ей «Виндзорским пророчеством».

Как-то в начале 1713 года в опочивальне Анны собралась вся почтенная троица: Шарп, Сомерсет и Ноттингэм. «Рыжая кошка» бросилась к ногам королевы, умоляя ее, чтоб она не разрешала сделать Свифта епископом; герцог и архиепископ присоединили свои аргументы. Впрочем, королеву и не пришлось долго убеждать.

Дело Свифта было бы совершенно проигранным. Но мог ли Роберт Харли не вмешаться теперь, в этот решительный момент? Ведь помимо всего прочего, помимо чувства благодарности Свифту, понимал он, что оставить Свифта ни с чем означало бы расписаться в своем бессилии, признать победу вигов. И, заручившись мощным союзником в лице Эбигейл Мэшем, ныне уже баронессы, он ринулся в бой.

По существу, это была дуэль между двумя дамами: красноносой Эбигейл и «рыжей кошкой». Победила первая, но победа далеко не была полной. Харли хотел для Свифта епископства в Англии – Свифт в палате лордов был бы весьма полезен для него. Но удалось добиться не епископства, а деканства, и не в Англии, а в Ирландии;

23 апреля был подписан указ о назначении Свифта деканом собора св. Патрика в Дублине. Но и это назначение проходило тяжело.

Правда, полученное назначение было весьма почтенным. Дублинский собор св. Патрика был самым большим и богатым в Ирландии и уступал по своему значению лишь немногим английским соборам Декан св. Патрика пользовался прекрасным материальным положением – доход с поста превышал семьсот фунтов в год.

Но как мучительно долго все это тянулось! Одно это сознание должно было отравить всю радость.

И еще серьезней было то соображение, что отныне проведена ликвидационная черта под всеми тайными помышлениями Свифта, под туманными его планами и чаяниями.

Где теперь эта «третья партия»? Ведь декан св. Патрика – не

политическая фигура, ведь Ирландия фактически изгнание!

Снова Ирландия… В 1700 году первая попытка занять место в жизни окончилась Ирландией: в 1709 году все блестящие перспективы привели только в Ирландию; и теперь, в 1713 году, после «Экзаминера» и «Поведения союзников», после головокружительных успехов «министра без портфеля», «опекуна», «благодетеля», – все та же Ирландия!

Словно цепь на ноге каторжника, и возвращает его цепь все в ту же ненавистную конуру.

«Беспомощен, как слон!» И трагикомически беспомощен слон в мышином царстве, когда от этих мышей, от мышьей суетни и склоки зависит путь слона по земле.

Но разве не рассказывает внутренний монолог, как стремился освободиться слон от мышьей беготни, как рвался Свифт из Лондона, от двора, от министров?

Рассказывает.

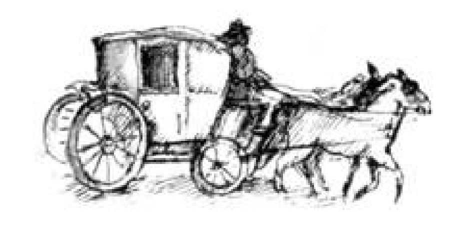
И нет основания сомневаться в жестокой искренности рассказа.

И в то же время вырывается у него вздох, почти стон – это было 18 апреля, когда уже обеспечено было назначение:

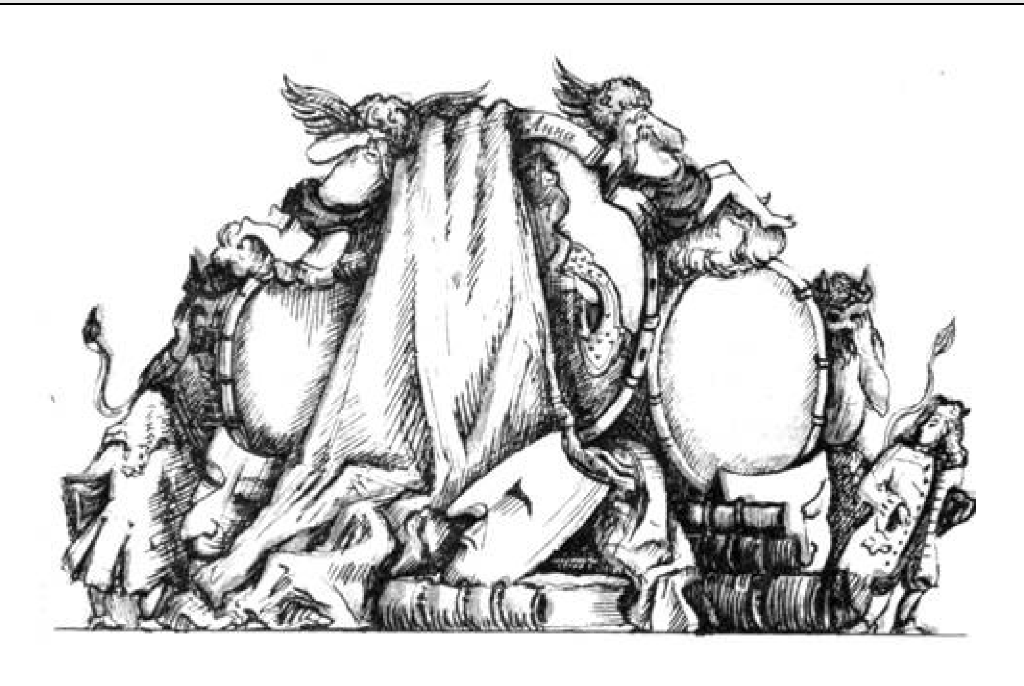
«Не могу я радоваться от сознания, что проведу мою жизнь в Ирландии; и признаюсь, я думал, что министры не согласятся отпустить меня, но, по-видимому, они ничего не могут сделать».

Но еще одно испытание понадобилось, чтобы слон перестал быть беспомощным, чтобы стал автор «Сказки бочки» автором «Гулливера»; пир Свифта должен был закончиться предъявлением счета.

А в дублинском домике – лихорадка ожидания. Последнее, шестьдесят пятое письмо из Честера, по дороге – всего несколько коротких строк. Он будет через неделю – она наконец увидит его после трех с лишним лет. И вот эту неделю, день за днем, час за часом, Эстер Джонсон, Стелла, МД перечитывает шестьдесят пять писем, где столько боли, гнева, робости, капризов, сарказма и нежности и любви к ней, только к ней! Ведь он ее любит, этот единственный, могучий, беспомощный человек!



Глава 13
Свифт получает счет



Жизни мышья беготня…

Пушкин

– Ты этого хотел, Жорж Данден!

Мольер

В начале июня 1713 года Свифт покидает Лондон и направляется в Дублин, чтоб принять свой новый пост. Лишь две недели проводит он в Дублине, удаляется затем в Ларакор, в уединение.

Недолго длилось уединение, немного времени дали Свифту для раздумий, хоть и было о чем подумать декану собора св. Патрика, расставшемуся с двором, с министерством, с фантастическими мечтами.

Но нет! Рано, оказывается, расставаться ему и с положением и с мечтами. Свифт нужен в Лондоне.

9 июля пишет Эразмус Льюис, секретарь Роберта Харли, тревожное письмо Свифту:

«…Все мы здесь очертя голову бежим к катастрофе… От всего сердца мы хотели бы, чтоб вы были здесь, вы оказались бы очень полезным для нас вашими усилиями примирить их…» (речь идет, конечно, о Роберте Харли графе Оксфорде и Генри Сент-Джоне виконте Болинброке).

А через три недели:

«Лорд-казначей очень просит вас поторопиться насколько возможно, ибо мы крайне нуждаемся в вас!» – пишет Свифту все тот же Льюис 30 июля. И Свифт, который, уезжая, не думал вернуться в Лондон, спешно снимается с места, бросает свой новый пост. В начале сентября он снова в Лондоне.

Но вернуться теперь и, вернувшись, возобновить свою политическую деятельность – это означало больше, чем когда-либо за все это время, выполнять роль защитника торийского министерства вовне, роль опекуна, примирителя, посредника между Оксфордом и Болинброком – изнутри.

Положение было простым, но достаточно безнадежным. С заключением Утрехтского мира историческая задача торийского министерства могла считаться выполненной. И неотвратимо стал перед Оксфордом и Болинброком грозный вопрос: что же дальше?

Невозможность уйти от этого вопроса, она и обострила их конфликт.

«Нельзя было найти двух людей более различных и по методу своих занятий и по характеру своих развлечений, по выбору друзей, по манере беседы, по деловым привычкам», – писал о них Свифт вскоре после наступившей катастрофы.

А как многого он еще не знал, верней, не хотел, боялся знать…

А крах надвигался неотвратимо.

Со второй половины 1713 года здоровье Анны резко ухудшилось, смерти ее ожидали каждую минуту. И вопрос о престолонаследии стал центральным.

Правда, теоретически вопрос этот был давно решен: принятый закон о престолонаследии передавал английский трон протестантской ганноверской династии. Но виги утверждали, и широкие общественно-политические круги склонны были им верить, что партия тори готовит маленький переворот, имея в виду после смерти Анны передать трон «претенденту», притом не без помощи Франции. И хотя один из пунктов Утрехтского договора устанавливал, что Франция отказывается от всякой поддержки «претендента» и даже удаляет его из пределов Франции, но ходили слухи, что Болинброк – один из авторов этого договора – ввел туда тайные статьи, аннулировавшие этот пункт.

Какова же в действительности была позиция Оксфорда и Болинброка в

этом вопросе и во всем комплексе политических вопросов дня?

Увы, определенной позиции и политической программы ни на настоящее, ни тем более на будущее не было у одного из них – графа Оксфорда.

Только бы продержаться – в этом заключался пафос политической деятельности Роберта Харли графа Оксфорда. Конечно, он не верил в будущность партии тори; и поэтому он все время страховался, забрасывал удочки в лагерь вигов и всеми силами замедлял, несмотря на требования своих коллег и особенно Болинброка, процесс очищения правительственного и административного аппарата государства от вигов. Он был бы не прочь просто переметнуться к вигам, если б это было возможно. Но, чувствуя, что это вряд ли возможно, Оксфорд подумывал и о лагере «претендента», поддерживая в то же время сношения с ганноверской династией. К сложной системе перестраховки сводилась, по существу, вся его тактика.

Но была и позиция и программа у Генри Сент-Джона виконта Болинброка. Хаотическая, правда, утопическая, но смелая, далеко идущая.

Не отразилось ли на этой программе могучее воздействие Свифта?

Да, Болинброк презирал тори как партию невежественных сельских сквайров, с яростной насмешкой оценивал он, глубокий атеист, роль тори как «защитников церкви» и вместе с тем считал эту партию молотом в своих руках, чтоб сокрушить вигов. А вигов он ненавидел как представителей денежных интересов, как партию Английского банка, Ост-Индской компании, «шерстяного мешка», на котором восседал в палате лордов лорд-канцлер… Чувствительнейший удар вигам хотел он нанести, разработав одновременно с Утрехтским договором проект англо-французского торгового договора. Это был замечательный проект, очень смелый по тем временам, в основе которого лежал принцип открытых дверей и свободной торговли, главным образом в отношении вывоза необработанной шерсти: осуществление такого проекта должно было подорвать устои Ост-Индской компании и монополию английских экспортеров сукон – в большинстве своем вигов. Сити приняло в штыки этот проект, он был сорван еще до его обсуждения, и лишь впоследствии, через несколько десятков лет, при изменившейся политико-экономической ситуации, Уильям Питт вдохнул новую жизнь в старый проект Болинброка и тесно связал идеологию вигов с принципами свободной торговли.

И точно так же оказался впереди своего времени Болинброк, планируя, очевидно не без влияния Свифта и предвосхищая Вольтера, систему «просвещенного абсолютизма» как наилучшего государственного

строя: эту систему изложил он впоследствии в своих политических трактатах. Понимал он, конечно, что такая система может быть осуществлена лишь новыми людьми, и отсюда его стремление к созданию «третьей партии» – по существу личной партии Болинброка. И так как ганноверская династия тесно связана с вигами и не приходится на нее надеяться как на выполнителя болинброковской политической концепции, – мыслим был лишь один политический план: передача трона «претенденту», при первом министре и фактическом распорядителе судеб Англии Болинброке. И если серьезные историки не подтверждают слухов о тайных статьях Утрехтского договора, то трудно сомневаться, что Болинброк все время находился в тайных сношениях с «претендентом».

То была авантюристическая и утопическая программа, обрекавшая Болинброка на политическую гибель также и в том случае, если б сумел он договориться с Оксфордом и превратить его в свое орудие. Болинброк все же не был политиком крупного масштаба, не умел он прикладывать своего уха к пульсу страны, не мог понять, что вторая реставрация Стюартов объективно противоречит историческому ходу развития страны, что пребывание тори у власти – это лишь случайный эпизод, что будущее за вигами, стоящими на центральной линии интересов господствующих группировок.

И были совершенно правы виги, заявлявшие во всеуслышание, что правительство Оксфорда – Болинброка не может, да и не хочет обеспечить после смерти Анны безболезненный переход трона к Георгу Ганноверскому.

Вот с этим основным аргументом вигов предстояло бороться Свифту в качестве правительственного памфлетиста по возвращении в Лондон.

Свифт боролся. С ненавистью слепой, неистовой обрушился он на это обвинение вигов в нескольких своих новых памфлетах и, переходя от обороны к нападению, ожесточенно доказывал, что это обвинение провокационно и выставлено вигами лишь для того, чтоб замаскировать их собственные подпольные интриги с «претендентом».

Можно ли было так грубо ошибаться, так безжалостно насиловать логику и здравый смысл!

Свифт ошибался грубо, но добросовестно.

Этот человек могучего ума, яркого дара логического мышлений всю свою жизнь, а особенно в этот период, направлял и разум свой и логику в русло потока страстных эмоций, в опору стихийного своего чувства. Его мнение о мире, изначальное, составляющее существо его личности, предопределяло и оформляло его знание мира; в этом принципиальное его

отличие от политических мыслителей – Локка, Тоббса, от людей философского мышления – Спинозы, Декарта. Он не искал истины, ощущая ее всегда с собою; лишь доказывал ее, вернее, внушал – страстной диалектикой, мощью темперамента. И этой истиной была в каждый данный момент доминирующая эмоция. А в этот период – ненависть к вигам: было уже сказано, что в них хотел он видеть концентрат всего лживого, развращенного, гибельного в морали и политике.

И поскольку политическая борьба для него была лишь точкой приложения его деятельности морального реформатора, «подметателя Бедлама», постольку он с гневным презрением закрывал глаза на политические реальности дня.

Известная концепция – «тем хуже для фактов»? Нет, Свифт еще решительнее: подталкиваемый своей страстной активностью, своим неуемным стремлением реализовать собственную истину, то есть свое чувство, он не только игнорирует факты, противоречащие этому чувству, но как бы создает факты, этим чувством внушаемые.

Но, кроме того, Свифт просто не мог представить себе – бытово, житейски, – что он в положении дурачка, что Оксфорд и Болинброк обманывают его.

Как бы там ни было, мало радости доставило Свифту его нынешнее пребывание в Лондоне.

Хороши, все так же хороши, если не лучше, были его политические памфлеты данного периода. Энергия натиска в памфлете против Ричарда Стила – очертя голову бросился Стил в 1713 года в политическую борьбу – не была превзойдена Свифтом ни раньше, ни потом; эти памфлеты – физический почти акт, он стремится не убедить, а победить и даже не победить, а раздавить своего противника, растоптать слоновьей своей стопой. Стил для него не противник даже, а нечто неодушевленное и мешающее, что нужно убрать с дороги, отшвырнуть ногой, брезгливо и небрежно; и сообразно этому тон памфлетов оскорбительно небрежен, Свифт как бы нехотя, сквозь зубы цедит свою ярость, гнев его мрачен и брезглив…

Памфлеты произвели впечатление. Сильное.

И однако далеко не такое, как памфлеты «Экзаминера» или «Поведение союзников»: общественное мнение Англии входило уже в новую фазу.

А второй из этих памфлетов – «Общественный дух вигов» – принес Свифту неожиданные неприятности личного свойства.

В одной части памфлета он обрушился – по пути – на целую

корпорацию шотландских лордов, заседавших со времени объединения Англии и Шотландии (1707 год) в палате лордов, обвинив их всех оптом в коррупции, практике политического шантажа и прочих грехах. Шестнадцать лордов в торжественной процессии явились к Анне и принесли официальную жалобу против безымянного памфлетиста – всем было известно, что это Свифт, но фактические доказательства отсутствовали. Анна приказала арестовать типографщика и издателя памфлета – нелюбовь ее к Свифту отнюдь не уменьшилась оттого, что ее вынудили сделать его деканом св. Патрика, – и заставила, кроме того, министерство опубликовать сообщение о розыске автора памфлета и о вознаграждении тому, кто раскроет его имя. Правда, Оксфорд принял все меры, чтоб затушить дело, но Свифт мог лишний раз убедиться, как непрочно его положение.

По внешности было почти все так же, как и раньше.

Возобновилась его деятельность «благодетеля», но, очевидно, она доставляла ему гораздо меньше удовлетворения.

Был все тот же круг светских знакомств, все та же обстановка светского успеха, но это повторение уже пройденного – не должно ли было оно казаться при острой чувствительности и мнительности Свифта каким-то неподлинным, вымученным…

А работа «опекуна» требовала с каждым днем все большей затраты нервной энергии, и с каждым днем все ясней ощущалось, что она унизительно бесцельна: к началу 1714 года отношения между Оксфордом и Болинброком дошли до открытого почти разрыва.

И не существовало уже общества «Братьев». Оно распалось как-то само собой, и вместе с ним ушла, может быть не осознанная до конца, мечта Свифта стать диктатором общественного мнения Англии при посредстве этой своеобразной организации.

Правда, в это время жил довольно интенсивной жизнью другой кружок, организованный и возглавлявшийся Свифтом. Это был «Клуб Мартина Скриблеруса» (Мартином в порядке дружеской шутки называл Свифта граф Оксфорд).

Этот чисто литературный кружок, объединявший Свифта, Арбетнота, Попа, Гэя и, очевидно, как постоянных гостей – Оксфорда и Болинброка, поставил себе задачу свифтовского свойства: написать диссертацию об истории лженауки и человеческой глупости – влияние автора «Сказки бочки» чувствуется здесь достаточно ясно, тем более что в приложенном к изданию 1710 года «Сказки бочки» мистификационном списке готовящихся к печати сочинений есть упоминание о подобного рода

трактате.

Кружок не успел выполнить поставленную задачу.

Была написана лишь первая часть «Мемуаров Мартина Скриблеруса», это, по существу, лишь черновой набросок или сценарий большого сатирического памфлета. Но имя Мартина Скриблеруса, как и раньше имя Исаака Бикерстафа, оставило свой след в истории английской литературы; под этим псевдонимом выпускал впоследствии свои памфлеты Александр Поп. На собраниях кружка также читалась, обсуждалась, дополнялась и оттачивалась написанная в основном Джоном Арбетнотом знаменитая «История Джона Булля», произведение громадной сатирической силы, могущее быть поставлено вровень в лучших своих местах со «Сказкой бочки» и «Гулливером»; недаром до сих пор во всем мире Джон Булль – общепризнанная кличка типического англичанина.

«Клуб Мартина Скриблеруса» – эти дружеские ночные заседания в кофейнях, где за бутылкой вина обшучивала блестящая четверка весь мир и все человечество: Джонатан Свифт – с горькой своей мудростью, Александр Поп – с утонченной кокетливостью эстета, под которой таилось болезненное самолюбие горбуна, Джон Арбетнот – с холодным и разумным цинизмом врача и наблюдателя моральных и физических недугов человечества, и Джон Гэй – с изящно-грациозной своей манерой беззаботного весельчака-остроумца.

И сюда, на огонек, приходил граф Оксфорд с тайным стремлением в напряженно-веселой болтовне и бутылке вина утопить горестное сознание неотвратимо надвигавшегося краха; приходил сюда виконт Болинброк, нарядный, высокомерный, вызывающе веселый, яростно наслаждающийся всем в себе, милостиво разрешающий и другим любоваться этим всем, великодушно соглашающийся поместить свою звезду – в нее он верил теперь больше чем когда-либо – в центр созвездия этой четверки.

А бывало и так: в поздние часы ночи прибегал, запыхавшись, в кофейню, где сидели четверо, лакей Оксфорда: его светлость приказал передать записочку. Ее разворачивали; граф Оксфорд никак не может прийти, но вот, оторвавшись от своих тяжких забот, он сочинил легкие стихи, юмористическую балладу, острую пародию, шуточную оду – и спешит представить ее на суд своих дорогих друзей.

Стихи читали вслух: «князь рифмы» Александр Поп с брезгливым высокомерием указывал на слабость техники; Джон Гэй наивно удивлялся, как может важный государственный деятель заниматься такими бездарными пустяками; Джон Арбетнот с серьезной торжественностью отмечал удавшуюся строчку; а Свифт?

Свифт единственный среди них понимал жалобную патетичности чудачества Оксфорда – усталый старый человек, истомленный беспрерывной своей мышьей беготней, хочет как-то, в чем-то отдохнуть, беспомощный, как слон, понимал он беспомощность загнанной мыши.

Как это ни странно, Свифт любил Роберта Харли графа Оксфорда, быть может досадливой и стыдливой любовью. Забавный парадокс: с изумительной силой самообмана хотел он видеть в Оксфорде политика глубоких убеждений и моральной чистоты. Измена своему чувству была для Свифта просто невообразимой, но каждое его убеждение было не чем иным, как логизированным чувством.

Положение все ухудшалось на протяжении зимы 1713–1714 года. И если Оксфорд стремился не столь избавиться, сколь обезвредить Болинброка, то последний, столь презиравший лорда-казначея за вялую его медлительность и угадавший двойную его игру – страховку у вигов, стал открыто вести кампанию против Оксфорда, склонив на свою сторону влиятельных членов министерства – Харкура и Ормонда.

Что делать «опекуну»? Конечно, не мог он и помыслить стать на сторону кого-либо из двух: не говорил ли он и себе и другим, что единственный шанс министерства устоять – в их единстве?

Значит, снова «примирять»?

Свифту не только тяжело, ему и стыдно в этот майский вечер 1714 года.

Эбигейл Мэшем, ныне баронесса (но она по-прежнему спит на полу в опочивальне королевы и стелет ей постель), освободила апартаменты для этого свидания.

Они втроем: Свифт, Оксфорд, Болинброк.

Оксфорд улыбался своей бледной улыбкой, Болинброк был зол и хмур.

А Свифту грустно, как бывает грустно взрослому человеку, который чувствует, что не может больше справиться с глупыми и злыми детьми. Грустно, а также и немножко стыдно…

И слова его звучат приглушенно, почти враждебно.

Он отчаялся в возможности что-нибудь сделать, он не может больше быть свидетелем того, что происходит между министрами, и намерен покинуть Лондон. И вот теперь, в эти последние минуты, он все же хочет еще раз спросить: не считают ли его собеседники, что все недоразумения между ними могли бы быть улажены в две минуты, и понимают ли они, что если этого не последует, министерство не продержится и двух месяцев?

В комнате, устланной коврами, наполненной дешевыми безделушками, заставленной ненужными столиками, этажерками, козетками, было тесно и душно.

Оксфорд вытер пот со лба и продолжал улыбаться ненужной, тусклой улыбкой.

Болинброк вскочил со своего кресла, эти стены давили его; бешеным ударом кулака хотел он сшибить стоявшую на дороге этажерку, загроможденную статуэтками вошедшего в моду китайского фарфора, шатавшуюся на тонких золоченых ножках. Но сдержался, речь его была ласкова, почти нежна.

– Доктор Свифт глубоко прав. Если я и мой уважаемый друг граф Оксфорд не найдем общего языка друг с другом, министерство будет взорвано. Наши недоразумения с моим дорогим другом состоят лишь в том, что граф Оксфорд не решается встать на единственный путь, ведущий к победе и славе, что для графа Оксфорда политика означает, – он остановился, пристально глядя на этажерку, – переставлять фигурки на этой этажерке, в то время как ее надо сшибить!

Болинброк замолчал. Заложив руки в карманы узких штанов, он нащупал через тонкий шелк рукоятку своей короткой шпаги и сильным движением сжал ее, шпага поднялась, оттопырив полу его бледно-голубого сюртука; его черные волосы лежали волнистыми блестящими прядями по обе стороны дорожки пробора, лицо казалось, как всегда, бледной маской, но ярко розовели кончики нежных, маленьких ушей.

– Мы ждем, сэр Роберт, – тихо и настойчиво сказал Свифт.

Оксфорд рассмеялся своим слабым, высоким, несколько удивленным смехом:

– Но, мой дорогой виконт, мой дорогой Джонатан, разве все это так трагично? О, я совершенно уверен, что все будет хорошо, все будет хорошо…

И неожиданно и несмело прозвучало:

– Может быть, вы завтра пообедаете со мной, мой дорогой Джонатан?

Медленным, трудным, старческим движением Свифт поднялся с кресла и, опустив голову, пошел к двери.

У порога остановился:

– Граф Оксфорд, виконт Болинброк, джентльмены, я завтра же покидаю Лондон. Свидетелем ожидающей вас катастрофы я быть не могу и не хочу.

Широко распахнув дверь, он чуть не сшиб с ног подслушивающую Эбигейл.

Это был конец. В мае 1714 года, после восьмимесячного пребывания, он покинул Лондон, бежал из Лондона.

Бежал не из трусости, хотя Свифт не был физически храбрым человеком, но потому, что был этот завоеватель человеческих душ стыдливым, чувствительным, тонкокожим и уязвимым человеком и непереносимым было для него зрелище похмелья на пиру, на том пиру, где не он ли считал себя хозяином!

Но хозяин должен платить по счету; нет, не в том смысле, что ему лично что-либо угрожает – для этих опасений время еще не пришло, а в том смысле, что пора наконец открыть глаза и понять свою роль в истории прошедших лет.

А понять это лучше в уединении.

Не в Дублине, на своем новом посту, найдет он это уединение; скрыться в Ирландию – значит подвести черту под этой страницей своей жизни. Но разве заполнена уже страница, разве ясен итог, разве нет ощущения, что чего-то еще не хватает?

И он удаляется к своему другу, пастору Гири, в его приход в Верхнем Леткомбе, в графстве Беркшир – несколько десятков миле от Лондона.

Становится зрителем участник, но не решается покинуть зритель зала театра и шепчет указания актерам из темной глубины.

В полном уединении проводит Свифт в Леткомбе июнь и июль читает, гуляет, вспоминает и постепенно, неохотно, уклончиво подводит итоги.

Пока еще – защитительные итоги, в стиле грустной формулы, а все-таки я во всем был прав!

Он пишет здесь последний свой в этом периоде жизни памфлет: «Некоторые вольные мысли о нынешнем положении вещей». Примечательный памфлет!

В политическом плане это – развитие крайней программы Болинброка: он требует полного удаления вигов из всей системы правительственного аппарата, энергичной борьбы с «денежными интересами», решительных мер в отношении армии – вопрос этот был одним из пунктов конфликта Оксфорда и Болинброка: высший командный состав армии был в лагере вигов, и Оксфорд не решался выступить против него; Свифт же с характерным своим антимилитаризмом вообще восставал против армии как постоянного организма. И естественно, требовал Свифт в этом памфлете обеспечения интересов англиканской церкви.

Типичная, в общем, болинброковская программа, без основного, однако, ее звена, без краеугольного камня всей постройки Болинброка –

отстранения ганноверской династии. Более того: с полной искренностью и во власти стремления создавать свою иллюзорную действительность посвящает Свифт красноречивейшие строки в этом памфлете доказательству того, что министерство всецело стоит за ганноверскую династию, что с воцарением этой династии связан успех развиваемой программы.

С упорством отчаяния стремится Свифт начертить квадратный круг или круглый квадрат. Но это чертеж смертельно усталого человека. Бессильная меланхолия от сознания безнадежности – таков подтекст памфлета. И за спокойствием логического рассуждения не слышно голоса непреклонной свифтовской страсти, не прорывается возглас торжествующего сарказма, устало суровое негодование, и не звучит радость битвы. Катастрофа неизбежна, но, верный себе, видит ее причину Свифт не в объективных обстоятельствах, а в характере людей, все тех же Оксфорда и Болинброка, которых, увы, бесцельно убеждать забыть свои разногласия и в этот последний, двенадцатый час…

Катастрофа пришла, предваренная, однако, высокоиронической интермедией.

Торжествует победу Болинброк! И спешно шлет курьера Свифту.

27 июля 1714 года королева отняла у Оксфорда «белый жезл», крикнув, что он «пьяница и бездельник». Болинброк – хозяин положения, первое лицо в государстве.

Тут же, немедля, формирует он новое министерство из крайних тори, откровенных сторонников «претендента». В письме Свифту, отправленном сейчас же, требует он немедленного его приезда; теперь, как никогда, нужен этот могучий союзник, думает Болинброк, и теперь, когда страна находится перед фактом уже почти совершившимся, можно будет открыть союзнику секретные замыслы этих лет, сдернуть завесу с краеугольного камня, посвятить Свифта в грандиозный болинброковский план. Конечно же, Свифт согласится! Ведь успел же Болинброк в первый буквально час своей власти взять у королевы ордер на выдачу Свифту тысячи фунтов из королевского казначейства (об этом сообщается в письме)…

А в дальнейшем – разве не поймет Свифт, какие перед ним блестящие перспективы! Если Болинброк будет английским Ришелье при «претенденте», ставшем королем, то кому, как не Свифту, быть «серым кардиналом» за спиной английского Ришелье…

Так не понимать Свифта (тысяча фунтов!) мог, конечно, только Болинброк.

Но нет у Свифта времени оскорбиться предложением Болинброка или

соблазниться предложением Болинброка (в письме своем обещал также Болинброк обеспечить Свифту английское епископство), ибо того же 28 июля получает он и другое письмо: от отставного министра Оксфорда, удаляющегося в добровольное изгнание в свое поместье в Херфордшире, с предложением разделить с ним его вынужденное уединение.

Что выберет Свифт?

Об этой своей ночи с 28-го на 29-е не оставил Свифт признаний, но 29-го пишет он письмо – результат этой ночи проверки и раздумий.

Не в Лондон это письмо, не Болинброку и не Оксфорду; в Дублин оно адресовано, архиепископу Кингу, с просьбой о продлении своего отпуска, ибо он намерен перед возвращением к своим служебным обязанностям в Дублин провести некоторое время с Оксфордом в Херфордшире.

Таков был выбор Свифта.

Мгновенно понял он, что победа Болинброка – не его победа. И, поняв это, не понял ли он тем самым, какой жалкой иллюзией были эти четыре года? Не мог не понять, ибо катастрофа Болинброка была и катастрофой Свифта.

Да, катастрофа Болинброка! Вот она – в нескольких строчках второго его письма Свифту, полученного третьего августа:

«Граф Оксфорд покинул свой пост во вторник, а в воскресенье королева умерла… Что это за мир, и как издевается над нами судьба!»

Развязка была поистине драматико-иронической.

30 июля у Анны начался последний приступ смертельной ее болезни, 1 августа она умерла. Двух этих дней было достаточно, чтобы виги целиком овладели положением, создали свое временное правительство, захватили все командные посты в стране и объявили, согласно закону о престолонаследии, Георга I Ганноверского королем Англии. Были бы безнадежны все попытки сопротивляться, да они и не предпринимались в этот момент – все живые силы страны стояли за вигов. Партия тори была раздавлена.

А через несколько месяцев Оксфорду и Болинброку было предъявлено обвинение в государственной измене.

И если справедливость обвинения в отношении Оксфорда, заключенного в Тауэр, не удалось доказать, то Болинброк молча признал его, бежав во Францию и приняв пост «министра иностранных дел» у «претендента», еще не оставившего своих надежд.

Вот он, счет, предъявленный Свифту!

О, если б дело обстояло лишь так, что он и его друзья оказались

побежденными поворотом политических судеб!

Но ведь дело обстояло не так!

Грубо, цинично обманут Оксфордом, а в особенности Болинброком в важнейшем вопросе о тайных сношениях с «претендентом»; все эти годы был в положении жалкого орудия, ворчливой нянькой, которую не пускали дальше передней, – вот как обстояло дело.

«Опекун»?

«Беспомощен, как слон…»

Но если вдобавок беспомощный слон обманут этими мышами, то он к тому же и комический слон!

«Я видел письмо декана Свифта, – пишет Арбетнот Попу, – его благородный дух не сломлен, и, хотя побежденный, он сохраняет свою суровую выдержку и готовит удар по своим противникам». Такова первая реакция Свифта на события, и она естественна – побежден, но не обманут.

Однако готовившегося «удара» не последовало, когда стало ясно, что не только побежден, но и обманут, осмеян в самом глубоком, интимном стремлении своем, которому и не четыре года, а больше десяти лет, – стремлении взять в руки метлу, чтоб подметать Бедлам!

Как трудно, как бесконечно мучительно признать, что он действительно так осмеян, унижен, запакощен…

Так трудно, что Свифт и не решился этого признать, по крайней мере в публичных своих высказываниях.

Через три года, в 1717 году, когда нельзя уже было сомневаться в справедливости обвинений, предъявленных если не Оксфорду, то Болинброку, Свифт пишет:

«Я могу убедить лишь тех, кто склонны верить мне на слово: будучи в течение почти четырех лет в самых близких и постоянных отношениях с людьми у власти как в области деловой, так и личной, я ни разу не слыхал от них ни слова в защиту интересов „претендента“, а между тем я все время был особо заинтересован именно в этом вопросе. И если что-нибудь в этом смысле предпринималось, то у меня должно было быть очень мало здравого смысла или мне должно было очень не везти, если у меня не возникло хотя бы подозрения по этому поводу! Можно скрывать свои планы, но вряд ли кому-либо удалось при наличности такой близости скрыть свои мнения. Я никак не могу поверить, что они (Оксфорд и Болинброк) всегда маскировались, находясь со мной… И хотя все сказанное мной имеет значение лишь постольку, поскольку существует личное доверие ко мне, я заявляю, что никогда не изменю своего мнения по этому вопросу».

«Слишком трудно признать!» – слышится в этом крике изнемогающей гордости, в этой горькой жалобе загнанного в тупик человека.

Пусть Свифт действительно в последовавшую четверть века жизни своей не признал, что «изменил свое мнение». Но уже теперь, осенью 1714 года, на пути в Дублин, в Ирландию, ту Ирландию, куда он столько уже раз возвращался побежденным, но в первый раз возвращается и униженным и обманутым в цели, и смысле своей жизни, – уже теперь он знает: грозный счет ему предъявлен.

И не кем-либо, а самим собой: он и кредитор и должник.

И если он сторицей не оплатит счета, что ж, значит, он жалкий банкрот, этот Джонатан Свифт, мечтавший «совершенствовать человечество».

Был оплачен грозный счет сторицей, около десятка лет понадобилось для этого Свифту.



Глава 14
Свифт объявляет перерыв



Что такое побои – известно всем; но что такое любовь – до этого еще никто не додумался.

Гейне

Если его сердце принадлежит другой – могила будет моим брачным ложем!

Шекспир

Друзья! О, друзья Свифта – при его жизни, а особенно после смерти его! Как они его любили и как старались по этой, очевидно, причине сделать его жизнь «интереснее», чем она им казалась.

Но чем же определяется «интерес» человеческой жизни?

Издавна известно всем «друзьям», которые так охотно превращаются в сплетников, особенно когда они друзья великого человека, что этот интерес определяется заключенной в жизни «тайной» – и тем более привлекательна и волнующа тайна, чем большую роль в ней играет половая жизнь человека и все, что с нею связано…

Мистификации Свифта в его общественной, публичной жизни – благодарный материал для любителей тайн. Но что сравнится с радостью их любопытства, когда проникают они в его частную, спрятанную жизнь… Сколько загадок загадал он тут любопытному человечеству, а самой увлекательной и таинственной из них как не считать ту, что сопряжена с таинственными именами: Варина – Стелла – Ванесса!

Обсуждается волнующая загадка. В романтических исследованиях и документальных романах, в догадках средней гениальности и домыслах глубокой проникновенности. Обсуждается она с азартным волнением, словно читаешь детективный роман, лишенный конца; обсуждается она с пошловатым хихиканием – так хихикают лакеи, подсматривая через замочную скважину в спальню своего хозяина; обсуждается она с торжественной псевдоученостью педантов от науки.

Увы! Напрасно все! Не разрешена мучительная загадка и по сей день.

Как печально и гневно смеялся бы Свифт, ознакомься он хоть с одним из сочинений, посвященных этой загадке, и как удивленно подумал бы он:

«Странно, однако… Как раз тут не было никакой загадки, как раз тут все было как нельзя более просто…»

Не было загадки! А три знаменитые сцены, служащие тремя краеугольными ее камнями?

1716 год. Дублин. Библиотека архиепископа дублинского Кинга, одного из лучших друзей Свифта в этот период. Входит в библиотеку без доклада другой друг Свифта, доктор Дилэни. Вздрагивает Дилэни: мимо него и как бы не замечая его, проносится вихрем Свифт, он объят жесточайшим волнением, лицо его трагически скорбно, опрометью, не оглянувшись, не вымолвив ни слова, выбегает он из комнаты.

– Что здесь случилось? – спрашивает охваченный тревожным недоумением Дилэни.

Склонил свою старческую голову на грудь архиепископ Кинг, горячие слезы льются из его глаз…

– Сэр, вы только что видели перед собой самого несчастного человека на свете, – отвечает Кинг, – но заклинаю вас, никогда, ни словом не заикайтесь о том, что вы видели, и не спрашивайте ни у кого о причинах его несчастья!

Дилэни, однако, заикнулся. Ибо о высокотрагической этой сцене рассказал потомству все тот же Дилэни. Можно ему верить, а можно и не верить.

Но любители-детективы, посвятившие свой досуг разгадыванию

семейных тайн Свифта, предпочитают верить.

Предпочитают потому, что с этой сценой связывают они целый комплекс догадок и основную догадку о том, что сцена случилась непосредственно после тайного брака, заключенного между Свифтом и мисс Эстер Джонсон – Стеллой; брак этот совершил, согласно догадке, тот же Кинг, но именно в тайном порядке – свидетелей брака не найдено, никаких письменных документов о нем не осталось.

Но если он и был, этот брак, то в какой мере это важно?

Оказывается, для того нужен был брак, чтоб получила свое психологическое звучание вторая узловая сцена в комплексе загадок.

1723 год. Апрель. Поместье, называющееся «Аббатство Марли», в округе Селбридж, поблизости от Дублина. Обширный сад. Старый мрачный дом со стрельчатыми окнами средневекового монастыря. Одиноко и печально живет в этом доме тридцатитрехлетняя женщина Эстер Ваномри – Ванесса.

Склонив голову, сидит она в напряженном ожидании. Подняла голову, прислушалась, подошла к окну. Она не ошибается, она слышит топот копыт. И вот уже слышны в саду быстрые, гневные шаги. Она бросилась к двери… Да, это он, декан собора св. Патрика, роковой человек ее жизни, Свифт…

Гневно ворвался он в комнату… О, какой у него вид! «Когда природная суровость его лица увеличивалась от приступа его гнева, не было человека, который мог бы устоять перед пылающим его взглядом, нахмуренным лбом, сжатыми губами…» В руке его небольшой пакет. Он подошел к ней молча. Она отшатнулась. Пробормотала замирающим голосом:

– Это вы! Я так рада – прошу вас, садитесь…

Он молча смотрит на нее, все тем же неумолимым, безжалостным взглядом. Кровь отливает от ее лица, руки дрожат. С силой бросает он на стол пакет, медленно разжимает губы, мрачно произносит всего несколько слов, безжалостных, как стук топора, – это слова о том, что никогда в жизни он больше ее не увидит. Она падает в кресло. Не взглянув на нее, он повернулся, уходит. Прошла минута. И слышен удаляющийся, замирающий топот копыт. Пакет на столе. В пакете – письмо. Письмо написано рукой Эстер Ваномри – Ванессы и адресовано в Дублин, Эстер Джонсон – Стелле. Через несколько недель Эстер Ваномри умирает от неизвестной причины.

Эффектная сцена. Беда лишь в том, что неизвестно – была ли она в действительности или не была. Но если она и была, то ведь происходила

она без свидетелей, а сообщил о ней потомству, неизвестно из каких источников, все тот же Дилэни.

Но сошлось большинство разгадывателей тайн на том, что сцена эта была, а также и на том – очень удобно все это укладывается в стройную концепцию, – что в данном роковом письме спрашивавала Ванесса Стеллу, действительно ли она, Стелла, находится в браке со Свифтом. Оскорбленная Стелла, продолжают отгадыватели, пожаловалась Свифту – остальное все понятно.

И следует третья сцена. Не столь эффектная, но зато печальная.

Январь 1728 года. Свифт у постели умирающей, по-видимому от туберкулеза, Стеллы. Он склонился над ней, он что-то прошептал! Она ответила – четко и выразительно, очевидно специально для того, чтобы это было слышно в соседней комнате:

– Слишком поздно…

Свифт вышел из комнаты. А через несколько дней Стелла умерла.

Об этой сцене поведала потомству некая дама, друг Свифта, Марта Уайтвей, состоявшая при нем в качестве покровительницы больного старика в последние годы его жизни; она-то, по ее словам, и была в соседней комнате. И драматическое восклицание Стеллы, сообщает почтенная Марта, было ответом (тут идет уже откровенный домысел) на предложение Свифта Стелле объявить наконец миру о заключенном в 1716 году их тайном браке.

Но увы, установили исследователи семейных тайн, что как раз в эти дни конца января 1728 года Марты Уайтвей не было в Дублине. А другой друг Свифта, священник Шеридан, авторитетно сообщает, что он-то присутствовал при одной из последних бесед Свифта и Стеллы и что дело обстояло как раз наоборот: Стелла умоляла Свифта согласиться на обнародование брака, а он категорически отказался это сделать.

Итак, можно верить или не верить почтенной Марте, можно верить или не верить не менее почтенному Шеридану. Дело вкуса или, вернее, надобности: как кому нужно для его разгадки заманчивой тайны, так тот и верит.

Друзья Свифта – Дилэни, Шеридан, Оррери – поработали хорошо: они позаботились о том, чтобы дать богатый материал добровольным детективам, упражнявшим свое остроумие на расшифровке тайн, завещанных, по их мнению, Свифтом потомству. Ведь помимо этих и подобных сцен воспроизводят они и домыслы еще более эффектные, возникшие еще при жизни Свифта, все на ту же соблазнительную тему об его интимных отношениях с двумя женщинами.

Воспроизводят, конечно, с оглядкой, с усмешкой, с сожалительным покачиванием головой, с тем пафосом негодующего отрицания, за которым скрывается: о, это, конечно, невероятно, но все же, знаете ли, нет ведь дыма без огня…

А самый упорный из домыслов – склонны ему верить и серьезные исследователи – очень удобно объясняет и возникновение «Гулливера», и вообще «человеконенавистничество» Свифта, а тем более его личные дела: Свифт, как вежливо выражаются стыдливые биографы, «страдал органическим дефектом, делавшим невозможным для него нормальную половую жизнь», то есть, невежливо говоря, страдал половой импотенцией. Богатая, конечно, гипотеза. Непонятно только, почему же в таком случае те же биографы считают его морально виновным в безвременной кончине одной женщины и в страдальческой жизни другой…

Есть и другие гипотезы. Не столь богатые, но также обидные. Гипотеза о том, например, что Свифт вообще был развратник, еще в молодости заболевший венерической болезнью. Очень приятно было воспроизвести эту гипотезу об очень неприятном человеке, с тем, конечно, чтобы тут же негодующе ее опровергнуть.

И если не столь обидна, то зато как интересна следующая гипотеза: оказывается, Свифт был незаконным сыном сэра Уильяма Темпла, и вдобавок незаконной дочерью этого же сэра была Стелла! И случилось так, что узнал об этом Свифт как раз после тайного своего бракосочетания со Стеллой… Ну как же в таком случае не «самый несчастный человек на свете…». И как же, узнав об этом обстоятельстве, не написать в качестве мести человечеству «Гулливера»!

Она плетется и дальше, неопрятно-липкая сеть психологических домыслов и фантастических догадок, в различных сочетаниях переплетаются три женских имени – имя Варина присоединяется к именам Стелла и Ванесса… Друзья Свифта, особенно в последние годы его жизни, жадно шепчутся по углам, а после смерти его сервируют всю эту стряпню в своих воспоминаниях и биографиях под аккомпанемент лицемерно-скорбных покачиваний головой.

И опять создается традиция. Уже не только Свифт-«человеконенавистник», уже не только Свифт-«карьерист», возникает еще один облик Свифта – «мастера извращений» – психологических, а то, пожалуй, и физических, Свифта – «мучителя» невинных женских сердец.

«Всякий читатель знает двух женщин, которых Свифт любил и которым причинил он вред, знает так, как будто он их видел своими

глазами. У кого в душе нет образа Стеллы! Кто может быть равнодушен к ней? Нежное и прелестное создание, чистое и преданное сердце! Что вам с того теперь, когда вы уже сто двадцать лет покоитесь рядом с тем, чье безжалостное сердце заставляло ваше так мучительно биться любовью и скорбью, что вам с того, что теперь весь мир восхищается вами, печалится о вас! Тихая женщина, такая прелестная, такая любящая, такая несчастная! Бесчисленны ваши защитники, от поколения к поколению переходит традиционная легенда о вашей красоте и судьбе, мы вдумываемся и мы следуем шаг за шагом за вашей трагедией, вашей прекрасной любовью, вашей чистотой, постоянством, скорбью, вашим кротким мученичеством! Вашу судьбу мы знаем наизусть. Вы – одна из святых английской истории».

Бесцелен спор по существу с автором этих строк, почтенным романистом Уильямом Теккереем. И не в том даже дело, что договорился тут талантливый художник до пошлости, размешанной в сиропе. Характерно, что Теккерей, а за ним и десятки других, воспроизводя созданную Дилэни, Шериданом, Оррери традицию, с искренним благородством возмущаются «жестоким мучителем» Свифтом, превращая его в этакого Джека – потрошителя женских сердец.

Но гораздо примечательней и интересней теккереевских ламентаций на тему «Свифт и женщины» фольклорная легенда на ту же тему, родившаяся в дублинских низах вскоре после смерти Свифта.

«Декан Свифт был великий человек… очень острый язык у него был, и страшно любил он женщин… Однажды ночью послал декан Джека за женщиной, и случилось так, что Джек привел к нему в гостиницу черную женщину, и не видел ее декан до утра, а когда увидел утром ее, подумал он, что это дьявол. И прогнал он Джека. „За что тебя прогнали?“ – спрашивает Джека мать. „Он меня послал за курочкой-молодкой, а я привел ему наседку“, – ответил Джек. Был сын у декана Свифта, и был он замечательным мастаком насчет женщин, и был другой сын у декана, и прозвали его Огневым…»

Далеко Теккерею до художественной лаконичности и острой фантазии этой «биографической новеллы». А что касается соответствия ее действительности, свифтовским ли биографам заботиться о таких пустяках: ведь многие из них с трогательной серьезностью воспроизводили слухи о таинственных незаконных детях Свифта…

Нет дыма без огня! И весь этот густой, удушливый, подчас и зловонный дым, дым от усердной этой стряпни, скрывающий за плотной пеленой своей простую житейскую и элементарную психологическую

правду о личной жизни Свифта, возник и осел он в веках лишь потому, что современники Свифта, и особенно его друзья, никак не могли примириться, что Свифт, любивший Стеллу и связанный с ней тридцать почти лет, не пожелал связаться с ней узами законного, нормального, христианского, гласного брака! Отсюда все: затаенная злоба и гласная клевета, фантастические сплетни, лицемерные сожаления, психопатологические изыскания, эффектные легенды, детективные догадки…

Проще все это, гораздо проще. И в данной области своей жизни Свифт не мог и не хотел насиловать себя, идти на компромиссы со своею этической концепцией.

С 1715 по 1723 год литературно-общественная деятельность Свифта – за одним лишь исключением – как бы прекратилась. Жизнь шла налаженно, банально, внешне спокойно, сводясь к выполнению обычных служебных функций декана собора. А за тем – Стелла, немногочисленный круг дублинских знакомых, писание шуточных стихов, переписка с лондонскими друзьями – и все.

Казалось, исчерпал себя Свифт. Но в действительности лишь вовнутрь ушла огненная активность, тлея под пеплом и ожидая часа взрыва. И вот эти годы передышки и позволяют ознакомиться с очень простой, совсем незамысловатой и психологически достаточно ясной историей отношений Свифта со Стеллой и Ванессой.

Но нужно начать эту историю с упоминания имени мисс Джен Уоринг, в письмах к ней называет ее Свифт – Варина.

С этой сестрой своего университетского товарища Свифт познакомился еще в Кильруте, маленьком ирландском местечке, в те дни, в 1695 году, когда, занимая скромную должность приходского священника, всматривался он в мир, когда он начинал или собирался начать свою «Сказку бочки».

Состоялось знакомство, началась легкая влюбленность. И не таким уж новичком был Свифт в этой области. Еще в студенческие свои годы в Дублине увлекался он ночными похождениями – многочисленны и суровы были взыскания за плохое поведение, налагавшиеся на него и кузена его Томаса университетским начальством. А по выходе его из университета, за те несколько месяцев, что провел он у своей матери в Лейстере, настолько он увлекся некоей девицей Бетти Джонс, что шел даже разговор о браке… Шел слух еще о какой-то девице – известно лишь, что звали ее Элизой, – возможно, что это все та же Бетти…

Вполне нормальный молодой человек, возможно слишком

порывистый и очень наивный. Легкая влюбленность вполне естественно переходит в затяжное увлечение, появляется упрямое, капризное желание жениться на мисс Уоринг.

А она?

Конечно, против ухаживания молодого священника никак не возражала мисс Джен Уоринг – Свифт и красив, и интересен, уже тогда его речь увлекательна и властна. Но все свидетельства о мисс Уоринг сводятся к тому, что была она практической девицей, мещаночкой себе на уме. Он еще очень беден, этот Свифт, виды его на карьеру неопределенны… Не отпускать его, держать на привязи, кокетничать, завлекать, но о браке говорить еще рано, подождем, посмотрим… Ведь он не уйдет! Правда, говорят, он очень учен, этот секретарь важного вельможи, и действительно, мисс Джен не понимает и десятой доли его бурных речей, но – хитро улыбается мисс Джен, с ученым мужчиной как раз легко справиться умной девушке…

А Свифт нетерпелив и порывист. Он не хочет, не может ждать. Она противится? Он говорит, завоюет ее единственным свойственным ему оружием – в отношениях ли со всем миром или с одной женщиной в этом мире, – разумом, логикой.

Два письма Свифта к мисс Джен Уоринг – одно от 1696 года, другое от 1697 года – рассказывают, как завоевывал Свифт свою «Варину».

«Нетерпение свойственно влюбленным… Всякий добивается того, что считает своим счастьем. Страстное желание – как болезнь, и понятно, что люди подобно тому, как они хотят избавиться от болезни, ищут средств удовлетворить свое желание. Я страшно страдаю от этой болезни… то, что составляет сейчас предмет моих желаний, я чувствую, ускользает от меня… Отчего вы не презирали меня с самого начала? Ваше сострадание сделало меня еще более несчастным».

Логика несколько школьная, красноречие, пожалуй, слишком ученое. Но в общем – влюбленный как влюбленный, наивный, даже глуповатый. Как не улыбнуться мисс Джен, читая эти строчки: не уйдет, он на крепкой веревочке!

«Конечно, Варина, у нас слишком пренебрежительное мнение о радостях, сопровождающих подлинную, честную и безграничную любовь; но либо природа и наши предки грубо обманывают нас, либо все остальное под луной – пустяки по сравнению с ней. Сопротивляться с самого начала силе наших влечений – это такое самоотречение, которое может прослыть даже добродетелью… но у любви есть то свойство, что она особенно заманчива в крайностях своих».

Сухой, ученый трактат… Мисс Джен, конечно, было не заметить, как молодой мыслитель стремится обобщить свой опыт, создать этическую норму.

Но вот расширяются глаза мисс Джен, читает она несколько неожиданные, как бы иным почерком написанные строки:

«…Клянусь богом, Варина, вы гораздо более расчетливы, и у вас гораздо меньше девственной чистоты, чем у меня… Вы прекрасно знакомы с интригами и страстями – порукой в этом ваше собственное поведение. Любить и одновременно отравлять любовь излишним благоразумием гораздо хуже, чем совсем не любить. И помните, что, если вы и в дальнейшем будете отказываться стать моей, вы быстро и навсегда потеряете того, кто решился умереть – как и жил – вашим».

Пока очень обычна и примитивна вся история. Вот разве только причуда у Свифта. Правда, когда любят, всегда дают прозвища своим возлюбленным – уменьшительные, ласкательные. Если Джен – значит, Дженни, Дженет, Джи, но почему – «Варина»? Единственный необычный штрих в этой обычнейшей истории.

Два с лишним года проходят. Джонатан Свифт получил место. Для него это почти поражение, но на сторонний взгляд ларакорский приход совсем не плох: почти триста фунтов дохода, виды на будущее, он уже, кстати, и доктор богословия. А она моложе не стала за эти годы – не пора ли дернуть за веревочку?

Она дернула. Было написано Свифту письмо в 1700 году – оно не сохранилось, дошел лишь его ответ на это письмо.

Странно, странно, что расчетливая мещаночка в клочья не разорвала это письмо.

Не посмела?

«…Как ваше здоровье? Поправилось ли оно после того, как доктора не советовали вам вступать в брак? Теперь вы думаете об этом иначе? А умеете ли вы вести домашнее хозяйство, располагая доходами, пожалуй, меньше трехсот фунтов в год? Есть ли у вас такая склонность к моей особе, что вы сумеете приспособиться к моим желаниям и способу жизни и быть при этом счастливой? Готовы ли вы подчиниться тем методам вашего духовного и умственного развития, которые я буду проводить для того, чтобы мы были интересны друг другу и не скучали в те моменты, когда мы не ходим в гости или не принимаем гостей? Сумеете ли вы относиться к окружающим с любовью, интересом или безразличием сообразно тому, как я к ним отношусь? Буду ли я иметь такую власть над вашим сердцем, или сможете ли вы настолько владеть вашими чувствами, чтобы быть всегда в

хорошем настроении в моем присутствии? Настолько ли вы добры, чтоб уметь ласковыми словами рассеять плохое настроение, могущее возникнуть из-за жизненных мелочей? Будет ли для вас та дыра, куда судьба забросит вашего мужа, желаннее, чем большие города без него? Таковы вопросы, которые я всегда имел в виду предложить той, с коей я намереваюсь связать мою жизнь; и если вы можете в чистосердечии ответить на них утвердительно, я буду рад иметь вас в своих объятиях, невзирая на то, красивы ли вы, богаты ли вы. Чистоплотность, во-первых, деловитость, во-вторых, – это все, что я требую».

Если не знать, что строки эти написаны Свифтом, как не сказать, что писал их тупой мещанин, филистер, педант, самовлюбленный и ограниченный человек!

Однако под мещанской деловитостью и эгоцентрической сухостью письма не кроется ли злая, мистификационная свифтовская издевка? Ведь в такой же манере написан спустя несколько лет «Проект об уничтожении христианства»…

И не только издевка.

Понимает, конечно, Свифт, что утвердительные ответы на анкету ничего не означали бы. И в какое затруднительное положение поставили, бы Свифта ответы мисс Уоринг – да, согласна, да, согласна!

Но он ничем не рисковал. Был он уверен, что утвердительных ответов не последует, что вообще не последует ответов, – и на этом кончается существование в истории мисс Джен Уоринг. Но был он также уверен – и тут скрытый смысл для самого Свифта этого странного письма, смысл более глубокий и важный, чем мистификационная издевка, – что есть рядом с ним женщина, которая ответила на такую анкету – ранее того, как она была задана, – ответила всем существом своим, светлой радостью и прекрасной любовью; и ей-то просто не приходилось задавать эти вопросы, все было ясно само собой…

Ибо, адресуя эти строки Варине – мисс Джен Уоринг, рассказывает Свифт о самом себе, в деловитых и сухих формулах, об отношении к нему мисс Эстер Джонсон – Стеллы…

Не Эстер, а Стелла.

Пустяк. Не больше как пустяк. Однако характерен он для человека, для которого любить женщину – это значит создать ее всю, вплоть до необычного имени, заново и – в мечтах хотя бы – по образу и подобию своему. В отношении Варины дело и ограничилось одним лишь именем, но не в отношении Стеллы.

Эстер Джонсон родилась в 1681 году – Свифт старше ее на

четырнадцать лет. Мать ее – камеристка, старшая горничная у леди Джиффард, сестры сэра Уильяма Темпла, а отец неизвестен. Но есть достаточно оснований предположить, что девочка была незаконной дочерью сэра Уильяма. Тут характерен и тот факт, что она за время своего детства и отрочества находилась в особом положении, и тот факт, что в завещании своем оставил ей сэр Уильям довольно значительную сумму, не упомянув и словом о ее матери. Не так это, впрочем, важно, и нет данных утверждать, что именно это обстоятельство обратило внимание Свифта – сначала в Шиине, а потом в Мур-Парке – на хорошенькую черноглазую девочку, бегавшую по саду.

Был он сам еще очень молод, был обидчив, чувствителен, нелюдим и, помимо всего прочего, очень одинок. Проводить время со способным, приятным, неглупым ребенком, следить за ее ростом, помогать ее развитию, отыскивать подходящие для нее книги, обучать ее сложному искусству английской орфографии (и никак не удалось ему научить ее грамотно писать) – все это Свифту не только интересно, но и приятно… В такое развлечение можно втянуться, такое развлечение можно полюбить…

А объект развлечения, смышленая девчонка, конечно, нежными, по-детски влюбленными глазами привыкла смотреть на своего не то учителя, не то друга.

Время шло. Восьмилетняя становится семнадцатилетней, а ему – не то учителю, не то другу – тридцать один.

Столь же естественно, сколь и незаметно, отношения их приобретают новый характер.

«Сказка бочки» написана на предмет «совершенствования человеческого рода», но как не увидеть, что до «человеческого рода» нужно еще добраться, а вот один человек перед ним налицо… И этого человека он действительно сделал, воспитал, старался и старается совершенствовать, учить, на него влиять, превратить его в своего, свифтовского человека.

Человек этот – молоденькая, хорошенькая девушка? Тем лучше. Любовь? Бесспорно. Свифт – молодой, здоровый мужчина. Ему принципиально дорога именно такая любовь – умная, сознательная, оправданная свифтовским разумом, включающая в себя такой важный для Свифта элемент овладения душой человека, – разве можно сравнить ее с чисто физическим, а потому и унизительным для Свифта влечением к Варине…

А она?

Но как же восемнадцатилетней девушке не влюбиться в этого

сильного, яркого, мужественного человека, да еще если эта девушка жила все отроческие свои годы под его властным моральным и умственным влиянием.

Сэр Уильям умер. Эстер Джонсон – совершеннолетняя, получает благодаря завещанию материальную независимость. Положение ее при вдове сэра Уильяма и сестре ее леди Джиффард, у которой мать Эстер остается в услужении, не может быть приятным.

И когда Свифт поселяется в Ларакоре в 1700 году, Эстер Джонсон связывает с ним свою судьбу, следует за ним в Ирландию, поселившись неподалеку, в городке Триме.

И в этот момент – несколько раньше или позже – пишет он свое примечательное письмо к Варине.

При всей внешней его сухости, при бухгалтерской как бы рассудочности – это ликующее, победное письмо.

«Вы, Варина, ничтожное, расчетливое существо, смели думать о нашей общей жизни… Но нужно быть совершенно другим, „моим“ человеком, чтоб иметь на это право, а вы лишь случай, но, Варина… другой же человек есть, почти мной созданный, не только в смысле имени. И для него то, что вам и другим может показаться сухой, эгоистической анкетой, содержание всей жизни. Отойдите в сторону, Варина, исчезните, уступите место Стелле».

«И, – это уже не к Варине обращение, а к самому себе, – тем более могу я гордиться Стеллой, что она, которая с такой восторженной радостью, одним дыханием ответила бы „да“ на все вопросы анкеты, она знает, что я не намереваюсь сочетаться с нею браком».

Так возникает знаменитая свифтовская «тайна», для разгадки которой были мобилизованы на протяжении двух веков психологи и психопатологи, неврологи и психиатры, исследователи, литературоведы, романисты, драматурги.

«Почему Свифт не женился на Эстер Джонсон? Это же противоестественная нелепость!»

Совершенно верно, нелепость. Гораздо естественней было бы, если б ларакорский священник, имеющий уже определенное социальное положение, прочный и вполне достаточный для семейной жизни доход, совершил бы нормальный обряд бракосочетания с женщиной, которую он любит, в любви которой он уверен, вместо того, чтобы, давая пищу сплетням, идя на всяческие бытовые и прочие неудобства, жить раздельной с ней жизнью. Идти на «не освященную церковью» связь священнику этой

церкви, да еще без всяких видимых к тому причин, – как же не нелепость!

Вот и ищут всяческих скрытых причин – вплоть до «импотенции» или «кровного родства».

Но причины – они тут же, рядышком лежат, и они достаточно видны для каждого, кто хочет видеть.

Разве не высказывался Свифт неоднократно и очень категорично в своих сочинениях, что он вообще против брака…

Но ведь это «сочинения», а то – жизнь!

В этом все дело: никак нельзя отделять у Свифта его жизнь от творчества, нельзя прокладывать водораздела между жизненным и творческим его путем. Нет писателя Свифта вне человека Свифта – и наоборот: полное слияние. Едиными движущими мотивами определяется интимно-личная его жизнь и общественно-литературная его деятельность. Свифт – везде Свифт и всегда Свифт, нет у него двойной бухгалтерии, раздельно веденных счетов. Поступать так, как он считает правильным, – вот единый моральный закон, управляющий всеми сторонами его жизни, и в мелочах и в важных вещах; избегать компромиссов с самим собой – вот его властная цель.

Творчество его – это и есть поступок. «Сказка бочки», «Размышления о палке метлы», памфлеты «Экзаминера», затем ирландские памфлеты, «Гулливер» – все это его поступки, психологически такие же закономерные, как и жизненные его поступки в узком смысле слова. И если Свифт заявляет не однажды в своих сочинениях, что он вообще против брака как формы общественной жизни, то он и не заключает брака.

Не более нелепа эта, на взгляд мещанина, «нелепость», чем его поведение в отношении лидеров вигов в 1704–1709 годах и его «опекунство» в 1710–1714 годах. И нет потому оснований выделять именно эту нелепость, представлять ее более загадочной, чем все остальные «загадки» жизни Свифта…

Целостность личности в большом и малом – она всегда таинственна, загадочна и в конечном счете нелепа для тех, кто компромисс и измену себе считает – осознанно или инстинктивно – основным законом жизни…

С радостью думаешь, что Свифт не обманулся в Стелле: победа его личности и мировоззрения была в данном случае полна и ничем не отравлена.

Конечно, Эстер Джонсон, молодая, привлекательная, неглупая девушка, легко могла бы вступить в обычный брак; будь на месте Свифта кто угодно другой – разве не настаивала бы она на нормальном в таком

случае ходе вещей?

Но Свифт воспитал ее. Сумел ее убедить, что он – Свифт – человек своей мысли, своей морали. Сумел внушить ей уважение к своей мысли и морали. А здравый смысл, четкий и сильный, у нее был. Чутье психологической реальности у нее было. Она и сделала все выводы из положения: можно уйти от Свифта, но если действительно содержание твоей жизни – твое чувство к нему, тут уж не приходится думать о том, чтобы все было «как у людей». Решение было принято мужественно и сознательно. Где же здесь «трагедия», где «мученичество»?

И о решении своем Стелла не пожалела. Ибо предоставилась ей однажды легкая возможность отказаться от решения, изменить судьбу, и без колебания не только отбросила она эту возможность, но как бы еще раз сказала Свифту и себе: «Да!»

Молодой священник, живший в городе Триме, Уильям Тисделл, введенный Свифтом в дом Эстер Джонсон – дело было в 1704 году, – решил, что эта привлекательная дама будет хорошей для него женой. В отношения Свифта и Стеллы он не был посвящен и добросовестно полагал, что Свифт не более как старый друг, чуть не опекун двадцатитрехлетней девушки. Тисделл намекнул Стелле о своих намерениях, намек был встречен, очевидно, уклончиво. Он решил тогда обратиться к посредничеству Свифта – тот был тогда в Лондоне. Характер письма Тисделла можно понять по ответу Свифта. Свифт написал обстоятельный ответ, и Свифт понимал, что у Тисделла все основания показать его письмо Стелле, возможно, и хотел этого, для того и писал.

Холодной, язвительной мистификацией дышит это письмо.

Напрасно думает Тисделл, что он, Свифт, в какой-либо мере ему соперник. Он, Свифт, глубоко уважает даму, о которой идет речь. Настолько, что будь он расположен жениться, то не мыслил бы для себя другой жены, чем мисс Джонсон, – «ибо я не встречал еще человека, беседы с которым представляли б для меня такую ценность, как беседы с ней… я должен прибавить, что хотя мне приходилось встречаться чаще, чем это бывает обычно с людьми нашей профессии, с дамами, занимающими высокое положение, я ни у кого не видел такого юмора, здравого смысла и верной оценки людей и событий, как у нее». Но поскольку он, Свифт, сам не намерен вступать в брак, то – «мое сожаление о потере такого друга, как она, не будет стоять на ее пути, и я отнюдь не хочу мешать ее устройству в жизни, ибо брак считается необходимой и важной вещью в жизни, а ореол девственности тускнеет с течением времени в чьих бы то ни было глазах, кроме моих». Продолжая

мистификацию, он пишет далее, что говорил с матерью мисс Джонсон о желательности этого брака и писал ей самой об этом: «Я ссылаюсь на мои письма к ней, свидетельствующие, что я вел себя как ваш друг в этом деле, хотя я и ограничиваюсь чисто пассивной ролью». Письма, о которых говорит Свифт, не сохранились. Но это письмо его Тисделлу – оно ведь косвенно Стелле адресовано. И, будучи жестокой мистификацией в отношении Тисделла (Свифт не умеет ревновать, но ведь злобной издевкой насыщены его строки), письмо это в известном смысле жестокий вызов, брошенный Стелле. Он опять подтверждает, что не изменит своего плана и образа жизни, и предупреждает – еще не поздно! – она может изменить свое решение и из Стеллы стать обычной женщиной, вступившей на нормальный для каждой женщины житейский путь. Свифт стремится к полной ясности в отношениях, и послание к Тисделлу – оно в той же тональности, что и письмо к Варине.

И если бы приняла Стелла предложение Тисделла, пересмотрев свое решение, что ж, Свифт отошел бы в сторону: значит, он ошибся, значит, мисс Эстер Джонсон не стала до конца Стеллой.

Тисделл не мог оценить письмо иначе как аргумент в свою пользу, если показать его Стелле; у Стеллы – не пройди она школу Свифта – были все основания жестоко оскорбиться, ознакомившись с письмом. Но именно теперь отвечает она Тисделлу решительным отказом. Тут и кончается инцидент, если не считать юмористически-злобных стихов по адресу Тисделла, написанных Свифтом, – с особым удовольствием читает он их Стелле.

Итак, Свифт еще раз победил, верней, подтвердил свою прежнюю победу… Мисс Эстер Джонсон осталась до конца дней своих Стеллой.

Вот где гордость и радость ее жизни! Обычный, средний, в сущности говоря, человек, понимает она, что быть подругой Свифта – это и трудно, и прекрасно. Страшен и труден бытовой уклад их жизни: он в Ларакоре, она с компаньонкой в Триме; лишь когда он в отъезде, переселяется она в Ларакор, в его дом, чтобы вновь вернуться в Трим по его приезде; они очень редко видятся наедине; в присутствии друзей Свифта, часто посещающих домик в Триме, они не более как добрые знакомые; сплетни маленького городка все же не оставляют ее в покое. Но что это значит для нее, если она единственное существо на свете, с кем до последних глубин близок такой особый, такой обаятельный в своей властности и всегда новый в своей обаятельности человек! Он саркастичен и зол даже с ней, но безмерно богата его нежность, речь его жестка, но каждое слово входит в душу, волнует, звенит, синий блеск его глаз иногда нестерпим, но какое

счастье, когда оттаивают и смеются ласково глаза…

Свифт сумел через несколько лет завоевать обаянием своей личности все лондонское общество, в эти ларакорские годы лучи его обаяния направлялись к одному лишь существу, чувствовать себя центром этих лучей – где большее счастье!

Стелла была счастлива в эти годы…

А он с нею откровенен, как ни с кем. Весь смысл жизни Свифта был в том, чтоб во всеуслышание сообщить миру свое, ничем не разбавленное мнение о мире. Но только говоря со Стеллой, мог разрешить он себе роскошь думать вслух о себе в этом мире. Так родился его внутренний монолог – «Дневник для Стеллы».

Красноречиво и значительно все, что непосредственно относится к Стелле в этом «Дневнике». Но еще чаще, с гордостью еще более торжествующей и радостью еще более острой, вчитывается и перечитывает Стелла свифтовскую беседу с самим собой, к которой приглашает он ее прислушаться.

Уже много лет она со Свифтом, когда получает первые письма «Дневника»: ей ли не понять и не знать обостренную чувствительность его во всем, что касается деталей повседневного его быта, его инстинктивное стремление спрятать даже от себя печальное сознание, что и он, Свифт, подвержен мелким, вульгарным человеческим слабостям; в своем общении со Стеллой до «Дневника», вероятно, удавалось Свифту их скрывать, если не от себя, то от нее, – тут и нужно искать одну из причин ненависти его к браку, – и вот теперь Свифт весь перед ней, и слышит она со страниц «Дневника» самый интимный его шепот, самый затаенный крик… Конечно, никогда прежде не был Свифт так безудержно, без оглядки близок с ней, как сейчас, когда он в Лондоне, а она в Дублине, и слова его, уже ничем не огражденные, слышит она так явственно…

И тут не злорадство Стеллы – вот он такой же маленький, как мы. Все дело в высказанном им между строк «Дневника» согласии доверить Стелле все свое – вот что должно было ее вознаградить за принятое когда-то решение, если нуждается в вознаграждении любовь.

А когда она читает: «Я беспомощен, как слон», – в изумлении и восторге всплескивает она руками: он объяснил себя до конца, спутник и властитель ее жизни, и не только объяснил, он оправдал себя, если она затаенно и робко в чем-либо когда-нибудь винила его…

И любовь его к Стелле – говорил ли он раньше о ней так открыто и самозабвенно, с такой трогательной, наивной нежностью, как теперь, в этих письмах, когда сдержанности, столь присущей им в личном общении,

больше нет. Может ли она усомниться в его заверениях, что дороже всего ему ее счастье? Как дороги ей эти заверения, высказанные как бы и ворчливо: Свифт стеснялся и по инерции пытался маскировать свое чувство даже и тут, и нельзя все же было не заметить, как сильно его чувство; нельзя не заметить тех редких, но очень подчеркнутых строчек откровенной, грубоватой даже эротики, написанных условным «маленьким языком»… Была ей дорога и привычная его манера подшучивания над ней, подчас даже обидного, – и над тем, что напрасно он беседует с ней о политике, в которой она ничего не понимает, и над тем, что слишком много орфографических ошибок в ее письмах – Свифт их аккуратно подсчитывал, в одном письме он приводит целый список, – и было ей дорого в следующем письме его тревожное опасение – не обиделась ли Стелла всерьез, ведь он только шутил!

Но ведь все это обычно до банальности?

В том-то и дело. И если бы вдобавок письма Свифта были адресованы не Эстер Джонсон, а Эстер Свифт, – вся так называемая «свифтология» лишилась бы сенсационнейшей своей темы.

А как же Ванесса?

История отношений Свифта и Ванессы, возможно, и печальная, но, увы, в основе своей также весьма обычная история, отнюдь не таящая в себе каких-либо тайн.

У миссис Ваномри, вдовы богатого голландского негоцианта, был в Лондоне открытый дом, на Бэри-стрит, по соседству с первой лондонской квартирой Свифта. Сыновья ее жили вне Англии, две дочери, старшая, Эстер, родившаяся в 1690 году, и младшая, Молли, были с нею.

Дом миссис Ваномри не великосветский – дом жены голландского негоцианта, не более, но очень гостеприимный и, очевидно, приятный дом; вина и яства не сходят со стола, в гостиной толпятся посетители – знатные лорды, светские молодые люди, высшие чиновники, поэты, епископы и каноники, военные банкиры из Сити… Бывать у миссис Ваномри, дамы веселой и легкомысленной, если и не особо почетно, то приятно, а иногда и полезно.

Свифт был введен в этот дом приятелем своим Эразмусом Льюисом еще в 1709 году. Когда он приехал в Лондон в конце 1710 года и случайно поселился вблизи миссис Ваномри, знакомство возобновилось и укрепилось, Свифт стал постоянным посетителем. И в «Дневнике» он на первых порах аккуратно сообщает о посещении своих «соседей», о том, что достаточно часто, пожалуй, не меньше двух раз в неделю, там обедает.

Вполне естественно, если нет особых дел в городе, если день дождливый, почему не пообедать у любезных соседей? Тем более что это сокращает лондонские расходы, о чем он даже с гордостью упоминает в «Дневнике».

Но Стелла как-то сразу заинтересовалась этими его знакомыми: жизнь Свифта в Лондоне привлекала внимание всего дублинского общества, и не один ведь Свифт писал из Лондона в Дублин. И в своем письме № 8 Свифт с очевидной досадой отвечает на какой-то насмешливый намек Стеллы в одном из ее писем: «Что вы имеете в виду, намекая на даму, живущую неподалеку от меня, у которой я часто обедаю? Что за черт! Ведь вы знаете лучше меня, с кем я обедал ежедневно за все эти дни…»

Как бы там ни было, еще в одном письме, за № 14, в записи от 14/II 1711 года, мельком упоминается о дочери миссис Ваномри, и снова беглое и небрежное упоминание о ней через полгода – 14 августа. И это все.

Стелла как будто не должна беспокоиться. Не сообщил ли он ей в одной из ранних записей, еще от 10 ноября 1710 года: «Мне теперь не нравятся женщины так сильно, как раньше (МД, как вы знаете, не женщина!)…» Свифт, пожалуй, не догадался, что Стелла могла и обидеться на заключенную в скобки его фразу – для него она была комплиментом, но не было у ней тогда оснований не верить в правдивость свифтовского высказывания.

Однако, если б зашла речь на эту тему хотя бы в середине 1711 года, Эстер Ваномри могла бы, вздернув свой пикантный носик, знающе улыбнуться.

Бойкая, миловидная, совсем не глупая девица. Пишет стишки, знает языки, читала даже Монтеня в оригинале. Умеет мило болтать и о политике и о литературе, наслышавшись и о том и о другом от своих гостей; быстро все воспринимает своим совсем не глубоким и не оригинальным, но очень подвижным умом; чрезвычайно тщеславна, капризна, кокетлива, скрыто истерична и, конечно, имеет значительный успех в обществе и думает лишь о том, как бы его увеличить…

Доктор Свифт постоянный посетитель их дома. Он даже хранит там, не полагаясь на Пагрика, свое вино; когда он живет летом за городом, не имея городской квартиры, то у них в доме находится его нарядный парик и парадный костюм…

И он совсем не тот мрачный, неприятный священник, с которым познакомилась она в 1709 году. Ведь он сейчас самый модный человек в городе… Она знает, как горды знатные дамы, когда удается им залучить его в свои салоны; она слыхала, да и была свидетельницей своеобразного его обхождения со знатными дамами, хотя бы с приятельницей ее Энн

Лонг, королевой Кит-Кэт клуба, та ведь чуть не в рот ему смотрит; и она осведомлена, конечно, какую роль играет Свифт в государственных делах; наморщив лоб, она читает и «Экзаминер», и его памфлеты, и стихи и даже умеет вовремя процитировать их…

Несомненно, он очень интересный, самый интересный среди ее знакомых человек. И даже внешне интересный: гордая посадка головы, синий блеск холодных глаз, саркастическая улыбка, мерная, властная речь…

Она знает, что его очень боятся. Но только не она. На его остроту всегда находит она ответную, насмешливая его суровость парируется кокетливой ее веселостью. Активно флиртует и кокетничает с ним и видит – в этом не может ошибиться женщина, – что это ему нравится!

Так оно и было.

Конечно, понимает Свифт: нравится ему эта девушка, помимо прочего, также и потому, что очень изящно, очень тонко умеет ему льстить.

Как внимательно и вдумчиво слушает она политические его рассуждения, как умеет оценить их улыбкой, ловкой репликой! Великолепная ученица!

Ученица? У него уже была одна… Что ж, будет и другая, проходящая ускоренный курс обучения. Эстер становится Ванессой.

Победителем людей чувствует себя Свифт в эти лондонские годы. Должен ли он отказываться еще от одной победы, от этого наслаждения, еще раз ему представившегося в жизни: воздействовать на молодую душу, повторить опыт со Стеллой.

Не весь опыт, не до конца. Этого Свифт как раз не хочет.

Но разве влюбленность ученицы в учителя является необходимым элементом опыта?

В 1713 году, по возвращении в Лондон из Ирландии, было им написано своеобразное произведение. «Каденус и Ванесса» – называется оно. Большая поэма, без особых поэтических достоинств, но с несомненными достоинствами автобиографического свойства – рассказана в ней история отношений Свифта и Эстер Ваномри: Каденус – анаграмма латинского «Деканус» – декан.

Жестокая поэма – откровенностью своей и безжалостной объективностью. Жестокая и в отношении Ванессы и самого себя.

Свифт рассказывает, как было дело. Конечно, он и не думал, влюбляться в молодую девушку. «Он мог хвалить, одобрять, уважать, но не понимал, что значит любовь» (поэма говорит о нем и о ней в третьем лице).

Но Ванесса говорит Каденусу: «Ваши уроки нашли самую незащищенную мишень – они были направлены к разуму, а попали в сердце». Каденус мечтал об интеллектуальной дружбе между учителем и ученицей, но Ванесса, сообщает поэма с бестактной откровенностью, «Ванесса, которой едва минуло двадцать, мечтает о сорокачетырехлетнем священнике, находит воображаемую прелесть в его глазах, почти уже ослепших от чтения, Каденус не кажется ей стареющим, болезненным человеком, она считает его молодым, в голосе его она слышит музыку…».

Он возражает, он всегда смотрел на нее как на дочь и гордился ею, как гордится учитель талантливым учеником, но напрасно: Ванесса настаивает на своем чувстве.

Но она горячо спорит с ним, применяя ту самую логику и красноречие, коим он научил ее. И —

«К своему стыду и скорби, Каденус не сумел оказать сопротивления пламени Ванессы, не хватило сил счесть ее аргументы ложными… и заговорила его гордость: ведь он предпочтен десяткам молодых красавцев… еще в школе учат, что лесть – это пища дураков, но иногда и умные люди не могут устоять, чтоб не проглотить кусочек этой пищи».

Сопротивление его ослабевает, продолжает поэма, а Ванесса становится все настойчивее, заявляя, что «положение их изменилось, и теперь она будет учителем, а он учеником». Что же последовало? – Поэма не оставляет сомнений на этот счет. «Одержала ли Ванесса победу – это останется для мира тайной, и человечество никогда не должно узнать, продолжала ли нимфа, чтобы нравиться своему пастушку, вести себя на романтический лад, или в конце концов он снизошел до того, чтобы поведение его имело в виду более земные цели, и таким образом, любовь и книги слились воедино». Зачем было написано это своеобразное, верней, ни с чем не сообразное произведение? Было оно написано для одного человека – Ванессы – и имело очень конкретную и четкую цель: существовать не как литературное произведение, а быть поступком, как были поступками письмо к Варине, письмо к Тисделлу. И не вина Свифта, что было оно воспринято единственным своим читателем только как литературное произведение.

Да и для окружающих отношения эти не составляли уже секрета: вслух говорилось об ожидаемом браке Свифта и Ванессы, и она делала все возможное, чтоб, во всяком случае, «свет» знал, что она возлюбленная Свифта: это и льстило ее тщеславию, и было также одним из способов, чтобы добиться брака… Тайна, которую «гарантировал» Свифт в поэме, была ей, по существу, не нужна.

Но Свифт не хотел этого брака. И не только из-за Стеллы. И не только потому, что он вообще против брака. Но и потому, что он Ванессу не любил.

В середине 1713 года Свифт покидает Лондон. Ванесса протестует, но поездка необходима, и притом ведь он вернется, и тогда…

И забрасывают Свифта письмами с требованиями возвращения не только Льюис и друзья его, но и Ванесса.

Он возвратился. И пишет свою поэму. Читает ее Ванессе. Свифт считает, что его поэма-поступок должна ликвидировать всю историю, закончить отношения его с Ванессой. Вот ведь он все объяснил; неужели же объективный рассказ о происшедшем не убедит героиню поэмы, что нужно все это кончить? Свифт верен себе, он просто не мог иначе поступить, все свое отношение к миру, всю деятельность свою строит он – так кажется ему – на примате разума, почему же должен он изменить себе в данном случае? Памфлетом «Поведение союзников» сумел он убедить всю Англию в необходимости заключения мира, как же не сумеет он убедить памфлетом «Каденус и Ванесса» всего одну лишь женщину в деле менее «существенном»? Разве она не ученица его, разве не гордится он ее интеллектом – об этом достаточно говорится и в поэме.

И с фантастической наивностью думает Свифт, что теперь, когда он так прекрасно и откровенно все объяснил, Ванесса все поймет, улыбнется, расстанется со своими иллюзиями и планами, и они расстанутся в общем друзьями: от «интеллектуальной дружбы» с Ванессой он и не думает отказываться…

Все учел Свифт, сорокашестилетний мыслитель, перед светлым разумом, силой убеждения, ясностью мышления которого склонялась вся Англия, – за исключением одной лишь мелочи: Ванесса влюбилась в него так, как может влюбиться капризная, своенравная, избалованная девушка.

Свифт начинает тогда понимать: не так все это просто.

Но нынешнее пребывание его в Лондоне ведь временное, так или иначе он вернется в Дублин, и эта история, непонятно и неприятно затянувшаяся, окончится сама собою…

И однако умирает мать Ванессы, она – совершеннолетняя, одинокая, не считая младшей сестры, и, кстати, ею унаследована в Ирландии земельная собственность, требующая наблюдения. Почему бы ей не переехать на постоянное жительство в Ирландию?

Свифт уезжает в Леткомб. Ванесса появляется и там, нарушая его уединение. Достаточно неприятная беседа происходит между ними: всей силой своей логики доказывает он ей, что бессмысленна ее поездка в

Ирландию. Возможно, он обещает ей, что вернется в Англию.

Не помогают уговоры. Каприз, оскорбленное самолюбие, упрямство – как это ни назвать – превратились в истерическую страсть, сжигающую девушку. Через три месяца после того, как Свифт вернулся в Дублин на свой пост, приезжает в Дублин и Ванесса.

Печальная, во многом неприятная, банальная в общем история. Нет нужды, да и возможности отрицать: не украшает она жизнь Свифта. И однако не остался ли он и здесь самим собою, не желая считаться с тем, что, по его мнению, внешняя оболочка жизни; действуя, рассуждая и думая так, как если бы шла речь не о человеческих отношениях, а об умозрительной, отвлеченной проблеме…

Печально-банальная история. И очень медленно, унизительно-надоедливо движется она к неизбежному своему концу.

Не триумфатором появляется Свифт в Дублине осенью 1714 года. Появляется моральный лидер побежденной, раздавленной, обвиненной в государственной измене партии. И естественно, что местное английское общество – политические, церковные, чиновничьи круги, все они виги, – встречает его не только со злорадством, с насмешкой, но даже и враждебной демонстрацией, а в лучшем для него случае с чувством жалости, и это обидней и страшней всего…

Приезд Ванессы был иронически-добавочным штрихом неприглядной картины.

Можно ли скрыть этот скандальный факт? И тогда уже, в 1700 году, появление Стеллы в Ирландии дало пищу сплетням. Но ведь был тогда Свифт мало кому известным провинциальным священником, теперь он человек, о котором знает вся Англия, занимающий почетный пост в англиканской церкви, – какой простор для злорадной, гадкой сплетни!

И тут же – Стелла! Что скажет Стелла?

Свифт мог высоко держать голову, когда могуществом своей личности, силой убеждения, сумел он внушить Стелле, что ради любви и уважения Свифта должно отказаться от принятых норм общежития. Но было так лишь потому, что всем сердцем и кровью своей поверила Стелла, что Свифт – иной, особый…

А теперь? Оказался ее герой – как этого не увидеть – отнюдь не иным, совсем не особым… Но тогда рушится вся система их отношений, существующая столько лет…

Свифт не может этого не бояться. И это должно волновать его больше всего.

И по-человечески естественно, что первая реакция его на приезд Ванессы – резкое, грубое письмо, направленное ей. Он заклинает ее оставить Ирландию, с жестокой откровенностью заявляет он, что не намерен с ней встречаться.

Ванесса все же добилась свидания. Свифт не преминул повторить ей устно свое письмо. Но, по-видимому, он все же не устоял перед ее натиском, дал ей кой-какие обещания. И она пишет:

«Вы просили меня успокоиться, сказали, что будете встречаться со мной, поскольку сможете. Вы должны были сказать – поскольку сумеете преодолеть свое нежелание, поскольку вспомните, что я существую на свете. Но если вы и в дальнейшем будете так относиться ко мне, вам не придется долго беспокоиться. Я не могу описать мои чувства с того момента, как видела вас, я уверена, пытка была бы для меня легче, чем эти ваши убийственные, убийственные слова. Я решила было умереть, не увидев вас больше, но, увы, это решение, к вашему несчастью, длилось недолго».

Прочитав эти унизительные и унижающие строки, должен был Свифт застыть в тягостном недоумении перед загадочностью человеческой психики, побуждающей умного и гордого человека так писать, так чувствовать, превратиться в такое жалкое существо, вернее, жалкого, капризного ребенка, у которого отняли игрушку. Но ведь тут одержимость! И одержимость любовью – она такова же во всех ее признаках, как одержимость мистическим экстазом, о которой писал он с таким ненавидящим презрением уже давно – семнадцать лет назад – в «Сказке бочки».

Что же это значит? Только то, что он ошибся. Ванесса оказалась не «Ванессой». Как и Болинброк оказался не тем, что он думал, как и он сам – Свифт – оказался после четырех своих лондонских лет обманутым дурачком.

Что ж делать? Признать, что увеличился предъявленный ему жизнью счет, который нужно уплатить…

Развязка печально-банальной истории затянулась. А пока все как-то обошлось.

Очень разумное поведение Стеллы этому помогло.

Как не подходит она для навязанной ей роли «мученицы»! Разумный, волевой, большим запасом здравого смысла и характерного юмора наделенный человек, многому научившийся у Свифта – такова Стелла. И она понимает Свифта, как никто. Ведь только она читала «Дневник для Стеллы». И если смотрела она раньше на Свифта снизу вверх, то теперь,

когда предстала перед ней «беспомощность слона», умеет она несколько по-другому видеть его: с теми же любовью и уважением, но и с некоторой дозой покровительственного, снисходительного материнского отношения, а пожалуй, и с легкой примесью нежной иронии. Ревнует, конечно, но умеет это делать шутя, насмешливо. Ведь понимает она – тут не только ум, но словно шестое чувство, – что самое страшное и ненавистное для Свифта – сознавать себя в моральной зависимости, в плену чего бы или кого бы то ни было. Не опасна ей Ванесса, ибо покушалась Ванесса на Свифта, угрожала его независимости.

И, понимая это, Стелла прячет ревность и не стремится обострять положения. Несколько лет спустя, когда ее соперница и физически сошла со сцены, в присутствии Стеллы и в присутствии, конечно, Свифта, кто-то сказал, намекая, очевидно, на свифтовскую поэму:

– Как прекрасно писал декан об этой даме!

– Декан умеет писать прекрасно о чем угодно, даже о метле, – ответила Стелла.

Стелла прекрасно поняла Свифта: раз он писал о ее сопернице, та уж не может быть ей опасна.

Итак, на время все как-то обошлось. Свифт в ли годы – 1715–1719, – по-видимому, лишь изредка встречался с Ванессой, а она, казалось, примирилась с создавшимся положением.

Отношения же Свифта со Стеллой мирны и нормальны в их плане жизни. Как и раньше, они живут раздельно: он в своем деканском доме при соборе, она, все с той же мисс Дингли, в отдельной квартире. Видятся они часто, но по большей части на людях. В летние месяцы они проводят по нескольку недель за городом у друзей. Еще больше времени уделяет Свифт своим летним путешествиям по Ирландии, всегда в одиночку. Почти ежегодно Свифт пишет в день рождения Стеллы посвященные ей стихи. Незачем искать в них поэтических достоинств, но и не ища, нельзя в них не найти подтверждения того, что Стелла есть и была единственной подругой Свифта… «Хотя мы уже не можем, как раньше, строить планы на долгую жизнь, но в быстром беге времени мы с радостью можем оглядываться на пройденный путь». А в другом подобном стихотворении Свифт, думая, по-видимому, что доставляет он особое удовольствие Стелле, сообщает ей конфиденциально, что вот и возраст ее и комплекция увеличились вдвое и что хотя потеряла она прелесть молодости, но зато настолько же она поумнела! Стелле оставалось лишь улыбнуться, прочтя этот грандиозный в глазах Свифта комплимент…

Улыбнуться, подумав, как наивен до сих пор остался этот человек, умнее которого она и не видела и не могла себе представить; быть может, погрустить, подумав, что все же не может этот необыкновенный человек понять до конца ее – такую обыкновенную женщину…

Но трагически страдать из-за того, что не может она до сих пор назвать себя законном женою Свифта?

Для очень многих исследователей жизни Свифта необходим был предполагаемый брак просто для того, чтобы высокодраматически прозвучал финал истории Свифта – Стеллы – Ванессы, для того, чтобы глубокомысленное обоснование получила эффектная сцена, рассказанная Дилэни…

Но была ли эта сцена в реальности?

Начиная с 1719 года отношения Свифта и Ванессы несколько оживились. В этом году Ванесса переселилась из Дублина в поместье «Аббатство Марли» в округе Селбридж; судя по сохранившейся переписке их за период 1719–1722 годов, он неоднократно посещал ее, и она венчала его лаврами, росшими в саду. Письма Ванессы немногим отличаются от истерического крика 1714 года: те же жалобы и упреки, те же мольбы о свидании и обвинения в равнодушии. Письма Свифта сухи и корректны, он подчеркивает дружеское к ней отношение, с иронией, добродушной и бестактной, вспоминает о былых днях их романа, дает ей деловые советы.

В 1721 году умерла сестра Ванессы, она осталась совершенно одинокой; может быть, поэтому притязания ее становятся настойчивее.

Имело ли место тайное бракосочетание 1716 года, было ли Ванессой написано письмо Стелле в апреле 1723 года – разве все это важно? Разве не могли найтись у Свифта другие побудительные поводы, чтобы разрубить, наконец, узел?

В апреле 1723 года Свифт отправился в свое обычное летнее путешествие, быть может, особо важное для него именно в этом году – ведь осенью возвращается он к бурной активности, – а в мае 1723 года Ванесса умирает от неизвестной причины в возрасте тридцати трех лет. Таковы установленные факты. Но нужно добавить к ним еще один – при внешней своей незначительности, он бросает дополнительный, но яркий луч света на печально-банальную и никак не загадочную историю.

За месяц до смерти, очевидно после последнего свидания со Свифтом, Ванесса сделала новое завещание, отменяя прежнее, по которому довольно значительное ее состояние было завещано Свифту. Наследниками по последнему завещанию были Джордж Беркли, которого она видела всего один раз в жизни, и другой ее друг. Кроме того, она потребовала в

завещании, чтоб ее наследники опубликовали находящуюся у нее поэму «Каденус и Ванесса» и письма к ней Свифта.

Оскорбленная, несчастная женщина отомстила. Жалкая месть.

Ванесса перестала существовать значительно раньше того, как умерла девица Эстер Ваномри. И эта смерть не касается Свифта, он в ней не виноват. Виновен он в другом – что не устоял он перед приятной щекоткой самолюбия, перед дешевым удовлетворением мелкого тщеславия тогда, в лондонские годы.

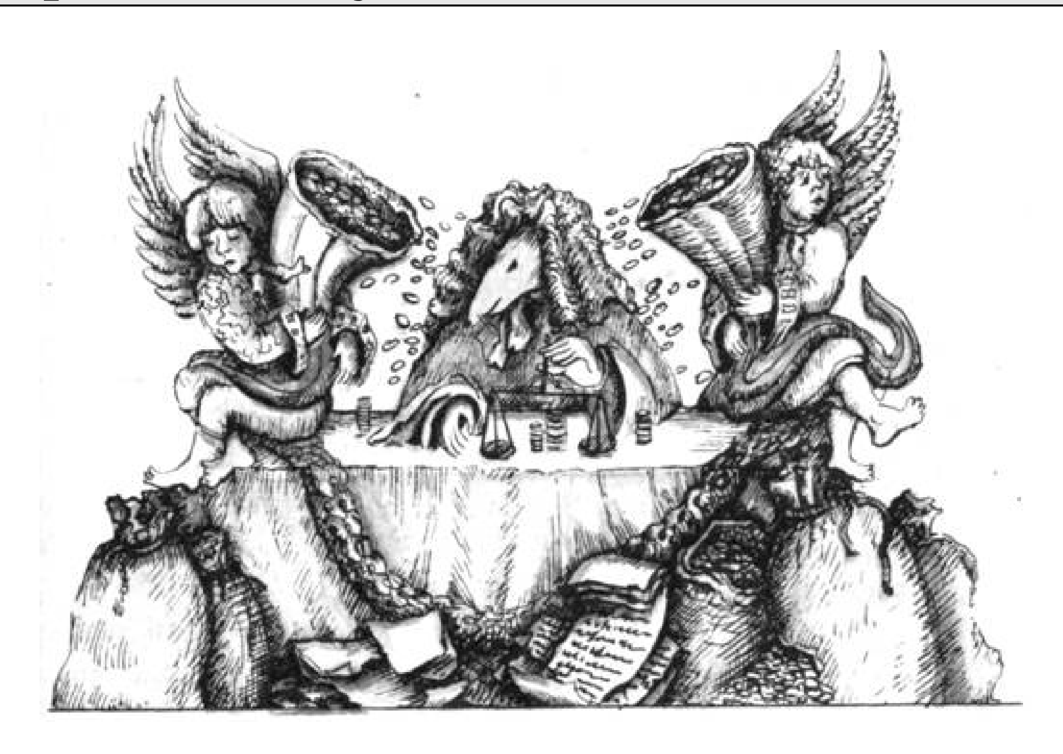
А теперь он может свободно вздохнуть и поблагодарить девицу Ваномри за то, что вычеркнула она его имя из своего завещания. Она правильно поступила – он не может получать денег от девицы Ваномри, ему бы пришлось все равно от них отказаться.

И теперь – ни слова больше о ней, как бы ее ни звали. И во всей дальнейшей своей жизни никогда, нигде не упоминает больше Свифт об Эстер Ваномри, о Ванессе…

Довольно. Кончился объявленный Свифтом перерыв. Перед изумленной Ирландией, Англией, континентом предстает Свифт в новом и последнем своем облике – грозного бойца. Становится престарелый декан дублинского собора человеком сурового негодования, другом народа, врагом поработителей…



Глава 15
Свифт воинствует



Лишь тот достоин жизни и свободы.
Кто каждый день идет за них на бой.

Гёте

Кроме человека, мы не знаем ни одного существа в природе, духом которого мы могли бы восхищаться.

Спиноза

Дождливой и мрачной была дублинская осень 1724 года. Мелкий непрестанный дождь лил в день 28 ноября с самого утра. Мрачны были узкие улицы, безнадежным казался самый воздух, одновременно сырой и душный.

Но казалось, все население города высыпало на улицы, заполнило все проходы, мостовые и площади. С часу на час толпа густела, сжималась и двигалась медленно, но упорно, с различных концов города к южной его

части, к площади Корнхилл, где угрожающе высилось тяжелое здание, как бы охранявшееся четырьмя узкими и мрачными башнями по углам.

Дублин-Касл твердыня английской власти на покоренном острове, возведенная еще королем Джоном, первым английским завоевателем Ирландии.

Давно в Ирландии разучились улыбаться. С того дня, как принес Кромвель меч и огонь на «зеленый остров», забыли о самой скромной человеческой радости в ирландских деревнях и городах. Не улыбаются те, кто сгрудились у Дублин-Касл 28 ноября 1724 года. Молчаливое, сосредоточенное ожидание; губы сжаты, лица мрачны.

Ждет толпа у Дублин-Касл. И ждет с ней вся измученная, обездоленная, нищая Ирландия, вплоть до самой последней, заброшенной деревушки. Ждет так, как будто жизнь каждого зависит от этого ожидания.

Нет. Не жизнь зависит. Но для очень многих среди них зависит нечто большее, чем жизнь. Хотя ждут они всего только одного судебного решения.

Это решение Совета присяжных при ирландском Высшем суде относительно некоего Хардинга, скромного дублинского жителя, владельца небольшой типографии, издающего время от времени различные книжки, брошюрки, листки. И вот двадцать четыре человека, образующие Совет присяжных, те же дублинцы, ремесленники, торговцы, домовладельцы, должны вынести свое решение о том, совершил ли Хардинг преступление против его величества короля Георга I, напечатав и распространив в Дублине и Ирландии брошюрки, называющиеся «Письма, Суконщика» – первое, второе, третье и четвертое письмо, особенно четвертое письмо.

Высший судья Уайтшед, также ожидающий решения присяжных, считает, что Хардинг совершил преступление против власти короля. Ведь вот, черным по белому написаны в четвертом «Письме Суконщика» такие слова:

«По законам бога, природы, государства и вашей страны вы, ирландцы, есть и должны быть такими же свободными людьми, как ваши братья в Англии…»

И еще:

«Состояние тех, коими управляют без их согласия на то, есть не что иное, как состояние рабства».

По мнению судьи Уайтшеда, тягчайшее преступление – говорить, писать, печатать и распространять такие слова. Он охотно судил бы и того, кто их написал, – автора «Писем Суконщика», но неизвестно, кто этот

«Суконщик», в Дублине несколько десятков лавок, где торгуют сукном, есть торговцы сукном и в составе Совета присяжных, – стало быть, главный виновный не найден, не обнаружен, хотя уже больше месяца висит во всех публичных местах Дублина правительственная прокламация, предлагающая солидное вознаграждение – триста фунтов – тому, кто откроет им «Суконщика». Но никого не соблазнили триста фунтов, никто не явился к судье Уайтшеду со словами: «Я знаю, кто скрывается под кличкой „Суконщик"„. И однако вряд ли есть в Дублине хоть один взрослый человек, для которого осталась эта тайна тайной, ведь подлинное имя «Суконщика" у всех на устах. Прекрасно знает имя и сам судья Уайтшед, но ничего не может сделать, поскольку отсутствуют у него официальные доказательства…

Потому все яростней становится его злоба против типографщика Хардинга, удалось ему бросить Хардинга в тюрьму, но этого мало – ему необходимо добиться, чтоб присяжные признали состав преступления. Он кричал на них, он запугивал их, грозил этим маленьким людям, ремесленникам, лавочникам, служащим, что найдет средства с ними расправиться.

Теперь ждет судья Уайтшед вердикта присяжных. И ждет с ним сгрудившаяся толпа, насторожившийся Дублин, немая, порабощенная Ирландия, далекая Англия. Если совершил преступление типографщик Хардинг, то это значит: ирландцы не только рабы, но и признают себя рабами.

А в сгрудившейся у Дублин-Касл толпе перекатывается шепот, перерастает он в возглас, и кажется, будто от самой площади исходит могучий призыв:

– Мы с Джонатаном! Мы с Джонатаном!

Замер возглас, ударившись о нависшее над площадью низкое серое небо. Смолкла толпа, сгрудилась еще больше.

Кто первый узнал, кто первый вскрикнул? Все сразу? Присяжные единогласно отклонили обвинение против Хардинга. И они уже среди толпы, эти двадцать четыре – Джордж Форбс, Уильям Элстон, Стэрн Тай, Ричард Уокер, Дэвид Тью, Джон Джонс и другие, обыкновенные, серенькие люди, дублинцы – ремесленники, лавочники и служащие, попавшие по жребию в состав Совета и совершившие самый мужественный, быть может, поступок в своей жизни…

Толпа аплодирует им, пожимает руки, целует… Улыбается хмурый, серый Дублин, смеется, поет…

Поет Дублин. Дерзкую, гневную балладу о насильнике, судье

Уайтшеде. И знает каждый поющий, что слова баллады написаны тем, кто написал «Письма Суконщика», чье имя, официально неизвестное, повторяет город, страна.

Народный поток несется к старинному зданию, – говорят, возведено оно еще в пятом веке, – собору св. Патрика. У всех единое желание – увидеть сумрачного, неприветливого декана собора и сказать ему:

– Мы с тобой, Джонатан Свифт, и голос твой – голос народа!

К концу первой четверти восемнадцатого века Ирландия была не только завоеванным, но и «конфискованным» островом. Кромвель, Карл II, Яков II, Вильгельм мало отличались один от другого в своей ирландское политике. Ирландская земля, черная, жирная, слезами и кровью политая земля – какой лакомый кусок. Купцы из Сити финансировали кромвелевскую экспедицию в Ирландию на условии конфискации в их пользу ирландских земель. Кромвель сдержал обещание: пять миллионов акров, с которых были согнаны ирландские фермеры, перешли в руки английских собственников – кромвелевских солдат и кромвелевских кредиторов. Ирландской кровью, ирландским горем с лихвой уплатил Кромвель по своим счетам.

Ирландцы сопротивлялись. И конфискации Вильгельма были ответом на сопротивление. Еще полтора миллиона акров. За дележ этого жирного куска шла свирепая склока между английскими политическими группировками конца века. Поделили. Ирландцам было все равно, как поделили, они знали лишь, что из каждых десяти акров земель их предков девять перешли к новым владельцам.

Лишь небольшая часть новых владельцев поселилась в Ирландии, мало кого привлекал несчастный и дикий остров. Новые лендлорды посылали на приобретенные даром земли своих управляющих, которые сдавали ирландским крестьянам их же прежние земли в аренду. Прежним крестьянам, то есть тем из них, кто остались: не менее трети населения Ирландии, около шестисот тысяч человек, погибли в борьбе, длившейся полстолетия. И к концу века стал «зеленый остров» островом, обугленным огнем, исполосованным мечом, обезлюдевшим, ограбленным… И кроме того, униженным и оскорбленным. Последнее право было отнято у коренного ирландского населения – право исповедовать свою религию. «Карательные законы», введенные в конце века, поставили ирландцев-католиков, а их было четыре пятых коренного населения, фактически вне закона: они были лишены права сами избирать свой игрушечный ирландский парламент – ведь номинально Ирландия оставалась

«свободной» страной, объединенной с Англией властью короля, которого представлял лорд-наместник, и управлялась – в теории – ирландским парламентом, лишенным, по существу, какой бы то ни было власти. Но и в этот игрушечный парламент, где заседали ставленники английских лендлордов и дублинские чиновники, католики-ирландцы не имели права ни быть избранными, ни избирать его. Не имели они права и занимать какие бы то ни было общественные и правительственные должности; было им запрещено под страхом свирепых репрессий отправлять католическое богослужение. «Эта нация была обращена в рабство, лишена своего достояния, оскорбляема в своих религиозных убеждениях, презираема за свою нищету… ирландец рождается в рабстве и воспитывается в плену… к ирландцу относятся как к члену нечистой касты, соприкосновение с которым может запачкать…» – так пишет современник.

И все же мужественная, талантливая и несчастная нация не хотела умереть, исчезнуть. И, борясь за физическое свое существование, провинилась Ирландия перед Англией новой виной…

Была виновата Ирландия перед Англией. Была виновата вся Ирландия смертной виной, страшным грехом – и католики-крестьяне, и городское англиканское население, и исконные ирландцы, и английские насельники-колонисты.

И еще не в том была вина Ирландии, что она сопротивлялась завоевателю, – за это ирландцев просто убивали; и еще не в том была вина ирландцев, что оставались они верны католической религии – за это их лишали прав гражданства.

Но в том была вина всего острова, его воздуха, пастбищ, рек, долин и всего его населения, что к концу века появилась в Ирландии и развилась суконная промышленность. И стала конкурировать с английской шерстью.

Английская шерсть… знаменитая английская сукновальная глина!

«Англия избрана самим провидением, чтоб владеть всей мировой торговлей сукном. Иначе чем объяснить, что она единственная страна, владеющая неисчерпаемыми запасами сукновальной глины! Главная нужда нации – это закон, угрожающий смертной казнью купцам, экспортирующим открыто или контрабандой сукновальную глину».

Это высказывание анонимного автора относится еще к середине семнадцатого века. Ибо уже тогда мелкие промышленники долины Лидса и Галифакса, низины Норвича – «торговцы-производители» назывались они – великолепно знали, что кусок сукна, сработанный их рабочими в домашних мастерских на примитивных машинах, при помощи сукновальной глины, завоевывает рынки. Идет он в близкие голландские

порты, доходит до приморских городов Леванта, перебрасывается через океан в новые земли, проникает в царство Великих Моголов и приносит Англии благополучие, богатство, жизнь. А потому, пишет английский экономист середины восемнадцатого века, «шерсть со столь давнего времени рассматривается как святыня, и небезопасно высказывать мнения, которые не клонились бы к укреплению положения шерстяной промышленности». И мешок, наполненный шерстью, на котором восседает в палате лордов вплоть до наших дней английский лорд-канцлер, был для Англии символом: английский купец и политик, будь он католиком, англиканцем или нонконформистом, – раньше всего он шерстепоклонник.

Производитель – торговец сукном, суконщик, – он позвоночный столб, центральная фигура английской промышленности, устой благосостояния, оплот страны. Он знает об этом; знают и другие – те, чья работа подлинно кормит Англию, те, что чешут шерсть, валяют, ткут, прядут.

Четко и сильно передает ироническая песенка, сложенная к началу восемнадцатого века английскими ткачами, торжествующее жизнеощущение суконщика. Так и называется она – «Восторг суконщика».

«Из всех существующих в Англии промыслов нет ни одного, который жирнее кормил бы своих людей, чем наш. Благодаря нашей торговле мы одеты так же хорошо, как рыцари, мы наслаждаемся досугом, мы весело живем. Обирая и прижимая бедноту, мы накапливаем богатства, создаем сокровища. И пусть сыплются на нас проклятия, зато мы набиваем свою мошну».

Со злой иронией рассказывает песенка, как благодетельствует суконщик всю страну и своих рабочих, и характерно подчеркивает она зависимость положения ткачей от вывоза сукон:

«Мы заставляем бедных ткачей дешево работать. Если наши дела идут плохо – они узнают об этом сейчас же, но никогда мы не сообщаем им, что поправились дела. А если они недовольны – мы говорим им, что не идут больше наши сукна в заморские страны…»

Таков суконщик. Благодетельствует он не только живых, но и мертвецов. При Карле II сумел «торговец-производитель» сукна добиться закона, согласно которому ни один мертвец в Англии не может быть положен в могилу, если не надет на нем шерстяной саван. Почему бы не заработать и на мертвецах!

Но суть, конечно, не в мертвецах. Охрана монопольного положения английских сукон в заморских странах – вот серьезная задача! А потому добиваются суконщики строжайшего запрета вывоза необработанной

шерсти; вывозятся лишь готовые изделия. Больше того, запрещен даже вывоз живых овец, запрещено даже стричь овец на расстоянии ближе пяти миль от морского берега: все для того, чтоб нигде в Европе, кроме Англии, не обучились выделывать сукна…

И оказывается – научились. И не хуже, чем в Англии, и дешевле, чем в Англии. И тут же, рядом, под боком.

Да, оказывается, в Ирландии найдена знаменитая сукновальная глина, оказывается, там известны все секреты производства.

Какая проклятая страна! Поистине язва на теле Англии! Такой конкурент у себя же в доме!

Меры были приняты немедленные и решительные.

В 1698 году английский парламент утвердил закон, облагающий вывоз шерстяных изделий из Ирландии на европейские рынки непомерно высокими пошлинами. Но эта мера показалась недостаточной, и Вильгельм получил адрес от представителей английской суконной промышленности, заседавших в обеих палатах, с требованием дальнейших мер. Вильгельм, умный, сухой, немногословный человек, прекрасно понимавший, кому он обязан троном, и не считавший нужным набрасывать флер лицемерия на свои поступки, ответил на адрес исторической по краткости и откровенности резолюцией: «Мои лорды и джентльмены, я сделаю все, что от меня зависит, для подавления производства шерсти в Ирландии… чтобы таким образом содействовать процветанию английской торговли». И так как слово не расходилось с делом у этого короля купцов, то уже в следующем, 1699 году был категорически запрещен вывоз из Ирландии шерсти куда бы то ни было и в каком бы то ни было виде – сырой ли, в полуфабрикате, в готовых изделиях. Кара для нарушителей закона была свирепа: конфискация имущества, тюремное заключение, изгнание. Но и этого было мало, и лишь тогда вздохнул свободно английский суконщик, когда была установлена своего рода блокада ирландского острова: два военных судна, несколько вооруженных шлюпок несли сторожевую службу в ирландских портах, следя, чтоб ни одна кипа шерсти, ни один ярд материи не покидали берегов словно зачумленного острова.

И тогда вздохнул свободно английский суконщик и сумел выразить свое удовлетворение другой исторической фразой:

«Если будет упорствовать ирландец в производстве шерсти, то придется ему питаться ею…»

Производство шерсти в Ирландии прекратилось.

Это был уже не удар, а петля, наброшенная на шею Ирландии. И захлестнула петля не только крестьян-католиков, но и английских

поселенцев, протестантов, городских жителей. Они были почти уравнены в праве на нищету с коренными ирландцами.

Говорит современник:

«Вся молодежь страны уничтожена или эмигрировала. У оставшихся нет ничего – ни имущества, ни денег, ни оружия, ни храбрости, ни разума… Из каждых шести ирландцев пятеро – ничтожные рабы, годные лишь для того, чтоб быть дровосеками или водоносами».

Читает эти жестокие строки декан собора св. Патрика Джонатан Свифт, представитель господствующей национальности и господствующей религии, захлестывает его гнев и скорбь…

«Нет рабов от рождения, раб может и должен стать человеком! – думает он. – Механизм искусного воздействия, гениально приспособленный, чтоб путем насилия привести к вырождению народ, обратить его в нищету, вытравить из него последние крохи человеческого достоинства, – подобного еще не создавал извращенный гений человека» – такова относящаяся к той эпохе характеристика английского управления в Ирландии.

«Так, значит, этот механизм должно уничтожить», – думает он.

Однако что Свифту до Ирландии, этой страны изгнания, «проклятой дыры, где я умру, как отравленная крыса»?

Свифт любил свои летние путешествия и в юности, и особенно теперь, когда в одиночку объездил он всю Ирландию, и те ее места в глубине страны, где еще тлели в заброшенности, нищете и обездоленности остатки своеобразной ирландской культуры.

Но он не может считать Ирландию своей страной! Ибо Свифт – англичанин во всем: по происхождению, культуре, мышлению своему. Эта страна навязана ему безжалостными обстоятельствами.

Какая злая все-таки нелепость… Свифт ненавидит и презирает католицизм как самую рабскую религию, и он должен жить в католической стране! Человеческое достоинство Свифта оскорбляют нищета, грязь, невежество, и он связан с самой нищей и убогой страной в Европе! Непереносим для Свифта с его громадным политическим кругозором всякий провинциализм мышления, но именно в этой стране провинциально все – сверху донизу! Омерзительна Свифту своекорыстная грызня клик и группировок за кусок общественного пирога, но как раз этот злосчастный остров словно опытное поле всяческой мыслимой склоки и свары, где свирепо борются даже и не партии, а десятки мелких шаек, и даже не за кусок пирога, а за крошки со стола. Злая нелепость или проклятие

судьбы?…

Но человек хочет быть сильнее судьбы. И тем более – Свифт.

Судьба бросила его в эту страну. Что ж, это значит, что он должен оставить свой, свифтовский след в этой стране. И здесь он будет Свифтом, человеком, который судит то, что вокруг него, по-своему судит, выносит приговор и приговор выполняет.

Тогда рождается мысль, простая мысль, но с каждым днем все более властная и воинствующая, и становится, как всегда у Свифта, эмоцией.

Он ненавидит этот остров. Ибо населяют его рабы.

Кто ж виновен в том, что они рабы?

Простая мысль. Но какой англичанин мог ею взволноваться? Устами воображаемого ирландца Свифт говорил в «Письмах Суконщика», обращаясь к ирландскому народу:

«Наши соседи (разум которых на таком же уровне, как и наш, а это, пожалуй, не такой уж высокий уровень) с большим презрением относятся к большинству наций, а особенно к ирландской. Они считают нас все теми дикарями, которые были покорены много сот лет назад. И если бы я попытался нарисовать вам британцев такими, какими они были во время Цезаря, с разрисованными телами и одетыми в звериные шкуры, это было бы с моей стороны не менее разумно, чем то, что делают они».

Если не «Суконщик», то Свифт знал, о чем он говорит. Так именно и относились к ирландцам даже лучшие из англичан того времени. Виновны ли ирландцы в том, что рабы? И если не они, то кто виновен? Декану англиканской церкви было бы очень легко разрешить вопрос: виновных нет, ибо так положено божественным провидением. Неверующему декану (были такие и помимо Свифта) пришлось бы сказать: виновных нет, ибо так положено ходом истории. Но так как Свифт был деканом особого порядка, священником своей собственной религии, направленной к освобождению человечества, то он несколько иначе разрешил вопрос.

Виновные есть, и это те, кому выгодно такое положение вещей.

«Англичане издеваются над ирландским невежеством, тупостью, трусостью. Но эти недостатки, там, где они действительно есть, возникли только благодаря нищете и рабству, в которое обратили ирландцев их бесчеловечные соседи. Я утверждаю на основании многочисленных наблюдений, сделанных в моих путешествиях в обеих странах, что у бедных крестьян здесь я нашел гораздо больше здравого смысла, юмора, жизненности, чем у людей их же положения в Англии. Но бесконечное насилие, которому они подвергаются, тирания их лендлордов, усердие их священников – всего этого было достаточно, чтобы притупить их

человеческий дух».

Так писал Свифт в интимном письме несколько лет спустя после того, как он героически пытался поднять «человеческий дух» порабощенной Ирландии.

Мысль стала эмоцией, эмоция стремилась перейти в действие.

Но сражаться за Ирландию – это значит выступить против Англии?

Да, Свифт это понимает в полной мере. И это соображение никак его не остановит, отнюдь не отразится на страстности и упорстве его борьбы. Скорее наоборот.

В 1720 году в Дублине был опубликован безымянный памфлет – «Предложение о том, чтобы во всеобщее употребление вошли изделия ирландской мануфактуры для одежды и обстановки домов и чтобы были решительно отвергнуты все изделия подобного рода, ввозимые из Англии».

Несколько длинное и неуклюжее заглавие достигало, однако, своей цели: чувстствовалось, что автор памфлета совершенно по-новому хочет поставить вопрос о взаимоотношениях Англии и Ирландии.

Еще в конце семнадцатого века ирландец Уильям Молинэ опубликовал антианглийский памфлет, доказывавший, что ирландский парламент, тогда созданный, должен быть независим в своей деятельности от английского законодательства. Тонкими юридическими соображениями Молинэ обосновывал равноправность обоих парламентов. Аргументация его была остроумна, но слишком специальна и абстрактна, памфлет его не предназначался для «человека с улицы».

Автор памфлета 1720 года преследует совершенно иные цели. Памфлет написан как бы обывателем, самым средним человеком, который трактует обсуждаемые вопросы в очень простом, бытовом плане. Автор не аргументирует, не теоретизирует – он словно удивляется и недоумевает. Англия запрещает Ирландии вывозить свои сукна, говорит он, но одеваться ирландцам, жителям Ирландии, в местные сукна ведь не запрещено? Однако английские мануфактурные товары находят почему-то сбыт среди жителей Ирландии – тех, конечно, кто вообще имеет возможность покупать… Это и непонятно и несправедливо. И это касается не только сукон, но вообще всех английских товаров, ввозимых в Ирландию. В плане шутки, мимоходом замечает автор:

«Я слышал, как один архиепископ приводил чье-то остроумное замечание: Ирландия не будет счастлива до тех пор, пока не будет проведен закон, повелевающий сжигать все ввозимое из Англии, за исключением самих англичан и английского угля. Я не сторонник

увеличения количества исключений и должен признаться, что не буду горевать, если англичане останутся у себя дома и если со временем нужда в английском угле исчезнет».

И все в том же плане как бы легкой беседы делает автор конкретное предложение:

«Что, если ирландский парламент примет решение, запрещающее носить и пользоваться всеми предметами одежды и обстановки и принадлежностями дамских мод не ирландского производства? Что, если бы распространить это запрещение на все сорта материй… и объявить, что всякий нарушающий этот закон является врагом народа!» (Курсив памфлета.)

Бесхитростно, почти наивно сформулировано здесь из ряда вон выходящее предложение. Но памфлетист руководился глубоким психологическим расчетом: в плоскость повседневного быта перенести острейший политический вопрос, внушить читателю эту неслыханно смелую мысль, не подчеркивая ее необычности, в плане как бы дружеской беседы.

Незаметно, без подчеркиваний автор памфлета призывает Ирландию к новой тактике борьбы против английских насильников. И это опасная для насильников тактика: она призывает нанести удар в святая святых Англии, в ее жадное сердце – английскую торговлю!

А термин «враг народа», будто случайно брошенный, – взрывчатая сила в нем. Народ? Но Англия отрицала наличие в Ирландии единого народа с общими интересами; для Англии население Ирландии было сборищем различных социальных, национальных и религиозных групп, разделенных хронической враждой. И поддержка этой вражды – основа английской политики в Ирландии! Была дерзким вызовом попытка применить к населению Ирландии термин – народ, а тем более призывать его к объединенному выступлению.

И опять-таки в небрежной своей манере, но с достаточной ясностью намекает памфлетист: суть дела в том, что вообще ирландский остров живет в атмосфере насилия. «Уже из писания известно, – говорит памфлетист, – что насилие и мудрых людей превращает в безумцев, и единственное объяснение того, что еще есть среди нас не безумцы, – в недостаточном количестве мудрецов… но можно надеяться, что в конце концов насилие научит разуму и дураков!» Не представляло труда самому неопытному читателю расшифровать этот иронический силлогизм. Эти и другие места памфлета как раз подходили под грозный термин английской

юстиции – «седишн», что означает – введение в смуту. И если по законам о «седишн» был предан сожжению памфлет Молинэ и автора его спасла от тюрьмы только смерть, то какая же участь должна постигнуть автора гораздо более «вводящего в смуту», ибо более доступного рядовому читателю памфлета 1720 года?

Но ведь автор памфлета анонимен…

По когтям познается лев. И в Дублине и в Лондоне увидели когти – и узнали льва. Такие когти только у одного человека в Англии – памятны были еще свифтовские памфлеты 1710–1714 годов.

Как неожиданно вдруг напомнил о себе декан собора св. Патрика!

Такое видное лицо, занимающее значительный пост в иерархии англиканской церкви, – какое дело ему, англичанину, до этой проклятой католической Ирландии и ее забот? «Как понять этого „сумасшедшего священника“?» – думают со злобным недоумением в дублинских правительственных кругах. Выступать в одиночку в защиту этой раздавленной, порабощенной, униженной страны, страны рабов, «водоносов и дровосеков», – и он, англичанин, духовное лицо, осмеливается возбуждать эту страну против Англии… Что это – безумие или смелость? Если так пишет священник, то как же должен писать бунтовщик?

Злоба и недоумение породили растерянность. Была, как обычно в таких случаях, опубликована правительственная прокламация, обещавшая вознаграждение за раскрытие автора памфлета. Но больше всего боялись дублинские власти, что какой-нибудь наивный человек откроет всем известный «секрет»: Свифт на суде – этого еще недоставало!

И растерянно решили отыграться на типографщике Уотерсе – он был арестован по обвинению в сеянии смуты.

Но скандала избежать не удалось.

Верховный судья Ирландии Уайтшед, человек грубый и тупой, был взбешен, потрясен памфлетом, перед присяжными он кричал, что у автора памфлета коварная цель – поссорить две страны, дабы облегчить возвращение в Англию династии Стюартов.

Но присяжные вынесли решение: нет, не виновен.

Девять раз посылал Уайтшед присяжных назад в совещательную комнату, заявляя, что они вынесли изменническое решение, и девять раз они повторили: нет, не виновен. А когда в десятый раз потребовал он пересмотра решения, сказали они, что не желают принимать дальнейшего участия в рассмотрении дела. И процесс Уотерса пришлось отложить.

Смеялся над Уайтшедом весь Дублин. А какой простор для остроумия

Свифта! Вспомнив былые времена, наводнил он улицы города свирепыми эпиграммами, больно бьющими стихами, бичующими издевками по адресу взбесившегося судьи. Памфлет же тем временем выходил полулегально все в новых изданиях. И скоро по всей Ирландии пошла странная весть об английском декане, защищающем против Англии дело порабощенной Ирландии.

Весть о скандале дошла и до Лондона. И было решено – дело Уотерса прекратить за отсутствием состава преступления.

Уайтшед был посрамлен. Уотерс оказался на свободе, но мог ли Свифт торжествовать победу?

Предложение памфлета повисло в воздухе: никто и не думал вносить в ирландский парламент закон о бойкоте английских товаров.

Прошел год – два – три, пошел и четвертый год. Все в Ирландии было по-прежнему. А Свифт – молчал.

Но молчание его было насыщено раздумьем, глубоким и страстным.

Обманываться не приходилось. Успех его памфлета – это преходящий успех литературного выступления. Но не это нужно Свифту, не страдающему излишком литературного тщеславия, а конкретные жизненные результаты.

«То, что я сделал для этой страны, было вызвано моей абсолютной ненавистью к тирании и насилию», – писал он в своем письме 1734 года. Эту ненависть он высказал уже в памфлете 1720 года и увидел, что прозвучал его голос голосом в пустыне. А ведь он знает, что ненависть к поработителям тлеет под пеплом разбитых надежд. Превратить сохранившиеся искры в грозное пламя – вот задача.

И он видит, что предложение его памфлета – литературно-политический парадокс, а не боевой лозунг, на котором может объединиться порабощенная, униженная страна.

И к тому же в памфлете он обращался не к народу, его призыв был без адреса, – впрочем, и не призыв, скорее непринужденная и дерзкая беседа.

Не был его памфлет ошибкой. Но получить политическое значение он мог лишь как исходный момент для дальнейшего, для конкретного призыва к реальному массовому действию. В 1720 году было высказано, что ирландский народ имеет возможность бороться.

Теперь должно быть сказано – человеком из народа и от имени народа, – что он хочет бороться за свои права.

Как найти удобный предлог, чтоб начать? Рычаг! Как отыскать рычаг, коим можно было бы сдвинуть застывшую глыбу ирландского горя и обрушить ее лавиной?

Мелкая монета, медный грош – полпенса – оказался рычагом.

Мистер Уильям Вуд, коммерсант, прожектер, арендатор железных рудников, владелец мастерских по обработке металлов, был авантюристом. Во время Елизаветы подобные ему – называли их «купцы-авантюристы» – снаряжали корабли и отправлялись за моря в поисках наживы и славы. Теперь приходилось им в другую область направлять свою неуемную активность.

Их было много в Англии к началу второго двадцатипятилетия восемнадцатого века, людей больших планов и необузданных аппетитов, предтеч капитанов промышленности. Только предтечи, ибо объективные условия не вполне еще соответствовали темпу и размаху лихорадочной их деятельности и казались неосуществимыми смелые фантазии. Был разрыв между современной им промышленной техникой и капиталистическим их духом. Потому они и были предтечи людей второй половины века, капиталистов, вооруженных техникой, полновесных буржуа, фабрикантов и заводчиков, сменивших прежних купца и банкира на месте центральной фигуры английской экономики.

Предтечей, а стало быть, неудачником был и Уильям Вуд. Ему было тесно в рамках докапиталистической техники железоделательного производства, и он мечтал ее революционизировать путем плавки ковкого железа на коксе, вместо обычно применявшегося древесного угля, и на этой основе добиться монопольного положения на рынке.

Идея его была здоровой, но требовала значительных затрат, а Вуд, при всей многосторонности своих предприятий, а может быть, именно по этой причине, постоянно нуждался в деньгах.

Между тем мистер Вуд не первый встречный. У него есть имя среди лондонских спекулянтов всяческих мастей, в том числе и титулованных спекулянтов. Довольно высокого мнения о нем как о человеке предприимчивом и оборотистом известная герцогиня Кенделл. Правда, не особенно родовита герцогиня, привезенная королем Георгом из Ганновера, но зато была она любовницей короля, зато известна она даже в этот век наглого грабежа общественного достояния непомерной, ненасытной своей жадностью…

И случилось, что к концу 1722 года знатная проститутка имела важную беседу с промышленником-авантюристом, беседу, сыгравшую такую значительную роль в жизни и деятельности декана собора св. Патрика.

То была действительно деловая беседа, посвященная прозаической теме – недостатку в Ирландии мелкой монеты и правительственному

решению приступить к чеканке медной монеты для ирландского острова.

Как могла интересовать эта тема герцогиню Кенделл и мистера Вуда?

Возможность легкого и крупного заработка представилась для первой и менее легкого, но зато более крупного – для второго.

Право чеканки монеты для нужд страны принадлежало государству и осуществлялось на государственном монетном дворе, на основании соответствующего закона, принятого парламентом. Но ввиду сложности операции, особенно когда дело шло о больших количествах медной, разменной монеты, правительство ввело практику переуступки патента на чеканку частным лицам – подрядчикам.

В Ирландии монетного двора не было, и начиная уже с шестнадцатого века там обращалась ввозимая английская монета в золоте, серебре и меди. И Ирландия действительно нуждалась в начале восемнадцатого века в разменной монете – находившейся в обращении было далеко не достаточно, и, кроме того, она была стертой, в значительной степени негодной. Было бы естественно, чтоб закон о чеканке новой монеты прошел через ирландский парламент, но лондонское правительство в своем искреннем презрении ко всему ирландскому, к правам игрушечного дублинского парламента не удосужилось об этом подумать. И одновременно с его решением о чеканке монеты было решено дать патент на чеканку частному лицу.

Герцогиня Кенделл благодаря своим придворным связям могла добиться выдачи этого патента на свое имя, не имея, конечно, в виду самой заняться этим скучным и хлопотным делом и рассчитывая за солидную сумму уступить этот патент.

Так вот, что думает об этом мистер Вуд?

Герцогиня Кенделл, в Ганновере ее фамилия была просто София Шуленбург, – старая, безобразная, нелепо высокая, ее и прозвали «ярмарочный столб», – за десять почти лет, прожитых в Англии, не научилась сколько-нибудь прилично говорить по-английски, немецкий ее акцент был густ и нахален. Но Уильям Вуд прекрасно ее понял, понял также, что торговаться здесь не приходится: знатная дама извлечет из него все, что возможно.

Сделка состоялась: десять тысяч фунтов отступного уплатил Уильям Вуд герцогине Кенделл за патент на право чеканки медной монеты для Ирландии.

В скором времени Вуд приступил в своих мастерских к чеканке монеты, к концу 1723 года отдельные ее партии уже начали проникать в Ирландию.

И в 1724 году Вуд понял, что все не так просто, как он думал.

Несколько обстоятельств способствовали тому, что вудовское предприятие вызвало недовольство в ирландских кругах.

Были обойдены с откровенным цинизмом права ирландского парламента.

Шокировал самый характер этой сделки, о котором стало известно повсюду: патент на имя Кенделл, десять тысяч, уплаченные Вудом.

Был грубо-циничен самый способ заработка: вудовская монета оказалась слишком плоха. Конечно, никто не ожидал, что стоимость меди в вудовском медном полупенсе будет равняться полупенсу, но когда выяснилось, что эта стоимость по количеству и качеству материала, пошедшего на изготовление монеты, не превышает в среднем десятой доли пенса, – это было воспринято как слишком беззастенчивый грабеж.

И наконец, количество вудовской монеты! Стало известно, что патент дает ему право на чеканку колоссальной суммы – сто восемь тысяч фунтов в медных пенсах и полупенсах. Количество же всей монеты, находившейся в обращении на ирландском острове, не превышало пятисот тысяч фунтов, – следовательно, потребность в разменной монете не превышала суммы в двадцать – двадцать пять тысяч фунтов.

Причин для недовольства всей вудовской операцией было слишком достаточно. И даже немощный ирландский парламент счел нужным как-то отразить это недовольство.

Были посланы в Лондон робкие заявления. Лондон ответил созданием особой комиссии, которая нашла, что ничего особенного не случилось, что вся операция проведена Вудом в полном соответствии с обычным порядком. Был произведен даже при Лондонском монетном дворе анализ образцов вудовской монеты; признано, что монета удовлетворительного качества: Вуду было нетрудно начеканить специально для анализа партию показательных образцов. И наконец, Вуд опубликовал памфлет, доказывающий путем сложных выкладок, что заработок его вообще ничтожен.

И вопрос можно было считать совершенно исчерпанным.

Нельзя сомневаться, что так бы оно и случилось и имя Уильяма Вуда осталось бы глубоко неизвестным потомству, если бы однажды, дело было в июле 1724 года, мистер Хардинг, дублинский типографщик и издатель, не нашел в своей почте небольшой рукописи, написанной очень четким почерком. Вот ее заглавие:

«Письмо торговцам, ремесленникам, фермерам и всему простому ирландскому народу относительно медного полупенса, выпущенного

неким Уильямом Вудом с целью ввести его в обращение в этом королевстве. Письмо это показывает, каково значение его патента, какова ценность его полупенса, обязан ли кто-нибудь принимать этот полупенс и как надлежит себя вести, если Вуд или кто-либо другой попытается насильственно навязывать этот полупенс. Письмо это хорошо иметь в каждом семействе».

После заглавия следовала строчка: «Написано М. Б. Суконщиком». Заглавие заинтересовывало. Но первые строчки «Письма Суконщика» – они поражали!

«Братья, друзья, соотечественники и граждане! То, что я намереваюсь сказать вам, является, после вашей заботы о боге и спасении души, самым важным для вас и ваших детей; это касается вопроса о вашем пропитании и существовании, от этого зависит удовлетворение самых простых ваших потребностей. Поэтому я требую от вас самым серьезным образом, как от людей, христиан, отцов семейств и граждан, любящих свою страну, прочесть это сочинение с наибольшим вниманием или просить других прочесть его вам; это введет вас в самый незначительный расход, так как я просил типографщика продавать это сочинение по самой дешевой цене».

Такое начало, тревожа и волнуя, заставляло читать дальше каждого, кому попало в руки опубликованное Хардингом и действительно продававшееся по самой низкой цене «Письмо Суконщика». Кто сумел бы – будь он ирландец или англичанин, член англиканской церкви, нонконформист или католик, виг, тори, фермер, ремесленник, чиновник, помещик, кулачный боец, торговец, священник, – кто сумел бы не прочитать до конца письмо, так начатое, письмо-призыв, письмо-крик!

Но этого и хотел «М. Б. Суконщик» – Джонатан Свифт, гениальный мастер пропаганды, как никто постигший искусство воздействия на умы и сердца, как никто умевший самую большую и серьезную тему сделать достоянием всех и каждого, находя для нее идеально простую форму изложения. Проблема денежного обращения! Юридическая законность патента Вуда! Где же найти более абстрактные вопросы? И однако вот они связываются с элементарными, насущными нуждами каждого «человека с улицы» и становятся для него жизненным вопросом. Псевдоним автора «Писем» – их было опубликовано пять с июня по декабрь. 1724 года – выбран исключительно удачно. «Суконщик» – читатель сразу видит, что имеет дело с человеком уважаемым, солидным. Уже из первого письма явствует, что у «Суконщика» своя лавка в Дублине – чего же лучше: как не прислушаться к словам такого человека, как не ждать от него делового совета…

Внушить к себе доверие – это Свифту нужно раньше всего. Ибо была у него, уже в тот день и час, когда набрасывал он первые строки своего первого «Письма», очень конкретная, хотя и чрезвычайно смелая цель.

Вуд и его полпенса – какой изумительный, действенный, самой судьбой данный повод, чтоб мобилизовать гнев всей Ирландии против поработителей, какой удобный рычаг, чтоб сдвинуть с места застывшую глыбу ирландского горя!

Конечно, Свифт понимает, что сам по себе повод не так уж страшен. С изумительной, предельной силой софистической логики изображает Свифт в первом «Письме» несчастья, которые постигнут Ирландию, если войдет в обращение вудовская монета и, вытеснив из обращения, как неполноценные деньги, все золото и серебро из страны, станет единственной обращающейся с Ирландии монетой. Тут исходная аксиома всех рассуждений «Суконщика»; и биографы Свифта, покачивая головами, считают, что гениальный публицист оказался в данном случае плохим экономистом, слишком буквально понявшим знаменитый закон Томаса Грешема о том, что худшая монета вытеснит из обращения лучшую, а потому и преувеличившим последствия циркулирования вудовской монеты. Конечно, Свифт безжалостно, грандиозно преувеличил, но он, всю свою жизнь интересовавшийся вопросами экономики и финансов, сделал это сознательно. Настойчиво и сознательно стремился он использовать до конца представившийся чудесный повод, чтоб внедрить в умы и сердца читателей единственную и главную свою мысль: о праве Ирландии на сопротивление своим поработителям, о необходимости этого сопротивления.

Жители Ирландии, без различия классов и состояний, национальных, социальных и религиозных группировок, должны как один человек отказаться принимать вудовскую монету, иначе они погибнут! Так говорит «Суконщик», то есть уважаемый, солидный, спокойный человек, и беседует он, словно за столом с приятелями, за кружкой пива:

«Что касается меня лично, то я уже решил, что делать: у меня в лавке есть немалый запас ирландских сукон и шелков, и вместо того, чтоб принимать вудовскую дрянную медь, я намереваюсь предложить моим соседям, мясникам, пекарям, пивоварам и другим, товар за товар. А то небольшое количество золота и серебра, что я имею, я буду беречь как кровь сердца моего до лучших времен или до минуты, когда ничего не останется, как подыхать с голода…»

И с гениальным искусством перевоплощения внушает Свифт читателю: перед тобой не политик, не ученый, не памфлетист – только

рядовой дублинский лавочник, насмерть испуганный и возмущенный теми бедами, что несет с собой вудовский полупенс. И потому он и повторяется, и кой-где косноязычен, и как будто перескакивает с одной темы на другую – так ведь и должен рассуждать рядовой человек… Тут уместен и грубый юмор, и преувеличения, и такие наглядные примеры: он исходит из аксиомы, что никаких других денег в стране, кроме вудовских полупенсов, не останется, и вот – «Говорят, что председатель ирландского парламента имеет доход в шестнадцать тысяч фунтов в год; так вот, ему придется нанять двести пятьдесят лошадей, чтоб доставить домой свой полугодовой доход, и нужно будет иметь несколько погребов в доме, чтоб эту сумму хранить. Но я никак не пойму, что будет с банкирами. Ведь, как я слышал, некоторые из них имеют в наличности такие суммы, как сорок тысяч фунтов, – для того чтобы привезти эту сумму в вудовских полупенсах, понадобится не менее тысячи двухсот лошадей!»

Так и должен рассуждать наивный, испуганный суконщик, и с великолепной естественностью звучит его отчаянный возглас:

«Даже ирландские нищие будут разорены, если проникнет в Ирландию проклятый вудовский полупенс!»

Но не может не возникнуть тревожное сомнение.

С самой юности своей Свифт умеет и любит мистифицировать. Но никогда еще – даже в эпопее Бикерстафа – он не доходил в технике и в пафосе мистификации до такого совершенства, никогда не перевоплощался с таким законченным мастерством.

Так нет ли здесь утонченно-издевательской игры, торжества «искусства для искусства», не наслаждается ли злобным удовольствием мистификации, не радуется ли своему дьявольскому умению дурачить этот одинокий старик в своем уединенном кабинете, надевая свою «суконную» маску?

Вероятно, было и это. Были элементы игры, как были они и в эпопее Бикерстафа, и в памфлетах «Экзаминера», и в «Дневнике для Стеллы», быть может еще в большей степени. Быть может, это поставленное себе задание – перевоплотиться в «суконщика», в рядового дублинского лавочника – было обусловлено не только политической целесообразностью, нуждами борьбы, но также импульсами Свифта-художника, не осознанным им самим до конца стремлением – из жизни своей сделать художественное произведение.

Бедна и вульгарна попытка противопоставить Свифта – политического борца Свифту-художнику, столкнуть лбами два этих метода проявления его жизненно-творческой активности, расщепить его единый облик. И

тогда только понимаешь Свифта в его сложности, когда видишь, как соревнуются два метода, подчиненные одной и той же цели. А ею насыщена вся его жизнь, с того момента, как одинокий и сумрачный юноша, не то мистифицируя, не то выполняя властное внутреннее веление, дал подзаголовок первой своей книге: «Написано для совершенствования человеческого рода».

И сейчас, в 1724 году, пятидесятисемилетний, но еще более одинокий, знаменитый и еще более сумрачный художник-мистификатор, создавший образ «Суконщика», английский декан, поднявший знамя борьбы против Англии за Ирландию, выполняет все то же веление.

В «Письмах Суконщика» гениальная мистификация художника и гротесковые преувеличения «Суконщика» прокладывают путь политическому стратегу к уму и сердцу читателя.

Уже в первом письме, шаг за шагом, медленно и осторожно, вполголоса, между прочим, внушает Свифт читателю убеждение, что вообще-то Ирландия не обязана принимать монеты, ввезенные из Англии, что это зависит от доброй воли каждого отдельного ирландца.

И собеседник «Суконщика» не может не начать думать о своих правах в отношении Англии, о том, что если и он, и другой, и все вместе действительно откажутся принимать вудовский полупенс, так ничего с ними не поделаешь!

А это и нужно Свифту – политическому психологу: внушить рабам, что они могут сопротивляться своему рабскому состоянию. Освободить их сознание от психоза рабства – с каждым новым «Письмом» все яснее становится эта задача. Нетрудно найти потому центральную боевую позицию первого «Письма Суконщика»:

«Я бы никогда не кончил, если б пытался рассказать вам о всех несчастьях, которые постигнут вас, если вы будете настолько глупы и порочны, чтоб принимать эту проклятую монету. Было бы очень тяжело, если б Ирландия оказалась на одной чаше весов, а этот человек Вуд на другой; если б перевесила его чаша другую, то есть все наше королевство, с которого Англия получает дохода – и хорошими деньгами – не менее миллиона фунтов в год, а ведь это больше того, что англичане получают со всего остального мира».

Очень это просто, очень деловито, даже сухо. Но как явственно слышен здесь призыв к элементарному человеческому достоинству: вот один человек, Вуд, – и вот вся страна; для того, чтоб обогатиться, он хочет погубить всю страну; неужели мы не будем сопротивляться его намерению? Но если мы не рабы, то должны мы подумать, почему

обращается с нами Англия, как с рабами?

Так извлекает Свифт изумительные возможности из вудовского полупенса как предлога и повода; так обращает он медный грош в железный рычаг.

Уже первое письмо «Суконщика» рождает взволнованные отклики не только в Дублине, но и в Лондоне. Дублинский парламент, и раньше выражавший свое недовольство, теперь, не без связи, очевидно, со свифтовским памфлетом, энергично протестует в Лондоне против патента Вуда. А в Лондоне внимательно прочли «Письмо Суконщика» и, как и раньше, не могли не узнать почерка Свифта. И почувствовали, что вели себя в этом деле уж слишком беззастенчиво, что пахнет от дела слишком неприятно: «Суконщик» отчетливо намекал, что ему прекрасно известно о десяти тысячах герцогини Кенделл.

Была образована новая правительственная комиссия для рассмотрения всего дела. Она признала, конечно, что свой патент Вуд получил вполне законно, что монета его чеканки достаточно полноценна, – не признать этого было бы равносильно политическому скандалу, – но вместе с тем комиссия постановила резко уменьшить количество разменной монеты чеканки Вуда: с первоначальных ста восьми тысяч фунтов – до сорока тысяч.

Всполошился и Вуд; он опубликовал еще один памфлет, доказывая доброкачественность своей монеты; дублинская газета перепечатала опровержения Вуда.

И на этом инцидент можно было считать исчерпанным. Ведь английское правительство уступило по самому существенному вопросу – о количестве новой разменной монеты.

Но Свифт мрачно улыбается. Первая проба сил прошла успешно.

Но если в Лондоне думают, что «Суконщик» этим удовлетворится и выпустит из рук рычаг, оказавшийся таким эффективным, то они жестоко ошибаются. Ибо если эта существенная уступка правительства достаточна для «Суконщика», то для Свифта ее мало, – еще можно пользоваться вудовским полупенсом как поводом, как предлогом для того, чтоб поднимать рабов против поработителей.

Четвертого августа типографщик Хардинг получает второе «Письмо Суконщика». Он немедля отпечатывает и распространяет его: ведь помимо всего, как дешево он ни продает листовку, это выгодное коммерческое предприятие – «Суконщик» не требует гонорара…

И снова слышен голос Свифта.

В каком неожиданном свете предстал перед читателем спокойный

дублинский лавочник! Оказывается, он изумительный полемист, гневный диалектик: он в клочья раздирает несчастного Вуда – второе «Письмо Суконщика» посвящено анализу вудовских опровержений и доклада лондонской правительственной комиссии.

Град аргументов, иронических, презрительных, уничтожающих. Вуд говорит о недостатке разменной монеты в Ирландии, но по мнению «Суконщика»:

«Если бы мы пользовались правом чеканки собственной монеты, как это было раньше, – а почему мы теперь не имеем этого, удивляет всех, в том числе и меня, – мы отчеканили бы разменной монеты на десять тысяч фунтов, и этой суммы, вместе с наличным запасом, который у нас был, вполне хватило бы; но Вуд с помощью своих эмиссаров, врагов божьих и нашей страны, постарался скупить, насколько он сумел, нашу разменную монету, и так возникла нынешняя нужда. Но исправить ее рецептами Вуда – это равносильно тому, как отрубить руку, чтоб залечить царапину на пальце!»

Вуд напоминает, что был произведен анализ образцов его монеты в Лондонском монетном дворе, под наблюдением самого Исаака Ньютона, и монета была признана полноценной. «Суконщик» не спорит с непоколебимым авторитетом великого ученого, но – «Я слышал о человеке, который, желая продать свой дом, носил с собой в кармане кирпич от дома и показывал его покупателям как образец; как раз так и обстоит дело с анализом Вуда».

Затем Вуд, пытаясь парировать опасения об утечке золота и серебра из страны, указывает, что можно было бы ограничить прием новой монеты при каждом платеже несколькими пенсами. Это было отступлением, и неумным к тому же, – Вуд просто испугался. Но когда Вуд отступает, «Суконщик» наступает:

«Так этот ничтожный, наглый торговец металлом… осмеливается предписывать целой нации, – чего не пытался делать ни один английский король, – сколько его медной дряни обязаны мы брать… но его патент вообще никого не может обязывать, на это не имеет законного права и сам король; этот же Вуд берет на себя всю законодательную власть и претендует на полное господство над имуществом всего народа. Великий боже! С кем советуется это ничтожество, кто ему помогает, его поддерживает, ободряет, кто его пайщики? Вуд хочет принудить меня принимать пять с половиной пенсов меди в каждый следуемый мне платеж! А я заявляю, что застрелю, как разбойников и взломщиков, тех, кто захочет заставить меня принять хоть один вудовский грош в платеже в

сто фунтов. Нет бесчестия подчиниться льву, но какой человек согласится быть пожранным заживо крысой…

Представьте себе, что сумасшедший приходит в мою лавку, с руками, полными грязи, поднятой в канаве, и требует десять ярдов материи в обмен на нее; я пожалею его, посмеюсь над ним, а если потребует этого его поведение – вышвырну его за дверь. Разве Вуд, предлагая мне свою дрянь в обмен на мое золото и товары, заслуживает лучшего обхождения?»

Бешеные, захватывающие своей страстью слова… Читая их, сжимали люди кулаки, к горлу подкатывала ненависть к «крысе», хотевшей живьем пожрать всю страну.

И еще больше, чем после первого «Письма», рядовой читатель был уверен, что вся страна находится под какой-то страшной угрозой, безотносительно к тому, будет ли циркулировать в стране сто восемь тысяч, или сорок тысяч, или десяток пенсов в вудовской монете.

Накалив страсти до предела, «Суконщик» предлагает составить декларацию об отказе принимать вудовскую монету и собрать под ней подписи всех жителей Ирландии.

Конечно, Свифт понимает, что технически невыполнимо его предложение. Но не в том дело!

Призывом к действию, объединяющему всю Ирландию, Свифт продолжает – и на более высокой ноте – начатую кампанию за создание единства в борьбе.

Единство всей Ирландии – таково существо проблемы.

И с тонким политическим расчетом обращается Свифт в третьем «Письме Суконщика», опубликованном 24 августа, специально к «дворянству и помещикам Ирландии».

«Написав уже два письма, адресованных к людям моего положения, и будучи вынужден обратиться с третьим письмом, я считаю, что должен адресовать его к титулованным и почетным лицам».

Тут можно мимоходом дать выход своей мистификационной иронии. Как раз эти «титулованные и почетные лица» раньше других узнали – по одному положению своему, – кто скрывается за подписью «Суконщика». И очень забавно именно им адресовать такие, к примеру, строки об отчете правительственной комиссии:

«Как сумею я, ничтожный, невежественный лавочник, не искушенный в государственных делах, ответить на такие резонные соображения? Но я попытаюсь это сделать, вооружившись элементарным здравым смыслом, лишенным хитрости, искусства и красноречия».

С едкой улыбкой вооружается декан св. Патрика, составляя это

письмо, тонкой юридической логикой, опытом политика, красноречием трибуна.

Это письмо – обстоятельная диссертация, доказывающая, что Ирландия – даже в рамках тогдашнего государственного права – такая же свободная страна, как Англия, отнюдь ей не подчиненная и объединенная с нею лишь частичной унией в виде королевской власти. Если так понимает дело «ничтожный, невежественный лавочник», то тем более оно должно быть ясно «почетным и титулованным лицам».

Политико-юридическая аргументация «Письма» суммируется в нескольких положениях, звучащих как боевые лозунги.

«Разве не родился народ Ирландии таким же свободным, как английский народ? Разве отказался он от своей свободы? Разве парламент его не является таким же представителем народа, как и английский? Разве ирландцы не такие же подданные короля, как и англичане? Разве не то же солнце светит им и не тот же бог их покровитель и защитник? И если я свободный человек в Англии, то становлюсь ли я рабом после шестичасового переезда через пролив?»

«Если свободный народ имеет право претендовать на справедливость, то мы имеем на это по меньшей мере равное право с правом наших английских братьев… и никак не заслужила эта страна быть принесенной в жертву бесчестной жадности одного прожектера».

«Не такому ничтожному человеку, как я, поднимать вопрос о размерах королевской прерогативы, но я слыхал суждения очень мудрых людей, что королевская прерогатива имеет свои пределы и границы там, где она сталкивается с нарушением благоденствия и благополучия народа».

«Никто до сих пор не был настолько дерзок, чтоб заявить, что ирландский народ исключен из сферы действия того права, каковое принадлежит всем прочим подданным короля; и мы, ирландцы, должны пользоваться теми же свободами и привилегиями, какие имеются у англичан».

«Вуд имел полное право предложить нам свою монету, а мы – на основании и закона, и разума, и нашей свободы, и необходимости – имеем право отказаться от нее».

Эти лозунги, как вспышки грозовых молний, освещают несколько приглушенный фон третьего «Письма», врываются раскатами грома в нарочито спокойную, бесстрастно академическую аргументацию.

Становится ясным и лондонскому правительству, и местной, дублинской администрации, чего добивается «Суконщик»: объединить Ирландию, создать, пользуясь удобным поводом, единый фронт народа

Ирландии – католиков, англиканцев, нонконформистов, туземцев и колонистов, всех, кто страдает – правда, в разной степени и разным образом – от одного и того же зла – подчиненного положения Ирландии в системе английского государства, того положения, при котором жители Ирландии – граждане второго сорта.

И становится ясным, что уже многого добился «Суконщик». Не только вудовская монета подвергнута стихийно возникшему бойкоту – ее действительно нигде не принимают, – но уже возникло на этой почве невиданное доселе сближение между ирландцами-католиками и живущими в Ирландии англичанами. Говорит современник: «При звуке трубы „Суконщика“ буря разразилась в народе. Лица любого положения, чина и партии были убеждены, что вудовская монета обрекает их на гибель. Папист, фанатик, тори, виг – все соединились под знаменем „Суконщика“ в стремлении служить общему делу».

Тревога поднялась в дублинских правительственных кругах. Хью Боултон, ирландский архиепископ и умный политик, как раз в эти дни получивший свой высокий пост, тревожно замечает в одном из своих писем этого периода:

«Основной закон английского владычества в Ирландии – уметь поддерживать вражду между различными группами, слоями, партиями населения Ирландии. Этому закону грозит сейчас опасность».

Кому ж это ясней, чем Свифту? Значит, нужно нанести тем же оружием еще один удар.

13 августа 1724 года, как раз в день приезда в Ирландию вновь назначенного ирландского лорда-наместника Картерета, появляется на дублинских улицах четвертое «Письмо Суконщика». Теперь оно адресовано просто и выразительно: «Всему ирландскому народу».

Мобилизовав народ Ирландии, Свифт стремится теперь призвать его к действию, выходящему далеко за пределы антивудовской кампании. Дело уже не в Вуде и его полупенсе.

И к тому же Свифт знает, благодаря своему положению и личным связям, что антивудовскую кампанию можно считать выигранной. Он знает, что и Картерет и Хью Боултон настроены против вудовского патента. Он не отказывает себе поэтому в злом удовольствии побеседовать откровенно с Хью Боултоном:

«Этот джентльмен (Боултон) никогда не покинул бы свой пост бристольского епископа, приносивший ему тысячу двести фунтов в год, чтоб получать здесь доход, номинально в четыре раза больший, но фактически не составляющий и половины этой суммы. Я надеюсь поэтому,

что хотя бы в этом одном вопросе (о вудовском патенте) он будет таким же хорошим ирландцем, как любой из нас, имевших несчастье родиться на этом острове».

И, зная, что англичане добиваются административных постов в Ирландии ввиду сравнительно высокой оплаты и меньшей стоимости жизни, «Суконщик» пишет со свифтовской презрительной улыбкой на устах:

«Один из наиболее утешительных примеров всеобщей оппозиции к вудовской монете в том, что лица, присланные к нам из Англии для занятия церковных, гражданских и военных должностей, все на нашей стороне. Деньги, которые обычно разделяют людей, на этот раз странным образом явились великим объединителем наиболее разделенного народа».

Но не в презрительной иронии английского декана по адресу своих соотечественников и коллег сила четвертого письма. Он делает теперь окончательные выводы, исчерпывающие в своей лаконичности, грозные в своем спокойствии…

Ирландия – такая же свободная страна, как Англия. Ирландский парламент никак не подчинен английскому. Английские законы не обязательны для Ирландии. Ирландский народ не находится ни в какой легальной зависимости от английского. И если, к примеру, английский народ восстанет против своего короля – он же король Ирландии – и посадит на трон нового, Ирландия имеет право его не признать. Чем же обусловлено нынешнее положение Ирландии? Насилием со стороны Англии – отвечает «Суконщик» и с гневной иронией замечает, что право насилия – это то право, согласно которому «одиннадцать вооруженных людей несомненно справятся с одним человеком в рубашке».

Ударом призывного колокола звучит знаменитая формула:

«Состояние тех, коими управляют без их согласия на то, есть не что иное, как состояние рабства!»

А потому обращается он ко всему народу Ирландии:

«По законам бога, природы, государства и вашей страны – вы есть и должны быть такими же свободными людьми, как ваши братья в Англии!»

Яснее сказать нельзя было. «Суконщик» теперь призывает ирландский народ не только к объединению, но и к восстанию против английского владычества. За меньшие преступления знатным лордам отрубали головы, а простых людей вздергивали на виселицу. И потому в ближайшие же дни была опубликована правительственная прокламация об аресте и предании суду типографщика Хардинга и о награде в триста фунтов тому, кто сообщит властям имя автора «Писем Суконщика».

Конфликт вступил в последнюю, самую острую фазу.

Положение было достаточно своеобразным. Свифт прекрасно знает, что имя автора «Писем Суконщика» известно теперь каждому дублинцу. Картерет, Хью Боултон, лорд-канцлер Мидлтон, подписавший правительственную прокламацию, знали об авторстве Свифта уже после появления первого письма.

И точно так же знает Свифт, что никто в Ирландии не осмелится его «выдать» и что меньше всего хотят этого дублинские власти.

Свифт без маски! Свифт на суде! Это же спичка, брошенная в пороховой погреб! Свифт, может быть, этого и желал, во всяком случае он за себя не боялся.

И дал понять дублинским властям, что не позволит превратить Хардинга в козла отпущения, что не остановится перед разоблачением своего псевдонима.

На следующий же день после опубликования правительственной прокламации – в конце октября – Картерет, новый лорд-наместник и старый знакомый Свифта еще по Лондону, устроил официальный прием для дублинских нотаблей в залах дублинского замка. Конечно, должно было присутствовать на приеме и такое почтенное лицо, как декан собора св. Патрика. Но лорд Картерет, неглупый, сравнительно культурный и корректный человек, он к тому же весьма уважает писателя Джонатана Свифта и очень наслышан насчет далеко не кроткого характера декана, был весьма доволен, не увидев его высокой фигуры среди собравшихся.

Любезный хозяин обходит гостей и подчиненных, выстроившихся полукругом, обмениваясь с каждым любезным замечанием. Но отчего вдруг движение в зале, отчего сбился полукруг в испуганную кучку?

Без предупреждения, без доклада в залу входит быстрой походкой декан. Голова высоко поднята, глаза сверкают гневом. «Таков он, наверное, был, – думает Картерет, – когда обрушивал свой сокрушительный гнев на Оксфорда, на Болинброка».

Свифт направляется прямо к Картерету.

– Итак, милорд, – прозвучал в напряженной тишине его высокий и презрительный голос, – вы совершили вчера доблестное деяние, опубликовав вашу прокламацию против бедного лавочника, единственная вина которого в том, что он хотел спасти свою страну от разорения!

Как легко было бы справиться с «бедным суконщиком» и как трудно ответить что-либо грозному Свифту… Картерет молчит. Свифт продолжает:

– Вы дали прекрасный пример того, что может ожидать эта несчастная

страна от вашего управления. По-видимому, вы ждете, что вам воздвигнут статую из меди в благодарность за то, что вы совершили для этой деревяшки!

Острота была неожиданной и убийственно меткой («вуд» – по-английски дерево, деревянный).

Секундная пауза – и громадный зал грохнул неприличным хохотом по адресу представителя высшей власти в стране. Картерет закусил губу, он знал и раньше, а теперь крепко убедился, что бич Свифта не только больно бьет, но и безжалостно жалит… Он промолчит, – быть может, гнев декана удовлетворится великолепной остротой.

Но когда хохот затих, а многие из собравшихся сообразили с некоторым запозданием, что их-то Картерет не поблагодарит за этот смех, Свифт снова поднял руку, привлекая к себе внимание.

Последующие его слова были очень спокойны и просты. Перед благородным лордом стоит не грозный декан, а скромный суконщик. Но и скромный суконщик сумел сказать достаточно, чтобы его слова повторялись этим же вечером на всех дублинских улицах, в домах и кабачках; особенно насчет того, что не найдется ни в Дублине, ни в Ирландии человека, который предал бы «Суконщика», будь обещано за это не триста, а триста раз триста фунтов, что не найдется таких присяжных в Дублине и Ирландии, которые вынесли бы обвинительный приговор типографщику, напечатавшему письмо «Суконщика»…

Свифт поклонился и вышел…

А вскоре Свифт послал, за собственноручной своей подписью – Дж. Свифт, декан собора св. Патрика, – письмо лорду Мидлтону; оно тоже предназначалось для напечатания и лишь по случайности было опубликовано не теперь, а значительно позже.

Он дает в этом письме краткую сводку всех «Писем Суконщика». Правда, о «Суконщике» говорится в письме Мидлтону в третьем лице, но такая фраза письма: «Я считаю моим долгом, так как Суконщик не появится больше на сцене, занять его место» – разве это не полновесное признание? И в этом письме, уже от своего имени, он повторяет, развивая и усиливая их, те положения, что вызвали правительственную прокламацию, подписанную Мидлтоном.

Да, Свифт не намерен прятаться. И дублинские власти понимают, что, если Хардинг, а тем самым и «Суконщик», будет осужден, можно будет ждать появления на сцене самого Свифта.

Но этого не понимает тупой и злобный судья Уайтшед, под председательством которого идет процесс против Хардинга. Уайтшед уже

раз столкнулся со Свифтом в 1720 году по аналогичному делу. Может быть, поэтому он так рвет и мечет сейчас?

Дело разбирается при участии Совета присяжных, и Уайтшед по очереди вызывает каждого из присяжных, кричит на него, топает ногами и всячески внушает, что признание Хардинга невиновным принесет ему большие неприятности. Дублин узнаёт об угрозах судьи, узнаёт и Свифт. И за день до разбирательства дела получает каждый присяжный – за подписью «Суконщика» – небольшой документ. Он озаглавлен – «Совет»; в нем указывается, что признание Хардинга виновным было бы равносильно оправданию Вуда и принуждению принимать его монету. И далее «Совет» указывает, что угрозы Уайтшеда – бессильные угрозы.

«Совет» был напечатан отдельной листовкой, и весь город ждал исхода дуэли между судьей и «Суконщиком».

Конечно, она окончилась поражением Уайтшеда: присяжные единогласно признали Хардинга невиновным в «сеянии смуты» путем опубликования «Писем Суконщика».

Но Уайтшед не успокоился. Он распустил Совет присяжных, вопреки обычной практике уголовного судопроизводства, и назначил вторичное разбирательство дела, при новом составе присяжных. А на улицах Дублина продавались тем временем листовки с балладами и эпиграммами по адресу «гневного судьи» – нужно ли говорить, кто был их автором?

И возобновленная дуэль окончилась еще более постыдным поражением Уайтшеда: 28 ноября новый состав присяжных не только признал Хардинга невиновным, но и постановил обратиться к властям со специальным заявлением, протестующим против обращения в Ирландии вудовской монеты.

Дублин ликовал. Смехом и радостью наполнились узкие, мрачные улицы, взрывались праздничные фейерверки в честь декана св. Патрика, не было ни одного дома, где не пили бы здоровье «нашего Джонатана», во всех общественных местах и магазинах города висели его портреты, набросанные неопытной рукой безвестных художников, каждое появление его на улицах сопровождалось приветственными кликами и бурными аплодисментами мгновенно собиравшейся толпы, и по всей Ирландии шла весть об «английском декане», восставшем и воинствующем за права обездоленного народа. Тогда и родилась народная легенда о том, что Джонатан Свифт далекий потомок старинных ирландских королей и национальных героев…

Лондону и Дублину нужно было между тем как-то выйти из трудного положения. Хью Боултон – умнейший ирландский политик – послал

отчаянное письмо в Лондон Роберту Уолполу, премьер-министру. «Вся система английского владычества в Ирландии в опасности, – говорил он, – если будет существовать то ирландское единство, что создалось в борьбе с вудовской монетой; выход лишь один – выделить вопрос о монете из всех прочих вопросов, признать себя побежденными в этом частном вопросе и тем самым взорвать базу ирландского объединения». Роберту Уолполу, умнице и цинику, не нужно было дважды объяснять суть дела: к черту престиж, если под угрозой реальность!

И через некоторое время вудовский патент был аннулирован.

Итак, с Вудом, его патентом, его деньгами было покончено. Итак, в своей самой славной и опасной борьбе, которую он вел вначале один, без партии, без опоры, без имени, без защитника, но и без уступок, лишь мощным красноречием, блистательной логикой и непреходящим чувством гнева против насилия и несправедливости, – в самой острой борьбе своей жизни Свифт победил!

Свифт победил?

С горькой улыбкой, с сомнением думает он о своей победе.

«Письма Суконщика» – какое блестящее… литературное произведение! Если не считать стыдливых упоминаний о своих памфлетах в «Дневнике для Стеллы» и восклицания Свифта в одной беседе о «Сказке бочки», – нигде и никогда не оценивал он свой литературный труд. Но понять-то силу свою он мог, цену труда своего он знал!

И видел, конечно, что эти «Письма» – по композиции, по стилю, по гениальному искусству перевоплощения, по блеску диалектики, мощи иронии и силе гуманитарного пафоса – самое выдающееся из всего, что он до тех пор опубликовал… С речами Демосфена сравнивали современники «Письма Суконщика».

Да, никогда он не склонен был видеть в своих литературных произведениях цель в себе, чуждо ему было наслаждение творчеством как таковым. Но ведь здесь как раз, в этих «Письмах Суконщика», была выполнена задача защиты человека от лжи, насилия, несправедливости и достигнута реальная, практическая цель! Когда раньше мог Свифт гордиться таким ощутимым успехом? Правда, «Поведение союзников» способствовало отставке Мальборо и заключению мира, но ведь тогда Свифт говорил от имени партии и поддерживаемый властью, а тут он уничтожил Вуда и победил как безымянный одиночка-суконщик!

Да, победил. Но грош цена победе, и не обычный, а вудовский грош…

Ибо сколько ни отрубал он голов гидре – вырастали они заново.

Предлог и повод он использовал до конца – только тут и была его

победа, – Свифту ли этого не видеть… Ведь рычаг-то был выбит из его рук именно тем, что был уничтожен предлог – вудовский грош. Победили Хью Боултон, Роберт Уолпол, отняв у Свифта его рычаг. На другой же день после аннулирования патента Вуда рассыпалась и распылилась храмина ирландского единства, воздвигавшаяся Свифтом, да и какая храмина – просто карточный домик, построенный престарелым фантазером. На другой же день все стало, как оно и было раньше. Все осталось по-прежнему, мрачные будни рабского примирения со своей участью снова нависли над Ирландией после праздника борьбы. Что изменилось? Что улучшилось? Разве не страдает этот злосчастный народ от несчастий, «подобных которым не знают анналы всей истории человечества»? Разве не так же порабощены не только тело, не только жизнь, но душа и разум злосчастного народа? Разве не так же он унижен, оплеван, осмеян…

Практическая победа… Но немного лет прошло, и Свифт увидел, как незаметно, без шума была импортирована в Ирландию и вошла в обращение медная монета английской чеканки; было забыто и конкретное требование «Суконщика» о чеканке монеты для Ирландии в самой Ирландии. Правда, декан собора св. Патрика распорядился тогда поднять черный флаг над собором, и несколько дней подряд звонили колокола собора печально-приглушенным звоном… Декан мог разрешить себе это удовлетворение, но что из того – забавы и причуды престарелого декана, не больше!

И что из того, что декан собора св. Патрика в последующие годы самый уважаемый, популярный, любимый человек в Дублине и Ирландии…

Что из того, что Хью Боултон пишет в Лондон вскоре после этих событий: десять тысяч человек понадобилось бы, чтоб арестовать декана…

Что из того, что однажды заявил Свифт, и с полным на то правом: «Стоило мне во время вудовских дней поднять палец – и любой представитель английской власти был бы разорван в клочья населением Дублина…»

Что из того, что Картерет говорил впоследствии: «Я управлял Ирландией в эти годы с соизволения Свифта», а обращаясь к Свифту, заявлял: «Я знаю, что весь Дублин считает вас своим покровителем и беспрекословно послушается любого вашего приказания…»

И что из того, что в дальнейшем, когда были у Свифта новые столкновения с английскими чиновниками, добровольная охрана из дублинских горожан днем и ночью стояла у его дома…

Все это приятная щекотка капризного самолюбия – не больше. Все

осталось, как и было.

Диктатор? Но что ему диктовать?

Вождь? Но куда ему вести несчастный, измученный народ?

Этого он не знал.

Поле для посева лежало перед ним – широкое, голое, жаждущее, – но где его семена?

Освобождение Ирландии… И в последующие годы продолжает он писать памфлеты на ирландские темы, было написано еще два «Письма Суконщика», но он знает лишь, что ирландцы должны перестать быть рабами, а путей больше не видит.

Свифт воинствует? Да стоило ли Свифту воинствовать?

Печальные и порочные это мысли. Мысли побежденного. И обволакивают они одинокого старика в его уединенном кабинете, ложатся на душу, жалят в сердце…

Не знает Свифт, что в большом историческом плане побежден был не он. Не знает Свифт, что в борьбе за освобождение разума и души ирландского народа – молчаливой, затаившейся в горе своем Ирландии – он, Свифт, был провозвестником и сеятелем, хотя не сознавал того. Глубоко залегли в душе народа брошенные им семена – сам он их не видел, – и оказались семена бессмертны, как бессмертен народ, и дали свои ростки в последовавшей двухвековой борьбе Ирландии за независимость и свободу.

Честный воин, он считал себя трагически бессильным и не знал, как окажется он в веках могуч!



Глава 16
Свифт платит по счету



У тебя страшно много, ужасно много ума, так много, что я право и не знаю, зачем его столько одному человеку…

Белинский Герцену

Только то, что было исповедью писателя, в которой он сжег себя, чтоб родиться заново или умереть, только оно может стать великим.

А. Блок

Жизнь Свифта – с его ведома, одобрения и активного соучастия, когда был он жив, и под непосредственным посмертным его влиянием – окружена тайнами, загадками, мистификациями. И если одно из главных мест в его жизни занимает книга, кратко именуемая «Гулливер», то естественно, что вокруг нее сгруппировалось столько же загадок.

Прежде всего: когда была написана эта книга? Каков порядок написания ее частей? Немаловажные вопросы, и, однако, до сих пор они не разрешены, и общепринятые ответы на них лишь предположительны…

Мало того: до сих пор отсутствуют исчерпывающие материальные доказательства, что «Гулливер» написан Свифтом… Рукопись «Гулливера» – та, с которой было напечатано первое издание, – не найдена; сам Свифт никогда не заявлял прямо, что он автор книги, появившейся в книжных лавках Лондона 28 октября 1726 года в издании Бенджамена Мотте, титульный лист коей гласил:

«Путешествия в различные отдаленные страны мира. В 4-х частях. Написаны Лемюэлем Гулливером, сначала хирургом, а затем капитаном многих кораблей. Лондон. Напечатано для Бенджамена Мотте в Миддл Темпл Гейт, в Флит-стрит. 1726».

А о выходе в свет этой книги было объявлено 28 октября в трех лондонских газетах – «Дейли джорнал», «Дейли пост», «Ивнинг пост». Тут сомнений нет.

Как попала к издателю рукопись книги? Эта стало известно лишь через двести без малого лет, когда были опубликованы некоторые письма из архива Мотте. Вот одно из них:

«Лондон, 8 августа 1725 г. Сэр! Мой кузен, м-р Лемюэль Гулливер доверил мне некоторое время тому назад копию своих „Путешествий“… Я показал рукопись многим лицам, обладающим хорошим вкусом, и они уверены, что эта книга будет продаваться очень хорошо. И хотя некоторые ее части могут показаться в одном-двух местах несколько сатиричными, но, по мнению читавших книгу, в них нет ничего оскорбительного. Но вы должны судить об этом сами, руководствуясь советом ваших друзей, и если они или вы придете к другому мнению, вы можете известить меня об этом, вернув эту рукопись, но не позже чем через три дня. Хорошие сведения, полученные мною о вас, позволяют мне доверить вам рукопись. Я надеюсь, что мне не придется в этом раскаиваться, и, уверенный в этом, я требую от вас, чтоб во всяком случае эта рукопись была все время под вашим наблюдением.

Так как опубликование этих «Путешествий» будет, вероятно, весьма выгодным для вас, я, как заведующий делами моего друга и кузена, полагаю, что вы дадите за нее должное вознаграждение, ибо я знаю, что автор намерен истратить полученный с нее доход на вспомоществование неимущим морякам; и я уполномочен заявить, что я должен получить за его счет от вас по меньшей мере двести фунтов, но если случится, что продажа книги будет не такова, как я рассчитываю, то, на основании ваших

же указаний, вам будет выплачена та сумма, которая вам в этом случае причтется.

Быть может, вам, деловому человеку, покажется странным подобный образ действий. Но так как я первый настолько доверяю вам – человеку, которого я никогда не видел, я полагаю, что и вы должны доверять мне. Таким образом, если после трех дней чтения и раздумывания вы примете мое предложение, то вы можете приступить к печатанию рукописи, с тем чтобы после принятия решения о печатании вы через три дня вручили банковский чек на двести фунтов человеку, от которого вы получили это письмо и рукопись; он явится к вам точно в четыре часа в четверг, одиннадцатого сего месяца. Если вы решите вернуть рукопись, напишите просто на клочке бумаги, что вы не принимаете моего предложения. Остаюсь вашим покорным слугой – Ричард Симпсон».

Письмо это, вместе с рукописью, было вручено, как удалось через много лет выяснить, Б. Мотте старинным другом Свифта, Эразмусом Льюисом, при участии другого друга Свифта – поэта Попа.

Мотте немедленно ответил «Ричарду Симпсону», очевидно через Льюиса, сообщая, что согласен печатать рукопись, но с тем, что двести фунтов он выплатит лишь через шесть месяцев после выхода книги в свет. Очевидно, «Ричард Симпсон» на это согласился. И ровно через полгода после выхода книги Мотте получил такое письмо: «М-р Мотте, посылаю это с тем, чтобы известить вас, чтоб вы явились к м-ру Эразмусу Льюису в его дом, в Корк-стрит у Берлингтон Хаус, и сообщили ему, что вы пришли по моей просьбе. Означенному Льюису я дал полномочия вести дела, касающиеся книги моего кузена Гулливера, и я согласен на все, что вами совместно будет решено, – так он извещен мной. Легче всего найти его дома по утрам. Ричард Симпсон».

И на этом же листке бумаги такая надпись:

«Лондон, мая 4-го 1727 г. Я целиком удовлетворен. Э. Льюис».

Стало быть, Мотте уплатил. То был изумительно честный издатель, ибо он прекрасно понимал, что если он и не уплатит, то «Ричард Симпсон» ничего с ним сделать не сумеет по причине отсутствия оного «Ричарда Симпсона» в природе.

В письмах к Свифту его лондонских друзей, в ноябре 1726 года, есть много упоминаний о «Гулливере». То же и в ответных письмах Свифта. Но нигде нет прямых указаний, что книга написана им, – тайна сохранялась по мере возможности. И конечно, ни в одном из шести изданий «Гулливера», вышедших при жизни Свифта, не упоминается его имя как автора.

И тем не менее, если б не существовало всех косвенных намеков и

указаний, если б друзья, посвященные в тайну, сумели сохранить ее, если б, наконец, представить себе, что книга не была бы напечатана в 1726 году, рукопись исчезла бы и была найдена только теперь, – то и тени сомнения не возникло бы, что только автор «Сказки бочки» и других свифтовских произведений, только тот, кто прожил свифтовскую жизнь, мог написать «Гулливера». Ибо – если Свифт не Гулливер, то Гулливер – это Свифт…

Весьма многочисленна литература об источниках «Гулливера». Бесспорно, источники эти нужно искать в трех руслах: рассказы о подлинных путешествиях, заполнявшие в то время книжный рынок, фантастические путешествия и утопии. И античные авторы, как Лукиан, и современники или предшественники – Харрингтон, Рабле, Сирано де Бержерак, Веррас Д. Алле, Дампьер, Габриель Фолиньи и многие другие – Свифт читал или мог читать все эти книги, «Путешествие на луну» Бержерака было в его библиотеке, – несомненно, оказали влияние на «Гулливера» – литературоведы могут указать десятки не только совпадений, но и заимствований у данных авторов…

Но все это весьма маловажно.

Комментаторы разметили все места в «Гулливере», источником коих явилась, так сказать, сама жизнь: установлено, например, что приключения Гулливера у двора лилипутов воспроизводят историю Болинброка, некоторые сцены в Лапуте – процесс Эттербери, образ Флимнапа, царедворца лилипутов, списан с Роберта Уолпола, премьер-министра (поэтому и считают, что относящиеся к Флимнапу главы первой части написаны по окончании книги, весной 1726 года, после беседы Свифта с Уолполом). В комментариях можно найти точные указания, что такая-то и такая-то фраза написана под влиянием такого-то события…

И это все хотя и интересно, но маловажно.

Установлено, наконец, что уже в 1714 году, на заседаниях «Клуба Мартина Скриблеруса», Свифту было поручено написать пародию на фантастические путешествия, что был набросан соответствующий конспект – он появился в свет как одна из глав «Мемуаров Мартина» – и что он-то и явился зерном «Гулливера».

Наблюдение это как бы весьма ценно, но и оно в конечном счете маловажно. Маловажно по сравнению с основным и главным фактом, относящимся к «тайне» «Гулливера».

Очень прост, даже элементарен факт.

Гулливер – это Свифт; путешествия Гулливера – это «путешествия» Свифта; читать «Гулливера» нужно не с первой страницы книги, а с ранней страницы в жизни Свифта, точнее, с той страницы, где начинается его

самостоятельный жизненный путь после смерти Уильяма Темпла, с 1699 года.

Основной багаж Гулливера в его путешествиях, как видно из книги, это его здравый смысл. А багаж Свифта? Тот же здравый смысл, воплощенный в рукописи, с которой он не расстается пять лет, – в рукописи «Сказки бочки».

Вот он – основной и важнейший литературный источник «Гулливера»! И недаром на обложке первого издания «Сказки» значатся под заголовком: «Труды того же автора, они будут изданы в самом непродолжительном времени» – такие «труды»: «Панегирик человеческому роду», «Описание королевства нелепостей», «Путешествие в Англию высокопоставленной особы из Терра Аустралиа Инкогнита, переведенное с подлинника»… Вот где зерно «Гулливера».

Знаменитая девятая глава «Сказки бочки» любезно сообщает читателю: автор этой книги – сумасшедший, бежавший из Бедлама. Издеваясь и мистифицируя, Свифт подсовывает читателю приятную для него формулу. Но за издевкой и мистификацией скрывается отказ Свифта примириться с современной ему культурой, ибо она порождение безумия, лжи, насилия.

– Следовательно, – говорит себе Свифт, – ненормален то мир, а я нормален; нормальны мое суждение, мой критический взгляд и диагноз, болезни… А если я прослыву ненормальным – и это нормально, ибо всегда обитатели Бедлама называют сумасшедшими своих врачей…

Так начинает здоровый человек свое путешествие в больном мире. Это – путешествие врача. Автор политических памфлетов, подметальщик Бедлама, Бикерстаф, «опекун» министров, «Исследователь», «Суконщик» – все это маски и облики врача, стремящегося хоть в чем-то, хоть как-то лечить человеческий род. Попытки различны, но результат одинаков: человеческий род не только не может, но и не хочет быть излеченным. Тогда врач понимает, что от долгого участия в забавах безумных и ему угрожает безумие.

И Свифт решает: должен быть оплачен накопившийся счет.

Нужно возвратиться к началу пути и еще раз поставить проблему – мир и я! Но в ином свете, с привлечением новых материалов, чтоб убедительнее был анализ и полнее диагноз.

Так возникает «Гулливер», воспроизводящий в новом, углубленном и опосредованном качестве «Сказку бочки». То, что там постулируется, – здесь художественно, образно доказывается, что там лишь высказано – здесь показано, там чертеж – здесь картина, там рельеф – здесь объем, там

формула мира – здесь видение мира…

Но та же цель, что там: совершенствовать человеческий род.

А потому – тот же результат, что там. Книга становится исповедью. Не хирург Лемюэль Гулливер, а доктор Джонатан Свифт рассказывает о своих путешествиях: скитаниях нормального человека в ненормальном мире.

Итак, «тайна» «Гулливера» разрешена?

Нет, она только осложнена.

Гулливер – Свифт? Но какой Гулливер? Ведь он не один, их четверо – Гулливеров!

Вот первый Гулливер, в стране лилипутов. Тут он в ореоле симпатий читателя, к нему направлено горячее сочувствие, читатель волнуется за его судьбу. Связанный по рукам и ногам злобными и трусливыми пигмеями, он велик, прекрасен, он герой, больше того – он живой человек!

Этот ли Гулливер – Свифт?

Затем второй Гулливер. Жалкая фигурка; герой комических положений, как будто и существует он специально затем, чтоб выслушивать снисходительные поучения короля Бробдингнега…

И этот Гулливер – Свифт?

Третий. Равнодушный и спокойный наблюдатель безумств королевства Лапуты, академии Лагадо, нищеты Бальнибарби, извращений, уродств, идиотизмов; холодно смотрит, аккуратно записывает, бездушно отмечает, бесстрастным голосом рассказывает…

Этот Гулливер – он, наверное, Свифт?

Наконец, четвертый: в стране гуигнгнмов и еху. О, какой, однако, новый Гулливер! Трагический, одинокий, презревший и проклявший свой род и племя подобных себе, ненавистный себе до такой степени, что пугается, увидев свое отражение в ручье; ненавистный себе потому, что он человек, а человек – это еху; возвращающийся в свой родной дом, как в место вечного изгнания…

Какой же из них Свифт? Все четверо – или ни один?

Самое удивительное во всех четырех обликах героя «Путешествий» отсутствие у него удивления перед тем, что он видит. Ничему не удивляется он в мире, в который попал, и, следовательно, не сомневается в нормальности и разумности этого мира, в первую очередь страны лилипутов. Сильная и глубокая мысль тут у Свифта. Гениальным художественным чутьем он понял: удивись Гулливер хоть на миг, откажись он признать реальность и разумность мира лилипутов – все кончено, превращается Лилипутия в бессмысленную сказку. Протест же против разумности Лилипутии исходит не от Гулливера, а от читателя,

философский (а не только элементарно житейский) конфликт между Гулливером и Лилипутией ощущает не Гулливер, а читатель. Оттого лишь усиливается симпатия читателя к герою, но тут не конец. Свифт метит глубже.

Ведь и человек ничему не удивляется в окружающем его мире, считает это первым признаком нормальности и разумности существующего.

Однако оказывается, что «неудивление» ничего еще не доказывает. Гулливер не удивляется, а мир вокруг него ненормален и неразумен. А читатель сочувствует Гулливеру, то есть ставит себя на его место. Но, став хоть на миг Гулливером, не может он не подумать: не лилипуты ли вокруг меня; и этот привычный мир вокруг меня, разумен ли он, нормален ли он?

Тогда и напрашивается аналогия между Англией и Лилипутией. Читатель знает, что существуют в Англии виги и тори; католики и протестанты; существуют англичане и французы. У него нет и тени сомнения в нормальности и разумности этих подразделений. Так вот, оказывается, и для Гулливера ничего странного нет, что существуют «высококаблучники» и «низкокаблучники» (политические партии в Лилипутии), что отличие между лилипутами и соседними блефусканцами в том, что первые разбивают яйцо с тупого конца, а вторые с острого; Гулливер считает все это нормальным и разумным, ибо таков факт!

Но для нас-то он комичен, лишен смысла и разума! Это мир безумия и нелепости! Гулливер не видит, ибо он в плену у факта, а мы – со стороны – мы видим…

Но если теперь мы со стороны взглянем на наш мир – что мы увидим? Каким он покажется нам?

– Я взглянул, – говорит Свифт и ведет нас в страну великанов, в королевство Бробдингнег. Ибо незаметно произошла тут подстановка: король Бробдингнега – он и есть Гулливер первой части, а нынешний Гулливер – он лилипут первой части. Король Бробдингнега ведет и чувствует себя в отношении Гулливера так, как мы себя вели бы и чувствовали в отношении лилипута, попавшего к нам и рассказавшего о своем мире. И мы подписываемся под словами короля Бробдингнега, обращенными к Гулливеру: ты пришел к нам из мира безумия и нелепости… Но ведь мир Гулливера и есть наш мир!

Так развивается внутренняя диалектика книги, диалектика Свифта. И читатель видит: в первой части Гулливер – Свифт, во второй части Гулливер – он сам, читатель.

Точно так же и в третьей части читатель ставит себя на место Гулливера. Он на его месте, но не на его стороне. Ибо Гулливер третьей

части – не сторона, а лишь холодный наблюдатель, фотографический аппарат, фиксирующий картину нелепости и безумия.

«Но Лапута, Бальнибарби, Глаббдобдриб – это не наш мир», – с облегчением думает читатель…

– Не наш, – соглашается Свифт и молчит, предоставляя остальное читателю.

Молчит и читатель, охваченный внезапным подозрением. Не наш – и, однако, разве не понимает он, что все, что увидел Гулливер в Лапуте и Бальнибарби, все это имеется в таких-то намеках, элементах, зародышах и в его, читателя, повседневном мире! Все – начиная от печального политического и экономического положения Бальнибарби (Ирландия) и кончая самыми нелепыми проектами академии Лагадо. Но если неповоротлива и труслива мысль читателя и нуждается он в подсказке, так вот рассказывает Гулливер все так же спокойно и бесстрастно профессорам из академии Лагадо, занимающимся наукой разоблачения политических заговоров, что «в королевстве Трибния, называемом туземцами Лангден, где я пробыл некоторое время в одно из моих путешествий, большая часть населения состоит из разведчиков, свидетелей, доносчиков, обвинителей, истцов, очевидцев, присяжных, вместе с их многочисленными подручными и помощниками, находящимися на жаловании у министров и депутатов. Заговоры в этом королевстве обыкновенно являются махинацией людей, желающих укрепить свою репутацию тонких политиков…»

Как бы труслива и неповоротлива ни была мысль читателя, он расшифрует прозрачные анаграммы – Трибния и Лангден.

Достаточно? Но Гулливер может поделиться еще одним очень спокойным рассказом: о том, как в королевстве Глаббдобдриб, где все жители обладают искусством вызывать мертвецов, предался и он этому занятию, но вызывал не глаббдобдрибских, а человеческих, «знакомых» мертвецов. И эти мертвецы помогли Гулливеру внести «поправки» не в лапутянскую, глаббдобдрибскую, а в человеческую историю – античную и современную, благодаря которым «какое невысокое мнение составилось у меня о человеческой мудрости и честности…». А если читатель хочет дальнейших уточнений – «Я любопытствовал получить точные сведения, каким способом добываются знатные титулы и огромные богатства. Я ограничил свои исследования самой недавней эпохой, не касаясь, впрочем, настоящего времени, из страха причинить обиду хотя бы иноземцам (ибо, я надеюсь, читателю нет надобности говорить, что все сказанное мной по этому поводу не имеет ни малейшего касательства к моей родине). По моей просьбе было вызвано множество титулованных лиц и богачей, и после

самых поверхностных расспросов предо мной раскрылась такая картина бесчестия, что я не могу спокойно вспоминать об этом. Вероломство, угнетение, подкуп, обман, сводничество и тому подобные мерзости были еще самыми простительными средствами из упомянутых ими, и потому, как требовало тогда благоразумие, я отнесся к ним весьма снисходительно». Но все же в итоге Гулливеру пришлось «несколько умерить чувство глубокого почтения, которым я от природы проникнут к высокопоставленным особам, как и подобает маленькому человеку…». И хотя с издевательской иронией подчеркивает «маленький человек», Гулливер, что все это «не имеет ни малейшего касательства к моей родине», не может он скрыть от читателя, что «больше всего я наслаждался лицезрением людей, истреблявших тиранов и узурпаторов и восстановлявших свободу и попранные права угнетенных народов», – естественно, не в мире Лапуты и Глаббдобдриба, а тут, на земле, в мире, привычном читателю.

Интересно было читателю отождествить себя с Гулливером первой части; соблазнительным было отождествление с Гулливером второй части (подлинным Гулливером, то есть королем Бробдингнега); и опасным – отождествление в третьей части. Но не отождествлять себя невозможно. И, значит, невозможно не прийти к заключению: не нужно странствовать, подобно Гулливеру, чтоб увидеть вокруг себя мир безумия, нелепости, насилия и лжи…

Что делать дальше с этим заключением?

Читатель обращается к четвертой части.

Но тут ситуация значительно изменяется.

В первых трех частях Свифт – Гулливер – читатель одно лицо. Но не в четвертой. Тут Свифт просит читателя отойти в сторонку и с предельной откровенностью отождествляет себя с Гулливером. Ибо Гулливер в этой части максимально активен.

Действительно, в первой части Гулливер действует, но не по своей воле, а по необходимости; во второй части он слушает (поучения короля Бробдингнега); в третьей наблюдает. А в четвертой, действуя, слушая и наблюдая, он, кроме того, и это всего важнее, активно высказывается и принимает жизненно важное решение о своей жизни. Но только свифтовское решение; Свифт не навязывает его читателю, проводя тем самым грань между ним и собой.

«Когда я думал о моей семье, моих друзьях и моих соотечественниках, или о человеческом роде вообще, то видел в людях, в их внешности и душевном складе то, чем они были на самом деле, – еху, быть может

несколько более цивилизованных и наделенных даром слова, но употребляющих свой разум только на развитие и умножение пороков, которые присущи их братьям из этой страны лишь в той степени, в какой их наделила ими природа», – говорит Гулливер. И он решает остаться в стране гуигнгнмов, где хотя также есть еху, но где они не цари природы, а рабы.

Но Гулливера изгоняют из страны гуигнгнмов, он должен возвратиться на родину. Как возникает такой финал? Ведь Свифт мог спокойно оставить Гулливера в его счастливой стране, а отчет о его путешествиях мог бы, опущенный в бутылку согласно канонам морских романов, спокойно приплыть к английским берегам…

Да, Гулливера мог прекрасно устроить такой финал, но не Свифта. Ибо для Свифта не существовало страны гуигнгнмов, а писал-то Свифт всю книгу, а особенно эту четвертую ее часть – не о Гулливере, а о себе, да и для себя… И потому Гулливер принужден вернуться на родину – в страну изгнания, страну людей, как принужден в ней находиться Свифт. Гулливер осужден продолжать свою жизнь – одинокий, страдающий, но понимающий: я, Свифт, наделенный горьким счастьем понимания, брошен в этот мир безумия и нелепости, лжи и насилия, я знаю, что выхода отсюда нет, я рассказал о том, что со мной произошло, – это и есть рассказ о путешествиях Гулливера…

Так решается вопрос о том, кто герой книги «Гулливер», но еще не решен вопрос о самой книге.

Свифту хочется намекнуть или напомнить самому себе – это не всегда видно читателю, – что «Гулливер», литературное, сатирическое, авантюрное, полемическое, пародийное и нравоучительное произведение, для него раньше всего – личная книга. Тайное удовольствие находит он в том, чтоб рассказать самому себе биографию своего духа, то есть своей жизни. Не только в большом плане, но и в фактах, в мелочах. Как и Свифт, начинает Гулливер свои путешествия в 1699 году. Ничто не нарушило бы концепции книги, если б он кончил их в 1705 или в 1725 годах. Но Свифт избирает 1715 год. Конечно, ведь к этому году – возвращение в Ирландию после краха – кончились путешествия Свифта в поисках страны гуигнгнмов… кончились попытки Гулливера приспособиться к миру лилипутов, лапутян, еху. И с тем же скрытым значением пишет Гулливер от имени Свифта: «Когда я пишу эти строки, прошло уже пять лет со времени моего возвращения в Англию», – да, это совершенно точно, ибо, по единодушному мнению комментаторов и биографов, Свифт начинает

писать «Гулливера» в 1720 году. Или эта характерная деталь: девяносто одной цепочкой, прикрепленными к тридцати шести замкам, были связаны ноги Гулливера у лилипутов; и девяносто один памфлет к услугам тридцати шести группировок был написан персонажем «Сказки бочки», от имени которого ведется повествование. В «Сказке бочки» эти цифры случайны, но они с определенным намерением, конечно не замеченным современным ему читателем, воспроизводятся Свифтом в «Гулливере»: с горьким удовольствием повторяет он самому себе, что его деятельность политического памфлетиста и была цепями, прикреплявшими его к миру безумия и нелепости.

Своей книгой Свифт доказал сам себе, что он был прав в ходе и направлении своей жизни, что разочарование, одиночество и должно было постигнуть человека, наделенного горькой радостью понимания.

Так оплачивает Свифт счет, предъявленный ему жизнью. Но случилось, что Свифт заплатил сумму несоизмеримо большую, чем указанная в счете. Книга, задуманная как отчет самому себе в своей жизни, превратилась в великое художественное произведение.

Произошло это потому, что ни одно свое произведение Свифт не писал так «лично», так свободно, так для себя, как «Гулливера». Ведь только эту книгу и «Сказку бочки», а она во многом на уровне «Гулливера», он писал без конкретной цели, не отвечая на преходящую злобу дня и, значит, не ограничивая, не сдерживая, не останавливая себя.

Но тут лишь одна сторона вопроса.

Ибо ни одно произведение Свифта не казалось ему столь нужным для человечества, как «Гулливер»; абсолютно равнодушный к своим произведениям после их напечатания, он проявлял заботу и внимание к судьбе «Гулливера».

Отношение к книге как к максимально «своей» и уверенность, что именно в таком качестве она нужна людям, – такая совокупность условий и необходима для создания великого художественного произведения.

В этой книге своеобразно сочетаются мыслитель с художником, который так ограничен и стеснен в других произведениях Свифта. Книга разносоставна и разностильна – не только в отдельных частях, но и в главах, в страницах… Но конфликта между художником и мыслителем здесь нет: Свифту одинаково дорога каждая строчка в книге, и он отвечает одним ответом, одинаковой мерой за каждую отдельную в ней строчку и одинаково – за все!

Человек пишет завещание. Понятно его стремление распорядиться всем своим имуществом, и важным, и незначительным, и заработанным

трудом всей жизни, и случайно приобретенным. Говоря в завещании о своем материальном имуществе, Свифт не обошел молчанием три свои бобровые шапки.

Тем более должен он упомянуть, завещая свое духовное достояние – завещание и есть «Гулливер», – о всем, что было им собрано, накоплено, приобретено, захвачено и удержано на путях его мыслей и эмоций. «Гулливер» – личная книга; значит, должна она вместить всего Свифта – без остатка. Оставляя человечеству все свое духовное достояние, меньше всего думает он о литературной редакции завещания, о желательности написания его одним творческим почерком.

Нормальный человек, брошенный в мир безумия и нелепости, единственно реальный мир, – такова философско-психологическая концепция «Гулливера». Мир этот либо образно показывается – лилипуты, лапутяне, еху, либо о нем публицистически рассказывается – Бробдингнег, гуигнгнмы. Непосредственного отношения не имеют ни к показу, ни к рассказу сцены: как Гулливера хватает обезьяна, как играет он на спинете, как убегает от птиц – и подобные же эпизоды в Бробдингнеге или у лилипутов. В этих эпизодах Свифт словно наслаждается представившейся возможностью отдаться во власть своего гениального юмора, продемонстрировать свое чувство смешного.

И неверно стандартное мнение комментаторов, что введены данные сцены для того, чтоб подчеркнуть «реальность» мира лилипутов и Бробдингнега. Свифт, конечно, был великим реалистом. Именно потому, как подлинный великий реалист, он отнюдь не стремился демонстрировать свое реалистическое мастерство. И затем – реализм Лилипутии и Бробдингнега создается отнюдь не игровыми эпизодами, а необходимостью для читателя отождествить лилипутов с людьми и Гулливера (в Бробдингнеге) с лилипутами. Суровый, горький реализм – и не потешными эпизодами его иллюстрировать и обосновывать…

Но зато как дороги Свифту эти эпизоды! Веселый его смех дорог ему не менее, чем суровая его скорбь.

Существенной частью свифтовского духовного достояния было его настойчивое стремление к веселому смеху. Но где, как, в чем осуществить стремление? В политических трактатах и памфлетах? Да, там проскальзывает оно, но мимоходом, словно контрабандой. В «Дневнике для Стеллы» прорывается оно разительней и чаще. Находит иногда выход в «реализованных шутках». Но лишь в самой личной своей книге, где Свифт – весь, без остатка, осуществилось это стремление в полной своей мере. Как часто хотел он смеяться, не карающим, злым, клеймящим, а простым

человеческим смехом над тем, что смешно, смехом без выводов. Где, однако, найти повод для такого смеха? И вот повод найден, вернее, создан – смешным этим миром, – и он смеется всем своим существом.

И еще пример того, как «Гулливер» вбирает в себя всего Свифта.

Рассказ о струдльбругах – бессмертных. Страницы, посвященные рассказу, едва ли не самые сильные во всем «Гулливере». Но это типичная вставная новелла. В ней нашли свой выход глубоко затаенные мысли и эмоции Свифта, тема этического права человека на бессмертие в современном Свифту обществе должна была волновать его безмерно. Что было делать с такой темой политическому публицисту, памфлетисту на злобу дня? А художественных произведений Свифт не писал… Но легко и свободно умещается новелла в рамках «Гулливера» – своеобразного дневника.

Нужен пример еще характернее? При всей силе отталкивания Свифта от обычных норм быта и непримиримой его антипатии к самым невинным как будто явлениям нашел он место в своей душе для одной даже комической антипатии: к придворным фрейлинам. В сущности, причуда, не поддающаяся разумному объяснению, и она так бы и осталась неоформленной – не памфлет же писать на эту тему – если б не «Гулливер». А тут Свифту не составило большого труда пришить эпизод с фрейлинами при бробдингнегском дворе к ткани повествования, хотя никакой нужды в нем не было и мало художествен этот эпизод.

Очень озабочен был Свифт в процессе писания «Гулливера». Сколько властных внутренних велений, обгоняющих друг друга!

Не забыть спародировать описание морской бури; не упустить возможности разделаться с Робертом Уолполом, всевластным министром; обязательно высказать свое мнение о воспитании и свое отношение к Аристотелю и Александру Македонскому; выразить свое несогласие с декартовской теорией вихрей; не оставить без отклика заигрывание наследного принца одновременно с вигами и тори; посмеяться над Ньютоном; поговорить нелюбезно насчет медицины; пародийно охарактеризовать стиль официальных документов; неистово выругать скрипачей; сообщить о своем возмущении процессом Эттербери; намекнуть, что Англия мошеннически выиграла морской бой при Ла-Гоге в 1692 году; высмеять дамские наряды; предсказать будущие формы войн; упомянуть неодобрительно об астрономии; зафиксировать свое отношение к теории наследственности, а также к вопросу о шерстяной промышленности, а также насчет налоговой системы; а также по поводу католической обрядности.

Но все это – большое и малое, важное и случайное, мучившее всю жизнь и возникшее внезапно – на фоне единой центральной темы: о человеческом мире безумия и нелепости, насилия и лжи, о страшной судьбе в таком мире единственного нормального, здорового человека.

Торопятся, сталкиваясь друг с другом, темы, эпизоды, воспоминания, мысли, эмоции, далекие переживания, забытые, но воскресшие парадоксы, частные ненависти, случайные идиосинкразии, стремясь осуществиться, приобрести плоть и форму. Единственная, неповторимая книга: книга – мир! И кажется, будто долгие годы молчал человек, будучи лишен дара речи, и пришли к нему и сказали: у тебя будет этот дар, но на очень короткий срок, торопись же!

И человек превратился в вулкан, выбрасывающий лаву слов.

Так расшифровывается окончательная тайна «Гулливера». Такова эта, самая обширная, но одновременно самая личная книга, когда-либо написанная человеком. Словно великан мысли и страсти писал ее.

А читали – лилипуты.

Книгу было легко читать по отдельным, так сказать, страницам. И поэтому, задуманная как самая мрачная книга человечества, была воспринята она едва ли не как самая веселая; написанная специально для взрослых, перешла она в потомство как любимая книга детей.

Очень легко было читать в книге только веселые и сюжетные страницы. Успех был грандиозный. Читали – преимущественно эти страницы – до дыр, смеялись до колик. И рассказывали о книге современники Свифта, а в значительной степени и его потомки тем же методом, каким лилипуты произвели опись содержимого карманов Гулливера, – дотошно, детально, в чем-то внешне верно, но не поняв внутреннего смысла и значения описываемого.

Ценили и судили книгу по частям и даже по страницам. Восторгались – до сих пор восторгаются – «изумительным реализмом» Свифта, выразившимся в точности его арифметических выкладок: Гулливер больше лилипутов в двенадцать раз и меньше бробдингнегцев ровно в двенадцать раз, и в строго соответственной мере даны измерения всех предметов и вещей в Лилипутии и Бробдингнеге… Примечательный этот факт свидетельствует, впрочем, не столь о «реализме», сколь о педантизме Свифта – он не преминул запечатлеть в «Гулливере» и эту черту своего характера. Подлинный же реализм книги предпочли не увидеть.

Да и как было увидеть, если разъяли книгу на отдельные элементы – так разъяли лилипуты часы Гулливера, не умея найти внутренней гармонии частей.

Читатели целиком приняли первую часть, сочтя ее прекрасной детской книгой, хотя и написанной Свифтом с целью защиты Болинброка; отозвались в общем одобрительно о Бробдингнеге – логическое продолжение первой части, испорченное, однако, публицистическими отступлениями, сводящимися к брюзжанию обиженного жизнью старика; с большой строгостью оценили Лапуту – хаотическое смешение различных тем, сюжетов, эпизодов, отступлений и рассуждений, из коих одни занятны, другие утомительно скучны, а некоторые просто сведение Свифтом счетов с личными врагами; и начисто, целиком отвергли четвертую часть – монолог полупомешанного мизантропа, человеконенавистника, который предается злостной клевете на человечество…

И в итоге – книга перешла в потомство, предварительно очищенная от «клеветы», как веселая книга, написанная для детей.

Виноват ли в этом Свифт? Конечно! Вольно же ему было оставаться таким «нелитератором» и писать такую личную книгу, руководствуясь лишь одним, внутренним законом: исчерпать себя до дна!

Но пробовали и иным способом расщеплять книгу на волокна. Так делали те, кто задались соблазнительной целью – найти «положительный идеал» Свифта – и поторопились увидеть его в «натуральном хозяйстве» королевства Бробдингнег и страны гуигнгнмов… И не заметили пустяка: того, что Бробдингнег и гуигнгнмы существуют не как реальность и не как идеал, а только как условный композиционный момент, как возвышение, с которого удобнее всматриваться в единственную реальность, в равнину лилипутов, лапутян и еху. Расщепив же книгу на социологические волокна, пытались затем снова выткать ткань – привести в стройную мировоззренческую систему высказывания Свифта – и вновь всплеснули руками, возгласив о «непримиримых противоречиях» Свифта, об отсутствии единой центральной идеи в «Гулливере».

И опять-таки Свифт виноват. Вольно же ему было оставаться таким «немыслителем» (не чета Локку и Гоббсу!) и писать такую личную книгу, руководствуясь одним лишь внутренним законом: исчерпать себя до дна!

А между тем книга Свифта великолепна именно своим единством, несмотря на композиционную свою разорванность и логическую противоречивость отдельных высказываний. Она пронизана тем же единством, как и вся жизнь Свифта, – единством смысла, задачи, пафоса.

– Я, нормальный, разумный и морально здоровый человек, брошен в мир безумия, нелепости, лжи и насилия – и примириться с этим миром, счесть его нормою не могу и не хочу!

В этой формуле-мысли, ставшей эмоцией, и эмоции, возведенной в качество мысли, – смысл, задача и пафос жизни Свифта, и ею же определяется вся концепция и композиция «Гулливера». Сам Свифт не всегда это понимает, самому Свифту иногда кажется, что вот тут он хотел лишь свести счеты с Уолполом, а тут дать выход своему отвращению к медицине. Но – «всем дыханием своим славлю господа», – пелось в старинных псалмах; каждым отраженным в «Гулливере» порывом мысли и чувства, каждым дыханием своего гения утверждает и славит Свифт свою задачу.

Таким образом, «Гулливер», то есть автобиография Свифта, становится биографией человечества, как его видит Свифт. Нет спора – она написана пристрастным биографом, который многого не видит, но он наделен гениальным чутьем социальной практики своей эпохи, непримиримостью гуманиста, этический идеал которого – разумный и свободный человек. Свифт не может указать спасительной системы социального устройства, и как дитя своего времени он ищет ответа в области индивидуальной этики. Страстная непримиримость в отношении зла, безумия, нелепости и лжи – это начало пути.

И поэтому, «оплачивая свой счет», то есть дав гениальную картину конфликта между собой, разумным, свободным и, следовательно, нормальным человеком, и ненормальным миром, Свифт хотел воздействовать на мир. И «Гулливер» – автобиография человека, потерпевшего крах в своей попытке воздействовать на мир, – есть опять-таки и все-таки попытка совершенствовать человеческий род…

Какая… невежливая однако, попытка!

«Плевок в лицо человечества» – таков на взгляд практического разума эпохи монолог Гулливера в десятой главе четвертой части книги, эти несколько десятков строк, горше и жесточе которых не найти.

И Свифт хотел, чтоб люди – еху – это прочли и согласились?

Какая… наивная, однако, попытка!

Но им владеет властная потребность обратиться с призывом:

– Да, вы еху, я об этом не умолчу! И среди вас, еху, я, разумный, свободный человек, одинок. Но только к вам, к кому же еще могу я обратиться с моим непримиримым призывом: может быть, захотите вы, может быть, сумеете вы перестать быть еху? Долгие годы я жил и боролся за то, чтоб хоть в чем-нибудь вы перестали быть еху и приблизились хоть сколько-нибудь к нормальному человеку. Я был побежден в этой борьбе, как Гулливер, я оказался пленником вашего мира, нормальности которого я не признаю, я убедился, что вы не хотите и не можете перестать быть

еху… И все же я пишу эту книгу, я не могу молчать, пока я жив, я следую властному велению, диктующему мне: скажи, скажи им еще раз, – может быть, захотите вы, может быть, сумеете вы превратиться из еху в человека!

Понимает ли Свифт трагическую иронию своего призыва?

Да или нет, но он еще не ставит точки. Путь Гулливера кончен, он возвратился на свою родину – она же страна его изгнания. Но не закончено еще путешествие Свифта, окончательное, последнее возвращение – еще впереди…



Глава 17
Свифт отказывается от пудинга



Ничего не боюсь, ибо ничего не имею!

Лютер

Помни всегда: тебя пригласили обедать к патрону, – стало быть, ты получаешь расчет за былые услуги.

Ювенал

Лондон. 1726 год. Вялое, бледное весеннее утро – сегодня 27 апреля. В столовой дома сэра Роберта Уолпола, премьер-министра Англии, за ранним завтраком – сейчас только девятый час – сидят друг против друга двое людей.

Обширная столовая орехового дерева радовала глаз светлой окраской. Стены, покрытые до середины деревянной панелью с искусной резьбой, украшены веселенькими охотничьими пейзажами; в широких мягких креслах можно полулежать; легкомысленные фарфоровые фигурки

разбросаны в уютном беспорядке на тяжелой доске камина; деловито потрескивали дрова – по утрам еще свежо. В такой столовой должен был завтракать человек спокойный, умевший жить и не любивший огорчаться.

Во всяком случае, поесть он умел и любил. Несмотря на ранний час, завтрак был плотный, даже тяжелый. Хозяин дома, большой, высокий человек, ширококостный, краснолицый, с крупным носом, тяжелым, мясистым подбородком и как бы сонными, но внимательными светло-серыми глазами, очень внимательно относился к утренней трапезе. Круглый стол был уставлен блюдами, кувшинчиками, яствами. Хозяин ел очень медленно, словно оценивая каждый кусок перед тем, как отправить его в рот; крупное его тело, облеченное в мешковатый, но из хорошей ткани сшитый, добротный костюм табачного цвета, покоилось в кресле, голос его был звучен и ровен, смех – легок и добродушен, движения рук, с крупными, длинными, но неожиданно цепкими пальцами, уверенны и властны. Сэр Роберт Уолпол отпраздновал в этом году свое пятидесятилетие, но он и не думал о приближении конца: жизнь, честное слово, хотя и хлопотная, но приемлемая штука, если уметь с ней обращаться…

Его собеседник и гость этого не понимает. Начать с того, что он не умеет и не любит есть. Вот стоит перед ним одно только блюдо – с жидкой овсяной кашей, он не притронулся ни к сочной дичи, ни к яичнице с ветчиной, ни к пряно пахнущей копченой рыбе. Взял ломтик поджаренного хлеба, но не покрыл его ни прозрачным слоем золотистого меда, ни густым и вязким мармеладом. И чашки кофе он не допил. Сэру Роберту кажется, что его гость и собеседник был раньше – правда, это было лет тринадцать назад – как-то выше и крупней. Постарел? Не так уж он стар – кажется, около шестидесяти ему. Мрачный старик – в его черном, длиннополом священническом одеянии, и сидит он, словно нахохлившись, в большом высоком кресле. Ворон, черный каркающий ворон! Но как пронзителен его взгляд!

И сэр Роберт остановился было на полуслове и даже – что так редко с ним случалось – даже опустил глаза, но в это время лакей торжественно, с любовным уважением к своей роли, внес на громадном блюде еще дымящийся, плотный и тяжелый мясной пудинг.

Никто так не владел искусством разрезания пудинга, как сэр Роберт.

– Надеюсь, от этого вы уж не откажетесь, почтенный доктор? Наш английский пудинг, конечно, пища королей, но он доступен сейчас каждому приличному англичанину…

Гость поднял руку, маленькую, словно беспомощную, но голос его

был высок и ненавидящ:

– Благодарю вас, сэр Роберт, я не ем английского пудинга!

Хозяин подавил в себе бешеное желание грубо выругаться, как ругался он, промахнувшись по вальдшнепу… Наглый, беспокойный ворон!

Гость продолжал почти тоном приказания:

– Прошу вас, сэр Роберт, вернемся к теме нашей беседы…

Для того чтобы понять, кем были друг для друга Роберт Уолпол, премьер-министр Англии, и завтракавший с ним в апрельское утро Джонатан Свифт, декан собора св. Патрика, нужно вернуться на несколько лет назад.

Знаменитая Биржевая Аллея, узкий четырехугольник в сердце Лондона, переполнена людьми в эти летние месяцы 1720 года. Негде приткнуться даже в кофейнях. Людские водовороты образуются в нескольких местах. Прямо на мостовой стоят столики, обыкновенные колченогие столики, а за ними сидят и кричат, перекрикивая друг друга хриплыми голосами, джентльмены с выкатившимися глазами, со шляпами, сдвинутыми на затылок, в сюртуках с засученными рукавами, а то и без сюртуков… кричат и что-то быстро заносят в лежащие на столиках длинные листы, то и дело опуская гусиные перья в пузырьки чернил. Июльское солнце безжалостно печет – безоблачный полдень, – острый запах пота, толпа вокруг столиков, каждый хочет протолкнуться первым к пишущему человеку, проклятия, смех, вопли слились в бездонный какой-то гул, поднимающийся к солнцу.

Кого тут нет!

Герцоги, лорды, лондонские лавочники, сельские сквайры, священники англиканской церкви, мясники с Ковент-Гарден, доктора и адвокаты, проститутки и генералы, ремесленники и банкиры, гробовщики и судьи, ростовщики и актеры – все группы населения громадного города, всей Англии – имеют здесь своих представителей… «Здесь ищет милости фортуны тот, кто печален, и тот, кто весел; ее улыбку они ловят или в испуге отступают, когда чело она нахмурит; здесь кавалеры важных орденов и лорды смешиваются с чернью; язычники и христиане здесь продают и покупают, и каждый жадными глазами здесь смотрит на соседа. А тут стоят рядами пышные кареты: красотки леди высунулись из окон, в руках сжимают кошельки – честь продала одна, другая только бриллианты, но одинаково рискнуть готовы обе, примчав сюда, в Аллею Биржевую» – так писал современный поэт…

Рискнуть? Во имя чего?

Отвечает безымянный сатирик:

«Мудрец смеялся как-то над ослом – что волчец ел, травою сладкой пренебрегши. Но если бы случилось мудрецу – Свидетелем безумия явиться – Что на Аллее Биржи происходит – увидел бы он там ослов гораздо худших – В обмен на золото берущих просто воздух!»

Летние дни 1720 года были самыми «боевыми» днями безумной спекулятивной горячки, охватившей весь Лондон и Англию. Возникло в эти дни около двухсот «акционерных предприятий», продававших широкой публике акции за наличные деньги, обещая взамен грандиозные дивиденды. Биржевая Аллея была центром сделок; там, во всех кофейнях, домишках, сараях, а то и просто со столиков на улице принималась подписка на чудесные акции. Разнообразны были «коммерческие» и «промышленные» предприятия: по опреснению соленой воды, по извлечению масла из подсолнухов, по добыванию золота из олова, по переплавке ртути в твердый металл, по торговле человеческими волосами, по импортированию специальной породы ослов из Испании, по откармливанию свиней секретным способом; этот, далеко не полный, перечень составлен не сатириком, а историком… Распространялись также акции «предприятия», проспект которого сообщал, что «цель предприятия не может быть ныне оглашена, но станет в скором времени известна»; основатель предприятия объявил подписную цену на свои акции в два фунта, обещая сто фунтов годового дивиденда. И что же? В течение одного дня число подписавшихся составило больше тысячи человек, а на другой день столика предпринимателя не оказалось на Биржевой Аллее – он исчез с двумя тысячами фунтов…

Но все эти предприятия, выросшие на почве, унавоженной спекулятивным безумием, были лишь незаконными филиалами основного предприятия – «Компании южных морей», вошедшей в историю под характерным именем «Компании южноморских пузырей».

Еще в 1711 году была основана эта компания для финансирования торговли с недавно открытыми южноамериканскими странами. Но лишь к 1719 году пышно развернулась ее деятельность, когда глава ее, талантливый аферист сэр Джон Блэнт, возымел грандиозный спекулятивный план. Он предложил правительству, что компания в обмен на особые льготы и привилегии возьмет на себя выплату процентов по государственному долгу да еще уплатит правительству за право стать монопольным кредитором нации громадную сумму в семь миллионов фунтов. Предложение компании после обсуждения в парламенте было принято весной 1720 года, и компания опубликовала проспекты,

обещавшие грандиозные прибыли тем, кто подпишется на ее акции; в проспектах говорилось о найденных компанией в Южной Америке неисчислимых богатствах, золотых копях, бриллиантовых россыпях… В этом и было существо схемы: публика, видя, что взятием на себя государственного долга компания становится чуть ли не Государственным казначейством, не могла не верить обещаниям… Эпидемическая жажда быстрой наживы породила подлинное спекулятивное безумие – в короткое время новые акции компании, выпущенные по сто фунтов, поднялись до тысячи.

Миллионы стеклись в кассы компании, десятки тысяч людей осаждали целые дни в течение долгих месяцев небольшой ее двухэтажный дом с десятью окнами по фронтону и дорическими колоннами у входа. Каждый мечтал первым попасть в этот Акрополь наживы чтобы успеть купить или перекупить чудодейственные акции. На спекуляции акциями зарабатывались колоссальные суммы. «Пэры королевства забыли свою спесь, помещики – свой домашний очаг, духовенство – свой сан и благородные леди свою скромность – в бешеном стремлении сразу разбогатеть», – пишет современник. И действительно, многие те, что догадались вовремя продать свои акции, разбогатели, несколько человек составили себе головокружительные состояния. А один провинциальный джентльмен, реализовавший на этих и других акциях неслыханную сумму в три миллиона фунтов и не зная, как насладиться безмерным богатством, обратился в сейм польского королевства с эксцентричным предложением перекупить у польского короля Августа II корону (тот в свое время заплатил за нее около ста тысяч…).

И достаточно близко от Биржевой Аллеи жил английский король Георг I, чтоб успеть подставить корону под золотой дождь. И он, и его министры, и его любовницы – а первая среди них дама Кенделл – с великолепной откровенностью спекулировали «морскими» акциями.

«Теперь король усыновил Южноамериканскую компанию и называет ее своим любимым детищем… он ее любит так же сильно, как герцогиню Кенделл», – писал лондонский друг в Дублин Джонатану Свифту 18 апреля 1720 года. А потому и не обижался Георг, когда воскликнул один член парламента по адресу сэра Джона Блэнта и других директоров компании: «Мы сделали их королями, и они себя соответственно ведут».

Но катастрофы постигают и королей.

Джона Блэнта и его компанию погубил грандиозный их успех. Именно этот успех породил сотни подражателей. Блэнт с компаньонами собирали золотой дождь бочками, те – стаканчиками. Но слишком много оказалось

стаканчиков, и предприятия, возникшие на Биржевой Аллее, грозили подорвать репутацию «Компании южных морей». Через парламент был проведен закон, запрещающий образование новых предприятий, был предъявлен в Верховный суд иск от имени «Компании южных морей» о признании этих предприятий мошенническими, незаконными… После такого действительно смертельного удара по конкурентам публика еще с большей яростью бросилась в Биржевую Аллею, требуя назад свои деньги, далеко не всем удалось получить их, и поднялась во всем Лондоне такая буря паники, что не устояло в ней и здание «Компании южных морей».

Цена ее акций стала катастрофически падать. Банкротство всего предприятия не заставило долго себя ждать – осенью 1720 года акции могучей компании превратились в клочки бумаги.

Скандал был грандиозен. Десятки тысяч людей оказались разоренными. Кое-кому из успевших нажиться удалось бежать за границу, несколько директоров компании были арестованы – это спасло их от ярости акционеров. Оказалось сильно скомпрометированным также большинство министров, зашаталась система государственного кредита, создался правительственный кризис.

На волнах паники принеслась к желанной цели ладья сэра Роберта Уолпола.

Сэр Роберт, помещик средней руки из Норфолка – самой провинциальной области Англии, давно занимался политикой: еще при Анне был он видным лидером партии вигов – ему случилось тогда выступить в палате общин против памфлетов Свифта. При Георге, когда к власти пришли виги, карьера его шла медленно. Но теперь он оказался единственным нескомпрометированным политиком – он сумел вовремя сбыть свои акции «Компании южных морей», и известно было, что он неодобрительно относился к расширению ее деятельности. А кроме того, у него заслуженная репутация талантливого финансиста. К концу года сэр Роберт оказался на посту премьер-министра Англии, и в короткое время ему удалось справиться с финансовой паникой и восстановить государственный кредит.

В течение двадцати с лишним лет сэр Роберт – фактический диктатор Англии, воплотитель начавшейся новой эпохи в жизни страны, одновременно ее столп и украшение, соединивший в личности своей характернейшие ее черты.

Он примечательная фигура, этот политик из помещиков, наделенный несомненным чутьем реальности и недюжинным здравым смыслом, сумевший «дать Англии дешевое зерно, устойчивые государственные

фонды, мир и безопасность»; величайший практический циник своего времени, обжора, пьяница и лентяй, принципиальный ненавистник духовной стороны человека, в чем бы она ни выражалась, любитель собак, охоты, грубой ругани, искренне презиравший книгп, искусство, всякую теорию, даже самую политику, поскольку стремится она стать идеологией, охарактеризовавший историю как «собрание лжей», ибо, думает он, какой же человек в состоянии писать правду о себе и себе подобных не только о настоящем, но и о прошлом; с чертовским искусством умевший подкупить каждого человека так, что тот того и не замечал; хвастливо заявлявший о себе: я не святой, не спартанец, не реформатор, но зато извлекаю деньги откуда угодно; никогда и никуда не торопившийся; успевавший спать по десяти часов в сутки и держать в своих руках все дела государства, человек, умевший, по его словам, «сбрасывать с себя свои заботы каждый вечер, как одежды перед сном…».

Таков Роберт Уолпол, бессменный хранитель государственного пудинга, который он так цинично, мастерски умел делить, не забывая, отнюдь не забывая о себе, признанный лидер «пудинговой эпохи»!

Пудинговая эпоха… Каково ее содержание?

Английский пудинг, мясной пудинг – жирное, сытное блюдо; приготовляется оно очень просто, а поедается очень медленно. Вряд ли можно назвать блюдо очень вкусным, и никто никогда не считал его утонченным.

Предрасполагает мясной пудинг к умственной вялости, лености, блаженной тупой сытости.

Шли годы «без истории». Солидно и медлительно Англия отдыхала – после бурь революции, лихорадки реставрации, внешних войн, внутренних склок. Солидно и медленно Англия отдыхала, словно готовясь к новым потрясениям и сдвигам – революции в промышленности, наступившей во второй половине века. Отдыхала, накапливала силы, жила растительной жизнью.

Шли годы без истории, то есть без внешней истории, ибо в глубине свершались важные и значительные процессы. Современники их не улавливали, наслаждаясь сонным спокойствием, охватившим страну после напряжения первого пятнадцатилетия века.

Увеличивается в грандиозных размерах английская внешняя торговля; шерсть, железо, уголь выбрасывает, словно лаву из вулкана, маленький английский остров на ближние и дальние континенты.

Вводятся, медленно, но уверенно, новые методы производства, техницизируется наука, становясь на службу экономике.

Отмирает система государственного регулирования ремесел и промышленности – затихают последние судороги феодализма.

А совокупность всех этих процессов облегчает окончательное проведение в жизнь полюбовной сделки 1688 года: плоть и кровь приобретает идея примирения «денежного» и «земельного» интересов, конфликт которых был содержанием политической борьбы первого пятнадцатилетия века…

Правда, правят страной денежная аристократия, финансисты, они же виги; крупные и средние земельные собственники, преимущественно тори, уступая вигам власть, довольствуются тем, что власть эта бережно относится к их специальным интересам. И действительно, усилиями Уолпола проводится реформа налоговой системы. Налог с поземельных собственников снижен с трех шиллингов на фунт до одного.

Проводится также смелая реформа ввозных и вывозных тарифов, внешняя торговля раскрепощается; все увеличивается количество владельцев государственных обязательств – так создается кровная заинтересованность новых владельцев – а они в большинстве своем земельные собственники – в прочности существующего режима. И тори больше не борются за власть: пусть правят виги, подпустив также их, тори, земельное дворянство, провинциальных сквайров, к куску пудинга.

Пудинга хватает и на тех и на других.

Но не на всех же!

Была и третья Англия. Если не голодавшая, то и не сытая. И она отчаянно боролась за крошки от жирного пудинга.

Но в резком контрасте с социальными столкновениями прошлых лет и с грядущими бурями в эпоху промышленной революции – борьба эта не была прикрыта политическими масками. Англия словно устала от партийных программ, сложных концепций. Все стало проще, голее. Когда на лондонских улицах, среди бела дня, группы людей срывали с проходивших женщин ситцевые платья – все знали: это делают ткачи, охраняя, по наущению своих хозяев, производителей шерсти, интересы своего ремесла, – ситец ввозился из колоний. И прямое непосредственное действие приводило к непосредственным результатам: вскоре был проведен парламентский акт, запрещавший носить ситцевые платья. Мораль была слишком очевидна: хватай свой кусок пудинга где можешь и как можешь!

По эпохе и герой. Кто он? Не политик, не священник, не вождь народа, не идеолог. Общественный герой эпохи – разбойник с большой дороги. Не Робин Гуд, грабивший богачей и благодетельствовавший

бедняков, – образ, подсказанный тоской по социальной справедливости. Нет, просто разбойник-индивидуалист, грабящий и богачей и бедняков, охотясь лишь за собственным куском пудинга.

Джек Шеппард, Джонатан Уайльд Великий, Дик Тюрпин – три разбойника и грабителя, кончившие свои дни на виселице, и каждого из них сопровождали к Тайберну громадные толпы, бешено им аплодировавшие, – они герои дня. О них складываются песни, создается фольклор, впоследствии пишутся романы. И никто не склонен их считать носителями общественного протеста, вместилищем социальных эмоций; просто удалые молодцы, смело протянувшие руку за жирным куском пудинга.

Конечно, эта профессия имеет и свои неприятные стороны: пойманных и вешали, и четвертовали, и сжигали живьем, но то был лишь естественный риск предприятия. Само же предприятие не подвергалось моральному осуждению; понятие о «святыне» частной собственности создалось гораздо позже. Некто Джон Рессел был присужден в 1731 году к виселице за уличный грабеж, ему удалось добиться отсрочки казни. А находясь в тюрьме, он получил по завещанию поместье, и приговор был отменен, Джон Рессел освобожден и благополучно вступил во владение своим поместьем. Логика ясна: у человека оказался свой жирный кусок пудинга, стало быть, он – уважаемый член общества.

И ростки самокритики нового строя, наметившиеся при Анне, – нравственно-обличительные журналы Стила и Аддисона – заглохли в эпоху Уолпола. Умственные и моральные интересы общества оскудели, исчезли: переваривание жирного пудинга не предрасполагает к литературе и искусству. «Мои книги, – любила говорить блистательная Сарра, жена, а затем богатейшая вдова герцога Мальборо, – мои книги – это мужчины и карты!»

Далеко позади казался «золотой век литературы» – первое пятнадцатилетие века. Кончились литературные, философские, морально-политические споры. Кто умер, кто просто сошел со сцены. В 1719 году вышел «Робинзон Крузо» – последний отблеск аддисоно-стиловского «нравственного» направления, и литература замерла; ее пробудили к новой жизни гиганты середины века – Стерн, Ричардсон, Филдинг, Смоллетт, Голдсмит… Из поэтов же остались лишь Александр Поп, холодный формалист, и безмятежный весельчак Джон Гэй. В 1728 году Гэю удалось блеснуть гениальной «Оперой нищего» – и она стала без его ведома апофеозом эпохи пудинга, эпохи Уолпола, той эпохи, когда разница между премьер-министром и разбойником с большой дороги была лишь в том, что

первому кусок пудинга доставался безопасней и был он вкуснее и жирнее…

Такова эпоха. Кому, как не Уолполу – реальному политику, обжоре, пьянице и цинику, – быть ее звездой!

В марте 1726 года Уолпол получил письмо из Дублина от своего ставленника и друга, дублинского архиепископа Хью Боултона. В письме, между прочим, говорилось:

«По общим слухам, декан Свифт намеревается в ближайшее время выехать в Лондон. Мы не сомневаемся, что он попытается при всяком удобном случае представить в дурном свете здешних друзей его величества. Но он достаточно хорошо известен, и столь же хорошо известно, что он являлся вдохновителем недавнего смятения в Ирландии. Мы поэтому убеждены, что его попытки набросить тень на здешних верных слуг короля останутся безрезультатными. Однако будет нелишним тщательно наблюдать за всем, что он предпримет в Англии…»

Уолпол не был встревожен этим письмом.

Декан Свифт? Конечно, он терпеть не может Свифта еще с той поры, как Свифту удалось околдовать неудачника Харли, авантюриста Болинброка… Уолполу случилось тогда выступить против Свифта в палате общин, обличая его в безбожии (политика забавная, конечно, штука!). Пришлось несколько раз встретиться со Свифтом, слышать его речи, читать его памфлеты. Какое отсутствие чувства реальности и политического чутья у этого самодельного пророка, безвкусного обличителя…

У него, Уолпола, нет врагов; если мешает ему кто-нибудь – он его подкупает или убирает; ненавидеть в политике не полагается, это портит пищеварение. Но Свифт его раздражает, как никто. Так много слов знает Свифт – звучных, громких, беспокойных, так много у него всяких идей, концепций, возвышенной болтовни, – если бы вместо этого хоть на грош понимания людей и обстоятельств и умения жить.

Хоть на грош! Конечно, Уолпол прекрасно осведомлен об ирландских неистовствах декана св. Патрика по поводу вудовского гроша. Он не читал – предпочитает вообще не читать, поскольку возможно, – но вынужден был просмотреть эту безудержную болтовню – «Письма Суконщика», что ли… Там есть наглый намек и на него, Уолпола:

«Я докажу вне всяких возможностей опровержения, что м-р Уолпол категорически против проекта Вуда и является подлинным другом Ирландии, докажу тем неуязвимым аргументом, что он, Уолпол, по

общему мнению – мудрый человек, способный министр и во всей своей деятельности руководится истинными интересами короля и страны; его честность и правдивость вне всяких сомнений».

На их литературном языке это называется иронией? Исключительно наглая насмешка. Свифт ведь знал, что Уолпол не мог ссориться с грязной и жадной старухой Кенделл…

Ах, если б Свифт был хоть на грош умен, обыкновенным человеческим, а не проповедническим умом… Можно было бы тогда поговорить с ним по-серьезному об ирландских делах – о финансах, налоговой системе…

А может быть, и поручить ему кое-что, – говорят, он действительно пользуется влиянием в Ирландии… Нет, не выйдет – не тот человек!

Но какие у Свифта могут быть планы в Лондоне? Не присоединится ли он к шайке Болинброка?

Уолпола мало беспокоит амнистия, дарованная Болинброку, и возвращение его в Англию. Конечно, можно было бы обойтись и без этого, но что поделаешь с жадной старухой Кенделл! Болинброк знал, кого подкупить, – взяв несколько тысяч, старуха добилась у короля разрешения Болинброку вернуться. Пусть! Болинброк умеет красно болтать и был бы неприятен в палате лордов, но этого ему не добиться ни за какие деньги: Болинброк получил личную, но не политическую амнистию. Говорят, он хочет выпускать журнальчик, он собирает туда всех бывших людей и несколько бунтующих джентльменов из партии вигов – пусть, это неопасно! В Англии не очень-то любят ныне читать.

Нет, Болинброк и его шайка – это несерьезно.

Нельзя, однако, отрицать – дьявольское перо у Свифта, он умеет выставить человека посмешищем на весь мир. И если он действительно стакнется с болинброковской шайкой?

Но… разве он, Уолпол, так уж беспомощен?

«Льстить недостаткам тех, кого он презирает, втайне их порицать, открыто – искать их поддержки, покорять их при помощи их собственных пороков – вот то оружие, применяя которое, знаменитый Уолпол обратил в рабство англичан, притворяясь, что он защищает их права…»

Если и придется столкнуться со Свифтом – посмотрим, что тут можно будет сделать, посмотрим…

Ленивым жестом бросил сэр Роберт Уолпол в корзину письмо Хью Боултона.

Сведения Хью Боултона были правильны. Свифт действительно

собирался в Лондон. К осени 1725 года «Гулливер» окончен. Что-то нужно с рукописью сделать… Написанное должно быть напечатано, иначе зачем же писать?

Тем более должен быть напечатан «Гулливер». Ибо это особая книга!

В письме к Попу от 29 сентября 1725 года Свифт говорит:

«Я был занят окончанием, исправлением, перепиской моих Путешествий – ныне законченных, в четырех частях, готовых для печати, в тот момент, когда найдется печатник, достаточно смелый, чтоб рискнуть своими ушами».

Свифту нравилось преувеличивать опасность, с которой, по его мнению, связано напечатание «Гулливера»: он пользуется этим преувеличением, чтобы создать вокруг «Гулливера» сложную мистификационную игру, вскоре выступит на сцену мистер Ричард Симпсон. Но он не намерен скрывать смысла и значения, которое он сам приписывает «Гулливеру».

«Главная цель, которую я поставил себе во всех моих трудах, это скорее обидеть людей, нежели развлечь их, и если бы я сумел выполнить мое намерение без вреда для себя, я был бы самым неутомимым на свете писателем… Я всегда ненавидел все нации, профессии и человеческие объединения и любил только человека; например, я ненавижу племя юристов, но люблю советника такого-то и судью такого-то, так же и в отношении врачей – о моей собственной профессии я не буду говорить, – в отношении солдат, англичан, шотландцев, французов и вообще всего остального. Но главным образом я ненавижу и презираю это животное, именуемое человеком, хотя сердечно люблю Джона, Питера, Томаса и так далее. Такова система, на которой я воспитывал себя много лет, и в этом духе я буду продолжать, пока не покончу со всем. Я собрал материал для трактата, доказывающего ложность определения человека как animal rationale[4] – оно должно гласить только – rationis capax.[5] И на этом большом основании мизантропии, хотя не в манере Тимона Афинского, выстроено все здание моих «Путешествий», и я не успокоюсь до тех пор, пока все честные люди не придут к моему мнению».

А в приписке к письму говорится: «Если бы в мире был хоть десяток таких людей, как Арбетнот, – я бы сжег мои „Путешествия“„. Отнюдь не бессознательно пародируя в этих строчках библейское сказание о Содоме и Гоморре, Свифт словно намекал Попу: «Имейте в виду, мой друг, это письмо есть литературный документ“.

Окончив «Гулливера» – самую личную свою книгу, Свифт пытается самому себе раньше всего объяснить эту книгу – и, значит, самого себя. Не

только для того, чтоб констатировать: я таков! – но и для того, чтоб поставить вопрос: что мне, такому, надлежит дальше делать…

В апреле 1726 года Свифт в Лондоне. Около него его друзья. Их не так уж много – Александр Поп, Джон Арбетнот, Джон Гэй, Генри Сент-Джон виконт Болинброк. Пристально вглядываются в Свифта – да, он постарел, тяжела его походка, обрюзгло лицо, глаза лишь изредка вспыхивают тем чудесным взглядом, что проникает в самую душу, судит и выносит приговор.

Он постарел, но ему ведь уже пятьдесят девять…

Ворчит старый декан: удивлен, что так радостно встретили его верные друзья…

У каждого есть, что сказать ему.

Александр Поп, тщедушный и тщеславный, сентиментальный и злой, хорошо успел за двенадцать лет. Самый популярный в Англии поэт после своего перевода Гомера; Свифт помог ему тогда, Поп не забыл. Поп теперь богат, у него нарядная вилла неподалеку от Лондона. Свифт должен пожить у него, и вообще декан Свифт должен остаться в Англии, – как Поп понимает, это желание и вызвало поездку декана, – нужно лишь, чтобы декан получил достойный его пост. Это можно будет устроить, если декан разрешит, – Поп хорошо принят в доме принца Уэльского, наследника престола, Поп даже в приятельских отношениях с супругой принца, принцессой Каролиной, – очаровательная дама, покровительница поэзии и много слыхала о Свифте… Значит, первым делом визит в Лестерфилд Хаус, в резиденцию наследника. Пусть Свифт не беспокоится, он получит официальное и лестное приглашение – это будет устроено через миссис Хоуард, возлюбленную наследника, – милая дама! Но это все потом. Больше всего он, Поп, стремится услышать, наконец, замечательную книгу декана – мы услышим ее, не правда ли?

Молчит декан. Только кажется – или презрительно сжались его губы?

Почтительно и нежно гладит Джон Гэй декана по плечу. Он моложе Свифта на двадцать лет, но не только этим подсказано его почтение к декану, не только тем, что тринадцать лет назад так много сделал для него «муж неприветливый и не мягкосердечный». Но понимает Гэй, человек легкой жизни, баловень судьбы, что трудный этот старик с седыми, мохнатыми, сердито нависшими бровями – человек особый. Доктор Свифт останется в Англии? Если доктор разрешит – он, Гэй, хорошо принят в доме наследника, по специальному заказу он пишет веселые и нравоучительные басни для детей наследника, он приятель с миссис Хоуард, ему, наконец, покровительствует герцог Куинсбери… И он, Гэй,

будет иметь счастье и честь услышать новое произведение декана?

Молчит декан. Только кажется – или с грустной насмешкой взглянул он на Гэя?

Арбетноту трудно выразить свою благодарность декану за столь лестную на его счет приписку в письме к Попу… Он был бы безмерно горд, если б не знал, что декану просто захотелось пошутить относительно своего старого друга. Но Арбетнот должен сказать, что, если б не нашлось издателя для «Гулливера», он, Арбетнот, готов своими руками набрать каждую строчку замечательной книги – мы ее скоро услышим, не правда ли… Декан, конечно, останется в Англии! Не для того, чтоб заниматься политикой – ее в Англии больше не существует. Но как радостен пир мысли, а председатель на пиру – декан Свифт! Можно будет возобновить заседания «Клуба Мартина Скриблеруса» – декан помнит эти чудесные вечера? Не будь этого клуба и руководства декана, ему, Арбетноту, никогда не удалось бы написать свои трактаты – «Историю Джона Булля» и «Искусство лжи в политике», но какие замечательные произведения удалось бы им создать втроем – декану, Попу и Арбетноту… Быть остроумным – разве не в этом оправдание нашей жизни! И как бы совершенно человечество ни было – Арбетнот улыбается своей умной, обольстительной улыбкой – величайшим преступлением перед ним было бы сжигать «Путешествия», в которых, как он уверен, найдет человечество повод не для обиды, а для смеха!

Молчит декан. Только кажется – или тоскливый испуг пробежал по его лицу?

Виконт Болинброк заметно постарел за эти годы. Сколько ему – сорок семь, сорок восемь? В глазах его – застывшая страсть. Он не чувствует никакой вины перед Свифтом – где политика, там нет вины! У них еще будут длинные беседы с доктором Свифтом. Но пусть поймет почтенный доктор, как он здесь нужен уже сейчас. В ближайшие месяцы начнет выходить журнал Болинброка – кому ж, как не Свифту, блистать в нем? Итак, первым долгом нужно обеспечить декану возможность остаться в Англии. Кстати, лорд Питерборо обещал устроить декану свидание с Уолполом. Малоприятное свидание, но что делать – политика! Но пусть не беспокоится почтенный декан – не Уолполу, обнаглевшему выскочке, провинциальному помещику, бороться с Болинброком. Не приедет ли почтенный декан к нему в Хоули – его поместье близ Лондона, – и он так жаждет познакомиться с «Гулливером»…

Молчит декан. Только кажется – или гневный блеск появился в его глазах?

Друзья распрощались, ушли. Свифт один. Вот и все! Лучшие его друзья, блестящие люди, таланты, умы! Они ему дороги, и он им дорог – это правда… Их советы правильны, мудры. Разве он не приехал сюда, чтоб попытаться остаться в Англии, покончить с двенадцатилетним изгнанием, вырваться из тюрьмы…

Он согласится быть представленным наследнику, и супруге наследника, и любовнице наследника – сильные люди ведь бывают полезны: об этом есть несколько строк в «Гулливере», – правда, там есть еще кое о чем…

Он добьется свидания с Уолполом – первые министры ведь бывают полезны, об этом написано в «Гулливере», – правда, там написано еще кое о чем…

Он возобновит содружество Мартина Скриблеруса, у него есть темы для Попа, для Гэя, для Арбетнота, их гложет литературное честолюбие – об этом тоже написано в «Гулливере».

Он согласен даже написать что-нибудь в журнал Болинброка. И вот, в конце концов, он получит желанный священнический пост в Англии, в довольстве и радости проживет он остаток дней, ведь так мало нужно человеку – не сказано ли об этом в «Гулливере»…

Какая гадкая, трусливая ложь и какое безмерное, злое одиночество…

Джон Гэй – трогательный человек – так хочет, чтоб было ему в жизни хорошо, подобно веселому, избалованному ребенку, – он любит в жизни сладкое. А знаете ли вы, Джон Гэй, человек чистой, детской души, всеобщий любимец, что вы прихлебатель в знатных домах, льстец, наемный любезник? Я этого вам не скажу – ведь я вас люблю, и все равно вы этого не поймете. Простите, Джон Гэй, не вам прорвать мглу моего одиночества…

И не вам, дорогой мой друг, тщеславный лилипут Александр Поп! Есть у вас и слава, и деньги, и лучшее общество, и прекрасная вилла. Вы жаждете послушать мои «Путешествия», они вам понравятся, вы будете смеяться – и ни одного слова оттуда вы не примете на свой счет, ибо при блестящих ваших талантах нет у вас маленького таланта – уметь судить себя и видеть себя со стороны… Поверьте, я вас очень люблю, мой друг, мне надо же кого-нибудь любить!

И лучшего, чем вы, Джон Арбетнот, я не найду: в моей приписке был смысл! Вы умны, благородны, учены, остроумны; вы понимаете очень много, ваши трактаты могли бы быть и моими – если бы, если бы было доступно мне ваше счастье равнодушия! Вы безмерно равнодушный человек, мой друг, смеющийся зритель людской мерзости, человеческого

безумия, только смеющийся, и не должны ли вы смеяться надо мной, понимая, что мне мало только смеяться, только быть зрителем? Потому я смотрю на вас с тоскливым испугом.

И не смеется и не хочет быть зрителем четвертый друг – Болинброк! Застывшая страсть в ваших глазах… Как я любил вас, Генри Сент-Джон! Так любил, что в моей книге вступился за вас перед потомством.

И вот вы зовете меня, Болинброк, в новый путь. Новый? Не та же ли игра? Я знаю: ваш козырь – дама Кенделл, гадкая, грязная, жадная старуха, она должна помочь нам вступить на новый путь?! Давайте посмеемся, Болинброк…

Я оплатил мой счет – тот, что был представлен двенадцать лет назад, и вы зовете теперь меня с собой, чтоб я снова стал должником тщеславия, безумия, лжи и насилия…

Вам понятно это, виконт?

Если нет – вам помогут понять эти строки из моей книги: «Мой краткий исторический очерк Англии за последнее столетие поверг короля в крайнее изумление. Он объявил, что эта история, по его мнению, не что иное, как куча заговоров, смут, убийств, избиений, переворотов и высылок, являющихся худшим результатом жадности, глупости, лицемерия, вероломства, жестокости, бешенства, безумия, ненависти, зависти, сластолюбия, злобы и честолюбия».

И вот в этом я должен принять участие с помощью дамы Кенделл? Какая очаровательная шутка, виконт… Но слушайте дальше – говорит король Бробдингнега:

«…Я не могу не прийти к заключению, что большинство ваших соотечественников есть выводок маленьких, отвратительных пресмыкающихся, самых пагубных из всех, какие когда-либо ползали по земной поверхности».

О друзья мои! Если б могли вы понять, что скорее с болью, чем с гневом, писал я эти слова. С болью, ибо я, шестидесятилетний, капризный, безумный декан, вижу теперь то, чего не видел юноша, писавший «Сказку бочки», – немыслимо «совершенствование человеческого рода», ибо больше всего на свете боится человек быть совершенным.

Я оплатил счет моих иллюзий, дайте же мне теперь, мои друзья, дожить мою жизнь не в радости, довольстве, благополучии, а в скорби и суровом негодовании – так честнее!

Свифт последовал советам своих друзей насчет устройства в Англии: было тяжело возвращаться в ирландскую могилу… Но все же не без

сопротивления. Девять раз получал он приглашение явиться к наследнику; он явился лишь на девятое. Визит был удачен – за ним последовали и другие. Все складывалось благополучно, старый декан произвел наилучшее впечатление и на супругу наследника и на любовницу наследника.

Но решение вопроса о переводе Свифта на подобающий священнический пост в Англию зависело от Уолпола. Вообще говоря, вопрос пустяковый – мало ли подобных переводов и назначений провел Свифт в те свои лондонские годы… Но когда речь идет о Свифте, вопрос приобретает государственное значение.

Выясняется, что без свидания с Уолполом не обойтись. Не для того, чтобы ходатайствовать за себя, нужно было Свифту это свидание. Но пусть Уолпол увидит Свифта – и, может быть, он выслушает его повесть об ирландском горе, и, может быть, Уолпол захочет быть просто порядочным, элементарно честным человеком в отношении Ирландии, и в зависимости от этого может решиться и свифтовский вопрос…

Наивно? Непоследовательно?

Но не больше, чем сама поездка Свифта в Лондон.

Свидание было устроено. Свифт был приглашен на утренний завтрак к Уолполу 27 апреля. Тема свидания – беседа об ирландских делах. И назавтра Свифт пишет лорду Питерборо:

«Апреля 28-го. Милорд, Ваше Лордство устроило мне по моей просьбе свидание с сэром Робертом Уолполом, и соответственно я посетил его вчера около восьми часов утра и имел с ним более чем часовую беседу. Вы были настолько любезны, чтоб спросить меня сегодня, что же произошло между министром и мной, на что я вам ответил в общих чертах, и вы остались неудовлетворенным.

Мое желание видеть сэра Роберта не было вызвано никакими другими целями, кроме того, как изложить ему положение дел в Ирландии в подлинном свете. При этом не имелось в виду ничего, что касалось бы меня или кого-либо другого. Поскольку я сравнительно хорошо знаком с ирландскими делами и считал, что сведения, получаемые им, неверны, моя основная цель была навести его на путь истинный, и не только в интересах Ирландии, но и для пользы Англии и ее правительства.

Мое намерение оказалось совершенно ошибочным. Я убедился, что его мнения по этому вопросу слагаются из представлений нынешнего и прежнего правителей Ирландии. А эти представления никак не сочетаются с моей точкой зрения на свободу, которая, по мнению британской нации, всегда является неотъемлемым правом каждого человека.

Сэр Роберт весьма подробно говорил об ирландских делах, но в таком

тоне, который несовместим с моим представлением о правах и привилегиях английского гражданина, в силу чего я не счел возможным обсуждать с ним этот вопрос, как я имел в виду, ибо это оказалось бы бесполезным».

И приписка в конце письма:

«Я покорнейше прошу Ваше Лордство передать это письмо сэру Роберту Уолполу с тем, чтоб он прочел его – это займет у него всего несколько минут».

Характер беседы за завтраком совершенно очевиден: Свифт говорил об ирландских правах, Уолпол об ирландских налогах.

Беседа шла не диалогом, а двумя монологами. Но этого было достаточно, чтобы собеседники прекрасно поняли друг друга. И чтобы Уолпол понял, что Свифт отказывается от пудинга…

И если лорд Питерборо с недоумением прочел приписку – зачем Свифту надобно, чтоб Уолпол прочел письмо, – то уже через несколько дней недоумение рассеялось.

В лондонских салонах и гостиных поползли странные слухи о том, что Свифт просил у Уолпола перевода его в Англию, обещая служить ему своим пером, а Уолпол категорически отказался от сделки…

Обычная история, дешевая клевета. Уолполу, мастеру этих дел, блестящему организатору «торга совестями», довольно было словечко шепнуть, чтоб пустить в ход несложную эту машину! Конечно, он это и сделал, когда убедился, что со Свифтом каши не сваришь. Необходимо в таком случае Свифта наперед дискредитировать – вдруг он вздумает заняться политикой, присоединиться к Болинброку.

Но и Свифт, выходя от Уолпола, должен был, помимо всего остального, тут же, на месте, понять, какое оружие дал он в руки этому человеку беседой с глазу на глаз!

Свифту мучительно стыдно. Чего же он ждал от этого министра, с которого писал портрет министра в Лилипутии?

А теперь возможно все. Будут обвинять его, Свифта, в том, что он захотел кусочка пудинга из рук Уолпола. Но этот удар он отразит и не позволит отнять единственное, чем дорожит, – свое честное имя.

Приписка – предупреждение Уолполу, что его план разгадан. Мало того, Свифт пишет письма аналогичного содержания различным своим друзьям. В письме к священнику Стопфорду он пишет:

«На свидании с Уолполом мы разошлись во всем; но это вызвало толки… Говорили, что мне были сделаны некоторые предложения, и я получил по этому поводу много писем. Но во всем этом нет ни слова

правды».

И в другом письме:

«Уверяю вас, я не получил никаких предложений, да и не принял бы их. Мое поведение в отношении людей у власти было с момента моего приезда сюда совершенно противоречащим таким возможностям».

Контрмеры Свифта, во всяком случае, ослабили удар. Клевреты Уолпола сделали свое дело, но слухи, позорящие Свифта, не нашли широкого распространения.

Беседой за завтраком у Уолпола кончается, по существу, политическая жизнь Свифта.

Хорошо. Вопрос о переводе в Англию пока исчерпан. Уолпол будет против; сумеют ли помочь две дамы, супруга и любовница наследника, – пока неизвестно. Но рукопись «Гулливера» была с ним.

И помимо этого были свои иронические радости у Свифта в эти летние месяцы 1726 года.

Приятно было подарить Попу тему «сатиры на человеческую глупость» – она появилась в 1728 году под заглавием «Дунсиада» (от английского – «дурачок»), имела громадный успех, и не Свифта вина, что Поп, в плену своего эгоцентризма, изобразил дурачками преимущественно своих соперников – поэтов и критиков.

Больше повезло с Гэем. Он написал действительно сильную вещь по свифтовской инициативе. «Опера нищего», появившаяся через два года, – чудесный сценический памфлет о героях Ньюгета и Тайберна, тюрьмы и виселицы, в которых высшие члены лондонского общества, банкиры и министры, с некоторым удивлением узнали самих себя.

Приятно было также помогать Попу и Арбетноту в отборе и редактировании всяких мелочей и шалостей пера, писать новые в таком же стиле – и выпустить все это в свет под эгидой Мартина Скриблеруса. Был столь любимый элемент мистификации в этом. И может быть, было еще приятнее осуществлять мистификационные игры, «реализованные шутки» со своими друзьями. Видно было еще по «Дневнику для Стеллы», как любит Свифт «обыгрывать» свою нарочитую скупость. И вот однажды вечером приходят к нему Гэй и Поп…

– Эге, джентльмены, что означает ваш визит? Как это случилось, что вы покинули салоны благородных лордов – вы так привыкли к ним – ради бедного декана?

– Но мы предпочитаем видеть вас, а не их…

– Вот как? Если б не знать вас, как я вас знаю, – можно было бы этому поверить! Но поскольку вы пришли, придется угостить вас ужином?

– Благодарим, доктор, но мы уже ужинали…

– Уже ужинали? Помилуйте, еще нет восьми часов. Но если б вы пришли на голодный желудок, мне пришлось бы вас накормить. Подумаем – чем бы я вас угостил? Ну, наверное, пришлось бы разориться на пару омаров – приличное угощение… Это обошлось бы в два шиллинга. Затем кусок пирога – это шиллинг, потом вы бы выпили со мной бутылку вина. Конечно, вы поужинали так рано специально для того, чтоб сэкономить мне вино…

– Честное слово, сэр, мы предпочитаем беседовать с вами, нежели пить вино!

– Но если бы вы поужинали у меня, как вы должны были бы поступить по правилам приличия, я поставил бы вам бутылку вина. Итак, бутылка вина – два шиллинга, вместе с прежними – пять шиллингов, по два шиллинга с половиной на брата. Держите, Поп, вот ваша доля, а вот вам, Гэй, я не собираюсь экономить на моих друзьях!

– Все это было сказано, – рассказывает Поп, – с обычной его серьезностью, и, несмотря на наши протесты, он заставил нас взять деньги…

Летом Свифт провел несколько недель у Попа, в его туикнемской вилле. И здесь, тихими вечерами, в уютном кабинете хозяина, в присутствии Попа, Гэя, Арбетнота, Болинброка, он читал «Гулливера».

Свифт читал спокойно, даже несколько мрачно.

Гэй не мог усидеть на месте, вскакивал, заливался смехом.

Поп садился ближе к камину, зябко кутался в нарядный свой халат, широко открывая, словно в удивлении, свои грустные, беспокойные глаза. Сдержанно смеялся – как-то неуютно себя чувствовал – будто давит его сила, непонятная, чуждая. Поп органически не умел переживать в литературе что-либо, кроме себя, и гомеровская «Илиада» была для него только поводом складывать ловкие и гладкие стихи. А сейчас, встревоженный звуками этого удивительного молодого голоса, Поп, пожалуй впервые в жизни, стал догадываться, что литература существует не только для развлечения тех, кто ее делает…

Свифт читал спокойно, почти равнодушно, но Арбетнот сжимал руки. Тонкая проницательная улыбка перешла незаметно для него в страдальческую гримасу. Не мог отвязаться от мысли о строчках в письме к Попу: «Будь хоть десяток Арбетнотов…» Но кто он, Арбетнот, чтобы считать себя вне гнева и скорби могучего судьи? Да знает ли старый декан, что он написал?

Вспоминает Арбетнот – лет двадцать с лишним назад он встретился

впервые со Свифтом в кофейне Бэттона. Пьяный задором молодости, полный наслаждения силой и остротой своего ума и блистательным ощущением неповторимости своей жизни – таким встретился Арбетнот с «сумасшедшим священником». Попытался он тогда посмеяться над Свифтом, забыл, что ответил ему мрачный и стройный человек в темном священническом одеянии, но помнит, что то был безжалостный, сокрушительный удар. И не удар даже, а щелчок, подобный тому, каким сшибает Гулливер сотню лилипутов с ног. А теперь сшибает он с ног весь род человеческий… Ирония, сатира – с нею свыкся Арбетнот. Это его профессия, но не знал он, что может быть она так страшна!

Генри Сент-Джон, виконт Болинброк, человек неистовых и слепых страстей, игрушкой которых видит он себя, когда удается ему в редкие минуты жизни взглянуть на себя со стороны, он словно не слышит чтения: прислушивается к себе. И чувствует: накипает в нем не изведанное доселе волнение. Он понимает, конечно: Свифт думал о нем, о его процессе и бегстве, описывая злоключения Гулливера при дворе лилипутов, – намеки очевидны. Болинброку лестно: пусть потомство будет на его стороне в борьбе, что вел он, как кажется ему, против злокозненной и насмешливой судьбы. Но в этом чтении – не ее ли голос слышен, далекий, равнодушный голос все понимающей судьбы? Румянцем покрывается бледное лицо-маска, и как бы в полусне видит себя так, каким никогда не видел: тщеславным, порочным и комически суетливым человеком. Сон или наваждение? Кажется ему, что хватает рука великана из Бробдингнега этого человека – его, Болинброка, великолепного, страстного, изумительного Сент-Джона, и, не то играя, не то в бездумной издевке, куда-то ставит, толкает, швыряет!

Свифт умолк. Он мрачен, взгляд направлен куда-то поверх слушателей, капля пота, задержавшаяся на желтовато-бледном лбу, скатилась к кустистым седым бровям, маленькая рука потянулась за бокалом. И блеснула улыбка молодости, сверкнул смех в холодных глазах…

– Я надеюсь, друзья мои, вы не спутаете меня, и сейчас и впоследствии, с Лемюэлем Гулливером, корабельным хирургом, записки которого случайно попали мне в руки. Ибо он – проституированный льстец, главная цель которого преуменьшать пороки и преувеличивать добродетели человеческого рода… Смотрите, как пытается он возвеличить свою страну, со всеми ее пороками и гнилью! Уж по этому одному я думаю, что его записки найдут многочисленных читателей и он даже получит пенсию от благодарного правительства – я боюсь, что для этой

цели он и написал то, что я вам читаю.

Так вокруг «Гулливера» начинается мистификационная игра, все та же постоянная свифтовская игра, относящаяся к внешней форме его поступков. Словно не может найти выражения его личность без элемента мистификации: так и в «Сказке бочки», и в памфлетах Бикерстафа, и в политической борьбе «Экзаминера», и в «Письмах Суконщика», и, наконец, в «Гулливере». Все персонажи Свифта – он сам, но не Свифт целиком, каждый из них – его произведение, но он сам – больше их…

В отношении «Гулливера» у Свифта не было серьезных оснований бояться репрессий, как раз тут он мог быть уверен, что авторство его сразу будет угадано всеми, кому это знать надлежит, – и как раз в этом случае Свифт не только особо тщательно настаивает на созданной им игре, но заставляет и других принять в ней участие.

Это видно и из обстоятельств, сопутствовавших передаче рукописи издателю, из писем «Ричарда Симпсона», из посредничества Попа и Льюиса. Но ведь продолжается игра и дальше.

В сентябре 1726 года Свифт возвращается из Лондона в Дублин. 28 октября «Гулливер» опубликован.

И нужно думать, по просьбе самого Свифта Поп, Гэй, Арбетнот пишут ему о впечатлении, произведенном его книгой. Но речь идет не о его книге – и намека на это нет: с комической серьезностью пишут они о «неизвестной книге». «Возможно, – пишет Гэй в совместном с Попом письме, – я рассказываю вам о книге, которой вы никогда не видели, если она не попала в Ирландию, – в этом случае, я полагаю, мой рассказ достаточно рекомендует книгу вашему вниманию, и я жду тогда от вас распоряжения послать ее вам. Но было бы гораздо лучше, если б вы сами приехали сюда и имели бы удовольствие выслушать комментаторов, которые объяснили бы вам трудные места». И дальше, упомянув о гуигнгнмах и еху: «Я боюсь, вы не поймете этих модных ныне терминов, которые, однако, всем понятны, кроме вас».

В том же тоне пишут Арбетнот, Питерборо и даже втянутая в игру посторонняя дама, миссис Хоуард. И в том же тоне отвечает им Свифт. В письме его к миссис Хоуард говорится о «моей книге», но подписано оно не Джонатан Свифт, а Лемюэль Гулливер. Игра проведена до конца – последовательно, безупречно, по всем правилам, и какая же это утомительная и тоскливая в своей очевидной бесцельности игра!

Но нужно понять: чем острее ощущается внутреннее неустройство, тем больше хочется отдаться во власть мистификационных причуд.

А внутреннее неустройство мучает Свифта жестоко.

Пять месяцев провел Свифт в Англии после двенадцатилетнего отсутствия. И что же? Если б и удалось ему здесь остаться?

Конечно, гораздо приятнее, легче стало бы жить. Потому хотя бы, что здесь его друзья – Поп, Арбетнот, Гэй, Болинброк…

Вот именно – Болинброк! Не он ли яркий образчик человека, пришедшегося не ко двору, оставшегося за бортом? Но что справедливо в отношении Болинброка – не справедливее ли во сто крат в отношении Свифта? Как же Свифту не видеть, что и он отвергнут эпохой?

Болинброк никому сейчас не нужен, ибо он беспокойный политик. Но еще меньше нужен он, Свифт. Беспокойство Болинброка – только зуд израненного честолюбия, беспокойство же Свифта не утолится тем, что Болинброк, при оплаченной помощи дамы Кенделл, схватится за кусочек пудинга. Сказано ведь Свифтом: «Главная цель, которую я поставил себе во всех моих трудах, это скорее обидеть людей, нежели развлечь их». Его беспокойство и есть эта цель, и противопоставлена ему сейчас, в эту эпоху, слепая стена, а стену как же встревожить, раздражить, обидеть? Уолпол мог и не понять, на каком языке говорил с ним Свифт, но Свифт-то понял, что Уолпол, а его голосом вся эпоха, говорит с ним языком сытого самодовольства, благополучной устроенности.

И в безмятежном своем спокойствии эпоха пудинга даже не хочет считать Свифта опасным врагом. Тот же Уолпол – стоило бы Свифту протянуть руку и намекнуть – пододвинул бы ему тарелку с пудингом: берите, найдется кусочек и на вашу долю… Свифт не протянул руки, но и Уолпол не стал воевать с ним, а попытался просто оклеветать его – и на этом поставил точку.

А книга, могучая свифтовская книга! Не удастся ли ей хоть как-нибудь воздействовать на эпоху? проломить стену равнодушия?

Эти месяцы в Дублине – с сентября 1726-го по март 1727-го – Свифт живет в атмосфере громадного, потрясающего успеха книги – так сообщают ему его лондонские корреспонденты. И он, впервые в жизни, проявляет к судьбе ее некоторый ворчливый интерес. Он жалуется в письме к Попу: «Я прочел книгу под заглавием „Путешествия Гулливера“, о которой вы столько говорите в вашем письме, и во второй части заметил много мест, по-видимому, измененных и испорченных, словно написанных другим стилем… Один епископ здесь заявил, что книга полна самой невероятной лжи и что он настолько умен, что ни слову не поверил, – тем лучше для Гулливера… Будь я другом Гулливера, я потребовал бы от всех моих друзей, чтоб они громогласно заявили, что с его рукописью безобразно обошлись – издатель и прибавлял к ней и вычеркивал из нее,

так мне кажется, особенно во второй части…» Изменения, действительно внесенные в рукопись издателем, были совершенно незначительны, но слишком важна для Свифта эта книга! Но пройдет немного лет – и Свифт выскажет в простых и ясных словах свое мнение о судьбе своей книги…

Радостно встретили ирландцы Свифта, возвратившегося в Дублин. Уличные шествия, костры, фейерверки – в Дублине еще не забыли о защитнике униженного и оскорбленного народа.

Но как рвется он в Англию!

В том же письме к Попу горькие строки:

«Путешествие в Англию – прекрасная штука, но, к сожалению, она сопряжена с печальной необходимостью возвращения в Ирландию. Какой позор, что вы не сумели убедить ваших министров удержать меня в вашей стране, хотя бы даже с условием держать меня в тюрьме, как заговорщика…»

Однако не все потеряно: идет переписка с миссис Хоуард и даже с принцессой Каролиной, и Свифта обнадеживают намеками и обещаниями.

Как рвется Свифт в Англию! Будто английский климат лучше уживается с душевным неустройством, чем ирландский! Но дайте же Свифту право быть непоследовательным…

И в марте 1727 года, как и год назад, он переплывает пролив св. Георга. Снова Лондон, снова друзья, снова гостеприимная вилла в Туикнеме, приемы у наследного принца, популярность. Если в прошлом году Лондон посетил автор «Писем Суконщика», то теперь в столицу прибыл автор «Гулливера». Все правила мистификационной игры были соблюдены, но кто ж сомневался в авторстве Свифта! И все же никакие репрессии ему не грозили, хотя Уолпол и узнал себя в министре лилипутов. Об этом говорил весь Лондон.

Конечно, о беседе с Уолполом на этот раз нельзя было и думать, но долго ли придется считаться с Уолполом!

Горячее дыхание Болинброка обжигает Свифта. Наклонившись к нему, шепчет Болинброк, что он уже у цели, это дорого стоило, проклятая старуха Кенделл ненасытна, но все возместится, когда белый жезл перейдет из рук Уолпола к нему, Болинброку. А пока Болинброк просит у Свифта статей, злобных, яростных…

Горячее дыхание Болинброка, сумасшедшие его глаза, пьяные страстью, белое лицо-маска, лихорадочный шепот – Свифту становится душно. Какая цитата из «Гулливера»!

Он пишет две-три статьи для журнала Болинброка – вялые,

вымученные, не свифтовские. Он ждет… Чего? Нет, не перехода власти к Болинброку: разве вкуснее пудинг из рук Болинброка, чем из рук Уолпола? Он ждет решения маленького дела – перевода его в Англию.

Драматическая внезапность! Король Георг I умер… Как? Опять на пути Болинброка встала нелепо-случайная смерть? Нет, наоборот, ему выгодна эта смерть. Весь Лондон, вся Англия знают, что новый король Георг II ненавидит Уолпола – теперь-то его отставка неизбежна.

И все торопливей, все яростней захлебывающийся шепот… Неужели и теперь сомневается Свифт? Его-то дело, во всяком случае, устроено. Новая королева настроена так благосклонно к декану… Миссис Хоуард, подруга королевы, любовница нового короля, – близкий друг декана.

Лондон жужжит, имя Свифта снова у всех на устах. И в усталой тоске пишет он другу в Дублин – 1 июля 1727 года: «Я слышал уже о тысяче комбинаций, в которые хотят меня вовлечь, – я холодно отношусь к ним, мне не нравится ни одна из них…» Не потому ли, что каждая из тысячи комбинаций превратит дальнейшую его жизнь в цитату из его книги…

Идут дни. Свифт болен – острый приступ его старинной, привычной болезни – глухоты, головокружения. Приступы учащаются, становятся все упорнее, злее. И он решает: немедленно ехать во Францию, на воды, лечиться.

Но горячее дыхание Болинброка словно поднимается со строк его письма Свифту: «Противоречит элементарному здравому смыслу ваша поездка во Францию в этот момент… как вы можете думать о таком бессмысленном путешествии, когда перед вами предстает наконец возможность переезда из Ирландии в Англию…»

И миссис Хоуард вмешалась в дело.

«Мои друзья рекомендовали мне посоветоваться с миссис Хоуард – они были убеждены, что обещание, данное мне, будет выполнено, ведь я хотел только перевода в Англию, ничего больше. Я написал ей, я заклинал ее отнестись ко мне не как к придворному – я уже давно покончил с жизнью при дворе, но дать мне искренний совет. Она так поступила, и в беседах с друзьями, и в письме ко мне, и ответ был: „Ни в коем случае не уезжайте, это покажется странным и, возможно, неприличным“. А друзья уверяют, что при дворе настроены благожелательно».

О, как они обступили его, эти лилипуты, как связали невидимыми цепями! Хорошо, он будет ждать. Задыхаясь, волнуясь, усталый, униженный, он будет ждать, пока одни лилипуты проведут какие-то комбинации с другими, пока один из них не подставит ножку другому, пока одна знатная дама не упросит другую, еще более знатную даму, чтоб

та уговорила своего супруга – совсем знатного господина; он будет ждать – дряхлый, глухой Гулливер, чтоб ему разрешили переменить одну тюрьму на другую…

И лопнули цепи!

Крайний западный пункт Англии. Маленький островок Холихед, портовое местечко того же названия. Отсюда всего шесть часов езды морем из Холихеда в Дублин. Но рейсы нерегулярны, задерживается пакетбот, и пассажиры принуждены ожидать в Холихеде.

Дождлив и пасмурен августовский день. Туман поднимается с неприветливого ирландского моря. Пустынно на мрачном берегу, все, кто ожидают пакетбот, попрятались в домишках Холихеда. Сгущаются тяжелые сумерки. И в тусклом их свете призрачной кажется одинокая фигура, расхаживающая вдоль берега. Взад-вперед, взад-вперед – триста шагов от убогой пристани до конца скрипучих мостков.

Джонатан Свифт возвращается из Англии в Дублин.

Шеридан, его друг, помог ему неожиданным письмом. Но горька эта помощь: Стелла, мисс Эстер Джонсон, опасно больна, может не выжить – сообщил ему Шеридан.

Это предлог немедленно возвратиться в Ирландию, но Свифт знает: настал момент последнего, окончательного его возвращения домой, на родину, в страну и мир его изгнания.

Стелла! Единственное его произведение, реально существующее.

Его мечты, стремления, надежды, дела – все в прошлом, ушедшие тени. Что с того, что запечатлены они на бумаге, – о чем скажет людям бумажный памятник? За тень не уцепиться. А теперь уходит и Стелла – единственная реальность. Ему Стеллы не спасти. И не для того он ринулся из Лондона, чтобы пытаться спасти Стеллу.

Из Лондона он бежал, спасая себя от главного во всей жизни своего врага – от иллюзий. От последней и самой дешевой иллюзии, что он, Свифт, не сумевший совершенствовать человеческий род, смирится и в светлой радости, и в тихом довольстве, и в блаженном спокойствии проведет остаток своих дней.

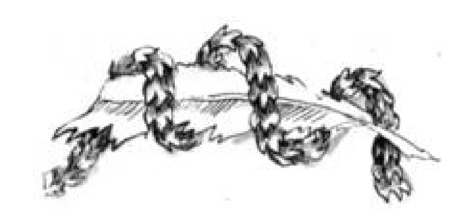
Покончить с этой иллюзией! Нельзя отказаться от себя на краю могилы, нельзя поддаваться проклятому человеческому стремлению и в самом аду найти местечко поудобнее, попрохладнее…

Он вернется в свою привычную тюрьму, в свой знакомый ад, который раз он возвращается – сколько раз он мерил быстрыми шагами скрипучие мостки?

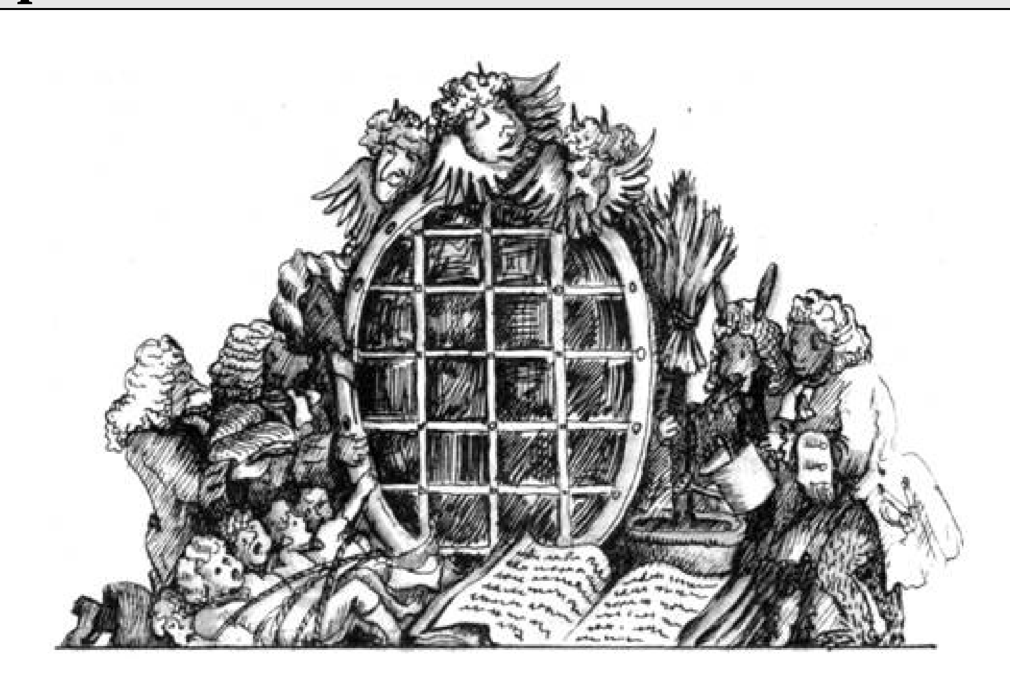
Довольно. Последние месяцы в Англии – в уменьшенном масштабе – вся его жизнь. И постоянные его попытки растянуть, удлинить ту веревку, к которой он привязан, были они особо смешны сейчас, в эти месяцы. Легко было бы сейчас удлинить веревку, но привязанным он все равно останется. Но и Свифтом он останется – вопреки всему. Назад, в старую тюрьму, с тем, чтоб уж не покидать ее.

Проклятый корабль, проклятое море, проклятая страна; долго ли ему еще ждать – неужели так трудно вернуться в тюрьму!

О, Стелла…



Глава 18
Свифт возглашает тост



Жизни вино высыхает
капля за каплей;
листья судьбы опадают
один за другим.

Омар Хайям

…И при закате своем -
Это все то же светило…

Нонус

Стелла умерла 28 января 1728 года, по-видимому, от туберкулеза. Умерла, как и жила, на своей отдельной квартире, довольно далеко от дома декана – дом был при соборе. Декан не с нею в последние ее часы, он ждет известия о смерти в своем кабинете. Скрывшись за занавеской в своем кабинете, – так передают «очевидцы», – смотрит он, как переносят прах Стеллы в усыпальницу собора св. Патрика.

«Бессердечие крайнего эгоизма!» – восклицают один за другим возмущенные биографы Свифта. Нельзя оспорить эту формулу – так соблазнительна она своей очевидностью. Можно лишь противопоставить ей другую: стыдливость крайней человеческой гордости…

И этой же ночью – так свидетельствует аккуратно проставленная Свифтом дата – он пишет на нескольких страничках, только для самого себя, в форме как бы объективного отчета, характеристику Стеллы: «Дама, с которой я был интимно знаком, в Англии и Ирландии, в этой стране она жила двадцать шесть лет с восемнадцатилетнего возраста… Дама эта обладала лучшими человеческими достоинствами, каковые я когда-либо видел у мужчины или женщины». Затем следуют различные случаи из жизни Стеллы, ее остроумные шутки… Очень сдержанная и спокойная характеристика. Зачем же неистовствовать и бушевать – и против кого бушевать? Против судьбы?

В небольшой плотный конверт была вложена тонкая прядь черных волос, и сделана спокойной, твердой рукой надпись на конверте: «Только волосы женщины». И опять-таки «издевательское, циническое равнодушие», – говорили многие. Но и с миром и с собой, и серьезно и шутя, Свифт говорит только в своей свифтовской манере, тем более он не хочет изменить себе в этот важный час жизни…

Стелла умерла. Но ведь ему нужно жить! И не изменяя себе, в полную свою силу. Не выдавая того, что эта сила стала уже ненужной.

Ибо во все дальнейшие годы этой жизни (целых семнадцать лет, и не менее тринадцати из них в полном сознании) с каждым днем все властнее убеждение: «Я ничего не добился, я – побежден…»

А наиболее ощутительно он побежден в последней битве жизни, в ирландской битве. Пусть остался ирландский народ порабощенным, но если бы сохранились под пеплом хоть искры той воли к свободе, которая, казалось ему, взметнулась мощным пламенем в вудовские дни!

«С каждым годом, а вернее, с каждым месяцем я становлюсь все более гневным, мое бешенство настолько неблагородно, что мне становится ненавистным, в его глупости и трусости, этот порабощенный народ, среди которого я живу… Правда, я думаю, как, наверно, думаете и вы, что уже пора мне покончить с этим миром, но перед тем, как перейти в самый лучший мир, я хотел бы быть в чуть лучшем, а не умереть здесь в бешенстве, подобно отравленной крысе в дыре» – так пишет он в эти годы Болинброку.

«Меня беспрерывно снедает бешенство против мерзостей, творящихся в обоих королевствах, и особенно в этом. Конечно, это слабость» – так он

пишет Попу.

Высказывая желание, чтоб тело его было похоронено не в Ирландии, а хотя бы в Холихеде – ближайшем клочке Англии, он пишет Шеридану: «Я не хочу, поскольку это от меня зависит, чтоб даже тело мое лежало в стране рабов…»

Что же, однако, делать, когда чувствуешь себя побежденным!

«Продолжать бороться», – как бы отвечает Свифт.

Он пишет и публикует дальнейшие памфлеты на злобу дня, по поводу различных деталей ирландской политики.

Не значит ли это, что он сдался и успокоился на маленьких делах?

Но не так-то легко включить в цикл маленьких дел скромное предложение, сделанное священником христианской церкви в 1729 году:

«Скромное предложение, имеющее целью не позволить детям ирландских бедняков превратиться в бремя для своих родителей и своей страны и обратить их в источник дохода для общества».

Очень деловито и спокойно доказывается статистическими выкладками, экономическими и политическими аргументами, как целесообразно «скромное предложение» памфлета. А состоит оно в том, чтоб дети ирландских бедняков убивались еще в младенчестве, когда тельце их так нежно, а косточки так мягки, и мясо поставлялось на кухни английских лордов. Неужели детское мясо не окажется вкуснее баранины? И притом подобный предмет ирландского экспорта отнюдь не опасен для английской экономики, а Ирландия сумеет, даже при дешевых ценах на детское мясо, обогатиться, если, как следует того ожидать, спрос на лакомый продукт будет все повышаться.

Если бы Свифт стремился написать эффектное литературное произведение, с каким восторгом мог бы он поставить точку в последней строке этого памфлета! Острее, эффектнее, оригинальнее ничего не придумаешь… Но нужно вспомнить: писал памфлет шестидесятидвухлетний старик, популярнейший в Ирландии человек, неукротимый боец в прошлом! Какой же другой восторг, кроме своеобразного «восторга отчаяния», мог продиктовать строки «Скромного предложения». Трагическая ирония, которой насыщено каждое слово памфлета, направлена раньше всего в адрес самого Свифта, еще так недавно считавшего, что доводами логики, разума, справедливости и гнева можно помочь обездоленным и униженным. Свифт видит теперь, как комически наивен он был. В 1728 году разразился в Ирландии в результате неурожая картофеля небывалый голод, вымирали целые деревни. Но английское правительство не вняло и доводам голода. Ирландия осталась

предоставлена собственной судьбе. Тогда Свифт и бросил в лицо английским лордам и чиновникам свое «Скромное предложение» – трагический вопль ненависти к ним и горькой иронии в отношении себя.

А жить дальше все же нужно. В полную свою силу. Но уже не скрывал от себя, что сила эта стала ненужной.

Тогда мысль Свифта возвращается к самому себе. Хочется все же подвести итог странствованиям Гулливера в мире еху.

Но теперь Свифт не хочет быть серьезным: это все в прошлом, когда он еще предавался забавному занятию «совершенствования человеческого рода». Теперь же он будет только шутить, ведь и «Скромное предложение» – не более как шутка.

И в плане необычайно веселой шутки пишет он в ноябре 1731 года поэму «На смерть д-ра Свифта», стоящую на уровне самых сильных его прозаических произведений.

Пустяки! Никто даже глазом не моргнет, когда распространится весть о смерти старого декана. Дамы посудачат за картами, решат, что он был смешным чудаком, через год – не больше – забудутся и его произведения. А друзья? Что ж, бедный Поп погорюет с месяц, Гэй – неделю, Арбетнот – денек, а Сент-Джон вряд ли соизволит даже пролить слезу… Но вот собралась как-то в таверне компания, и случайно вспомнили о декане: тогда поднялся некто незнакомый и произнес о покойном Свифте целую речь…

В этой речи – она центральное место поэмы – Свифт отнюдь не хочет предаваться ложной скромности, тем более что поэма и не предназначалась для печати и была опубликована лишь в 1739 году, с ходившего по рукам списка, и то в изуродованном виде. Он хочет самому себе рассказать о себе – пусть и шутливо, но эта шутка должна быть правдивой… Он писал для исправления пороков человечества… разоблачал дурака и бичевал подлеца… не искал ничьей помощи… помогал обиженным… прекрасная свобода была его лозунгом, за нее он сражался в одиночестве, готов был погибнуть; дважды назначалась цена за его голову, но никто не осмелился предать его.

И дальше сильными в своей простоте стихами рисует он свой жизненный путь, проникнутый единым смыслом, и кончает поэму последней яростной шуткой, сообщая, что свое состояние декан завещал на создание госпиталя для идиотов и сумасшедших, ибо ни одна страна не нуждается так в этом госпитале, как Англия…

Проходит почти десять лет после смерти Стеллы. Какими длинными, пустыми должны они казаться Свифту!

Как и раньше, он много пишет. Из значительных вещей, помимо «Скромного предложения» и поэмы «На смерть д-ра Свифта», написано им неожиданное даже для Свифта произведение: «Полное собрание вежливых и остроумных разговоров в трех диалогах, согласно дворцовой и салонной практике».

Он один в своем строгом кабинете, этот сумрачный, одинокий старик, склонился над столом, сжал губы, тщательно выводит каждую букву своим, четким аккуратным почерком. После тридцати пяти лет литературного труда, давшего миру «Сказку бочки», «Письма Суконщика», «Гулливера» – а ведь он знает этому цену, – пишет он с обычным своим вниманием, старанием, чувством ответственности эти «Разговоры».

О чем они? В заглавии ясно сказано. Не о политике, не о морали, и если «для исправления пороков человечества», то каким-то совершенно новым методом. «Разговоры» – пародия, растянутая и утомительная, в отдельных фразах сверкающая вспышками язвительного остроумия… Какой-нибудь присяжный остроумец мог бы от нечего делать написать подобную пародию. Но Свифт! Тратить силы и время на такой пустяк! Да, но ведь тост Свифта, любимая его поговорка в эти годы (он произносил ее всегда по-французски) гласила:

– Vive la bagatelle!

– Да здравствуют пустяки!

Он произносил любимую фразу именно по-французски: так звучала она лучше.

Правда, было не только это, жизнь не только «в пустяках». Он написал за эти годы несколько яростных стихотворений-сатир против Уолпола, против английской администрации в Ирландии, против ирландского парламента, против общественного разврата и равнодушия «эпохи пудинга».

И некоторые из сатир – хотя они публиковались без имени автора – настолько жалили, что Свифту угрожала непосредственная опасность. В связи с одной сатирой осторожный Уолпол – при Георге II он стал почти диктатором страны – уже отдал распоряжение об аресте Свифта, о предании его суду. И лишь вмешательство ирландских агентов, тревожно сообщивших министру, что понадобится десять тысяч человек, чтоб арестовать в Дублине Свифта, спасло – не Свифта, а Уолпола – от неприятностей. И когда в другой своей сатире Свифт безжалостно высек видного дублинского чиновника Беттесуорта и тот во всеуслышание угрожал Свифту физическим воздействием, горожане Дублина образовали

специальные бригады, охранявшие днем и ночью дом декана.

С каждым годом становился Свифт в Ирландии все более величественной фигурой. Современники рассказывают забавный, но правдивый анекдот. Среди дублинских низов распространился слух о предстоящем солнечном затмении и сопряженных с ним бедствиях. Толпа встревоженных, испуганных людей направилась к дому декана, ища утешения, совета, помощи. Декан вышел к ним, толпа стихла.

– Люди, – говорит Свифт очень спокойно и серьезно, – знайте, что я отдал приказ отменить затмение, оно не состоится.

Успокоенная толпа разошлась.

В эти же годы прочно установилась не только в Англии, но и на континенте его писательская слава. Отдельные его сочинения публиковались без его ведома, часто по неточным, искаженным спискам. С 1735 года крупнейший дублинский издатель Фолкнер приступает к изданию сравнительно полного собрания сочинений Свифта в нескольких томах, по подписке.

Свифт сначала негодующе протестует. Но авторского права в Англии нет, Свифт не может помешать Фолкнеру. И тот просит декана – в его же собственных интересах – проредактировать собрание сочинений, и в особенности «Гулливера». Нехотя, ворчливо он соглашается. И пишет Попу в 1734 году: «Издание моих произведений – зло, которое я не в силах предотвратить. Никаких денег оно мне не принесет. Мои друзья исправляют ошибки, а иногда я сам посвящаю этому делу несколько минут». В действительности же, по свидетельству Фолкнера, во время печатания «Гулливера» он являлся к декану каждое утро и читал ему корректуры, в которые Свифт вносил свои исправления, стремясь к тому, чтобы все темные места становились ясней. И когда это выходило, удовлетворенный Свифт, по словам Фолкнера, заявлял: «Теперь годится, ибо я пишу для простого народа, а не для ученых людей».

И действительно, дублинское издание «Гулливера» – Свифт написал к нему специальное предисловие – несколько отличается от лондонского по тексту. В 1727 году Свифт был разгневан тем, что рукой Мотте, а может быть, Эразмуса Льюиса в текст четвертой части «Гулливера» был вставлен параграф, посвященный достоинствам королевы Анны. В дублинском издании этот параграф опущен, и об этом сказано в предисловии…

Не «пустяками», значит, были заняты эти годы!

Со смертью Стеллы приемы у декана – Стелла была хозяйкой на приемах – хотя и стали гораздо реже, но все же продолжались. Домоправительница, миссис Брент, содержала хозяйство декана в строгом

порядке. Сам он торжественно выполнял все функции, связанные с его постом. Руководил жизнью собора с его многочисленным персоналом, решал административные, хозяйственные и прочие дела, ревностно охранял свою независимость, фактически превратил свой деканат в самоуправляющуюся единицу – высшие церковные власти, зная характер Свифта, молча признали его авторитет, – принимал многочисленных просителей по делам, непосредственно и не связанным с его положением декана. Как некогда в Лондоне, имел своих опекаемых, способствовал их карьере; среди них были Томас Шеридан, Патрик Дилэни, священник Уоррэл…

Но с настойчивой подчеркнутостью избегал Свифт встреч со своими старшими коллегами, ирландскими епископами. Будучи сам англичанином, занимая важный пост в англиканской церкви, Свифт вместе с тем считал оскорблением для Ирландии тот факт, что все ирландские епископы были пришельцами из Англии. И с открытым вызовом любил он повторять мрачную и грубую шутку о том, что английское правительство посылает в Ирландию прекрасных епископов, но ни один из них до Ирландии не доезжает: по дороге разбойники убивают их, надевают их одежды, берут их документы, появляются в Дублине и выполняют епископские функции… Очевидно, эта шутка никак не могла способствовать популярности Свифта в высших церковных кругах.

Зато у него был свой собственный широкий круг, где он и властвовал безраздельно, – помимо друзей, в него входили все те, кому Свифт оказывал помощь. Он был благотворителем-организатором. Потому он и упорядочил выдачу милостыни своим нищим – среди них были главным образом старые, одинокие женщины, лишенные возможности работать, – их прозвали «свифтовский сераль». А для нуждающихся ремесленников, мастеровых, мелких торговцев он создал что-то вроде кассы взаимопомощи. Все эти расходы Свифт покрывал из собственных средств. Он разделил свой годовой доход, составлявший около полутора тысяч фунтов, на три части: одна часть шла на содержание деканата и личные расходы, другая откладывалась – она и образовала около двенадцати тысяч, завещанных им на устройство госпиталя для идиотов и слабоумных, а третья часть, наибольшая, составляла его благотворительный фонд. Свифт гордился созданной им системой и был очень доволен тем, что в высшем дублинском обществе его считали старым скупцом, и с наслаждением подчеркивал, что он экономит на бутылке вина для гостей…

Так шли годы – как будто спокойные, наполненные разумной деятельностью, насыщенные внутренним удовлетворением. Знаменитый

писатель, популярнейший в Ирландии, независимый человек – чего мог он желать больше? Как же возникает эта странно легкомысленная, нарочито циническая формула: «Да здравствуют пустяки!»?

«Вот уже семь месяцев прошло со времени появления моей книги, а я не только не вижу конца всевозможных злоупотреблений и пороков, по крайней мере, на этом маленьком острове, как я имел основание ожидать, но и не слыхал, чтоб моя книга привела хоть к одному факту, который соответствовал бы моим целям».

Этому выводу предшествуют такие строки:

«…мне приходится пожалеть о собственной большой оплошности, выразившейся в том, что я поддался просьбам и ложным доводам… и, вопреки собственному убеждению, согласился на издание моих путешествий. Благоволите вспомнить, сколько раз просил я, когда вы ссылались на интересы общественного блага, принять во внимание, что еху представляют породу животных, отнюдь не способную, к исправлению под влиянием наставлений и примеров. Так оно и вышло».

И в заключение:

«…что касается еху, то, очевидно, что даже в нашем отечестве они исчисляются тысячами и отличаются от своих диких братьев из Гуигнгнмии только тем, что обладают способностью к бессвязному лепету и не ходят голыми. Я писал не для их одобрения, а для их исправления… Я должен откровенно признаться, что после возвращения моего из последнего путешествия пороки, свойственные моей натуре еху, ожили во мне… Иначе я никогда не предпринял бы нелепой затеи реформировать породу еху в нашей стране. Но теперь я навсегда покончил с этими фантастическими планами».

Так пишет капитан Лемюэль Гулливер в письме «к своему родственнику Ричарду Симпсону». Письмо это предпослано фолкнеровскому изданию «Гулливера», опубликованному в 1735 году.

Но если признать, что затянувшийся опыт «совершенствования человеческого рода», начавшийся «Сказкой бочки», кончившийся «Гулливером», был неудачен; что еху не способны к «исправлению»; что «нелепа» была сама «затея»; что с «фантастическими планами» пора «навсегда покончить»; если видит старый декан, что «Бедлам» торжествует; что трагикомической была жизнь «нормального» человека в окружающем «ненормальном мире»; что тюрьмою духа окончились скитания Гулливера; что не за горами горький финал – смерть одинокого, больного путника в тюрьме – «дыре», – если все это так, то лишь одно осталось: быть мужественным и честным. И, отказавшись от каких бы то

ни было иллюзий, признать все оставшееся пустяками…

Упрочившаяся слава, продолжавшаяся по инерции литературная деятельность, общественное уважение, сознание своей власти над приближенными, помощь нуждающимся и беднякам, подчеркивание своей независимости – это не больше чем пустяки, побрякушки на цепях заключенного. Но заключенный продолжает жить, даже двигаться по своей камере, побрякушки на цепях звенят – что ж, да здравствуют побрякушки, да здравствуют пустяки! Чтобы не плакать над своей жизнью, Свифт смеется над ней…



Глава 19
Свифт согласен умереть



Дальше – тишина.

Шекспир

Жизнь! Как без смерти уйти от тебя?

Эзоп

Мэтью Пилкингтон, скромный дублинский священник, был весьма доволен: наконец-то он приглашен на обед к самому декану Свифту… Правда, Мэтью понимал, что добился лестного приглашения не он, а миссис Пилкингтон, его молоденькая, умненькая и очень деловитая жена, – недаром она послала недавно декану ко дню его рождения вежливые и приятные стихи (боже, с каким трудом она сочиняла эти двенадцать немощных строчек!).

Но все-таки приглашение получено; теперь остается только понравиться декану. Конечно, не так это просто. Супруги предупреждены:

декан Свифт – чудак, трудный, капризный, неприятный человек.

Но Мэтью полагается на свою жену. А она ведь уже добилась через доктора Дилэни чести быть представленной декану, и тот даже сказал ей несколько ласково-шутливых слов. Потом были написаны стихи, и вот супруги приглашены на торжественный воскресный обед.

«Это было все-таки очень трудно, – пишет миссис Пилкингтон, неглупая, хорошенькая женщина, помогающая карьере своего мужа, в письме подруге. – Правда, старик был все время в хорошем настроении, но приходилось все время думать, как бы не попасть впросак. На Мэтью, сама знаешь, положиться нельзя, и он чуть не напортил в самом начале обеда. Вдруг он говорит декану, что ему очень нравятся проповеди декана в соборе. Старик сразу помрачнел, я так и замерла. „Не знаю, о чем вы говорите, – произносит старик этим своим противным, высоким голосом и смотрит на бедного Мэтью взглядом ну прямо василиска, – я предпочитаю проповедовать вне собора, памфлеты – вот мои проповеди!“ Тут доктор Дилэни – он сидел рядом – толкнул меня, я, к счастью, догадалась и спрашиваю: „А о чем были эти памфлеты, мистер декан?“ Ну, лоб у него разгладился, и он отвечает: „О вудовском пенсе, вот это были хорошие проповеди“. Я уж было открыла рот, чтобы похвалить их, но он, к счастью, успел прервать меня: „Только не говорите, что вы их читали, ведь вы их не читали!“ А я ответила: „Нет, я только хотела сказать, что обязательно их прочту“. Он тогда улыбнулся, посмотрел на меня даже довольно ласково и говорит: „Признавайтесь, каковы ваши недостатки, миссис Пилкингтон“. Я сумела вовремя покраснеть, а тут вмешался Дилэни: „А почему у нее должны быть недостатки, мистер декан?“ – „Видите ли, – говорит старик, – когда я замечаю в человеке какие-либо достоинства, я уверен в наличии у него недостатков, иначе нет баланса“. Я, конечно, поклонилась и сказала, что это очень лестно для меня. Обед кончился – кстати, очень скупой обед, всего три блюда, – и он спрашивает, какой я хочу десерт. Я говорю: „Вашу беседу, сэр!“ Он сморщился и говорит очень тихо, даже жалобно: „Я спрашиваю: какой десерт?“ Тут я вспомнила вовремя, что он любит готовить кофе, и смело отвечаю: „Чашку кофе из ваших рук, сэр“. И он действительно сам поставил кофейник на огонь и стал рассказывать глупейшую историю, что когда он был молод и беден, то был слугой в кофейне и, подавая знатным посетителям кофе, прислушивался к их разговорам, и от этого у него на всю жизнь испортился характер. Я не удивилась – ведь я уже знала, что он любит рассказывать про себя всякие небылицы. А за обедом он рассказал Дилэни, как он в университете провалился на экзамене. И когда Дилэни вежливо сказал, что это, наверное,

потому, что он не хотел учиться, старик вдруг отвечает: „Нет, я просто был идиотом!“ Да, с ним очень трудно… Ну, мы выпили кофе, оно было сварено отвратительно, потом он пригласил меня в свой кабинет. Дилэни и Мэтью ушли, и он сказал, чтоб Мэтью зашел вечером за мной, и он разрешит нам поужинать с ним. В кабинете он сказал, что теперь он будет меня мучить целых два часа. Но я не испугалась и ответила, что согласна на все. Кабинет у него очень большой, и все страшно аккуратно, на стене его большой портрет, а на письменном столе много всяких интересных вещичек. Он вынул из стола толстую рукопись – она называется „История Утрехтского мира“ – и заставил меня читать вслух. Но все время он останавливал меня и спрашивал, понимаю ли я, „потому что, – говорит он, – я хочу, чтоб это сочинение было понятно самому недалекому человеку, и если вы – то есть, значит, я – это поймете, тогда все в порядке“. Я, конечно, не обиделась. Но читала я всего около получаса, он, наверно, увидел, что мне очень скучно, но не рассердился. Потом он спросил, не хочу ли я помочь ему привести в порядок его письма. Я очень обрадовалась, я решила, что вошла в его доверие. Он вывалил на стол целую груду писем и просил разложить их по отдельным кучкам. Очень много писем было от знаменитого поэта Александра Попа. Я держала одно в руке, и мне ужасно захотелось прочесть его. Я не посмела попросить, но он угадал, взял письмо, просмотрел его, вернул мне и говорит: „Если это нужно для вашего счастья – можете прочесть“. Я было начала: „Помилуйте, сэр, я и не думала…“ – но он прервал меня и крикнул по-настоящему страшным голосом: „Зачем вы лжете? Я запрещаю вам лгать, читайте!“ Я прочла. Письмо было очень смешное: Поп рассказывает в нем об очень большом успехе, которое имело сочинение его друга Гэя – „Опера нищего“, и все-таки по письму видно, что Поп этому не очень рад. Я сказала о моем впечатлении декану; тогда он странно улыбнулся и говорит: „Вы хорошенькая женщина, правда (я вовремя успела покраснеть), и вот – у вас подруга, такая же хорошенькая женщина, – конечно, вам будет неприятно, если ее будут хвалить в вашем присутствии“. Потом он помолчал и прибавил: „Писатели в этом отношении гораздо хуже хорошеньких женщин“. Тогда я совсем осмелела и спросила: „А вы сами, сэр?“ И он так крикнул, что я задрожала: „Не говорите глупостей, ребенок, я не писатель!“ И он швырнул на стол письмо и задел широким рукавом лежавшие на столе прекрасные золотые часы, они чуть не упали – я их успела подхватить. Старик очень обрадовался, видя, что часы целы, и говорит: „Стекло обязательно разбилось бы, и починка стоила бы не меньше шиллинга“. Я и подумала: „Значит, это верно, что он очень скуп“.

Тогда он позвал домоправительницу, миссис Брент, дал ей шиллинг и сказал, чтобы она отдала его „номеру пятому“. Я не поняла, в чем дело. Но потом, когда он отдыхал, я разговаривала с миссис Брент, ожидая ужина и Мэтью. Она мне рассказала, что, когда декан экономит на каких-нибудь своих расходах, он отдает сбереженную сумму своим беднякам, он даже часто, когда обедает один, пьет пиво вместо вина и тогда дает ей полтора шиллинга для бедняков. А все бедняки, главным образом старые женщины, занесены в специальную книгу, под номерами. Она показала мне эту книгу, и оказывается, они записаны там не только по номерам, но и по именам, то есть не по настоящим, а которые он сам выдумал. Это очень смешные имена, я запомнила такие: Кансерина, Стимфа-Нимфа, Пуллагоуна, Флоранелла, Стумпантеа… А у имени Кансерина, сбоку, рукой декана было написано: „Как и предполагалось, умерла от рака, пришлось быть похороненной без гроба“. Миссис Брент объяснила, что декан строго ей заявил, что помогает людям, только покуда они живы. Ты видишь, он, пожалуй, и не скуп; Брент сказала мне, что он тратит не меньше пятисот фунтов в год на бедняков, подумай только – пятьсот фунтов! Но все равно – это ужасный старик! Ну вот. За ужином ничего особенного не произошло, но только он внезапно говорит Мэтью – тот, бедняжка, даже поперхнулся: „Вы все-таки глупы, Пилкингтон, зачем вы женились на этой даме? Гораздо разумней было бы обзавестись лошадью – она стоила бы вам гораздо меньше и доставила бы гораздо больше полезного упражнения и удовольствия… Неужели вы предпочитаете женщину лошади?“ Мэтью сидел весь красный, даже вспотевший – декан говорил так строго, не улыбаясь. А я немедленно вспомнила четвертую часть „Гулливера“ и говорю ему спокойно: „Сэр, если бы здешние лошади были как в стране гуигнгнмов, но ведь они совсем другие“. Тут он улыбнулся и даже похлопал меня по спине. А когда мы уходили, он проводил нас по лестнице и, увидев, что идет дождь, всунул мне в руку шиллинг и сказал: „Это на кеб, вы не должны нести из-за меня расходов“. В общем, я очень довольна. Еще несколько свиданий, и я сумею попросить у него рекомендательные письма для Мэтью. Он обещал посетить нас, придется сделать в квартире основательную уборку, – он просто сумасшедший насчет чистоты. Он высокого роста и худой; руки у него маленькие, красивые, горячие, лицо сумрачное, а глаза странные – такие пронзительные, – и все-таки как будто он ничего не видит, что кругом…»

Итак, Мэтью Пилкингтон и его супруга были очень довольны. Действительно, еще несколько визитов – и муж получил рекомендательные письма, а супруге удалось присоединиться к кругу тех коршунов, что

кружились начиная с 1736 года над слабеющим Свифтом. Оррери. Эмори, Диен Свифт, Марта Уайтвей – последние два родственники декана – первые в этом сонме лживых биографов, сомнительных мемуаристов, собиравших сплетни, рывшихся в бумагах, подсматривавших, подслушивавших, чтобы в недалеком будущем, когда умрет старик, спекулировать на своей «близости» к нему.

В недалеком будущем – в этом все были уверены. Ибо с половины 1736 года значительно ухудшилась хроническая болезнь Свифта, начавшаяся в возрасте приблизительно тридцати лет. Это была необычная болезнь, точный диагноз которой был поставлен лишь в конце девятнадцатого века; так называемая «меньерова болезнь», или лабиринтин, выражающаяся в мучительных головокружениях и длительных приступах глухоты.

Сначала приступы длились день, два, неделю. С начала тридцатых годов они становились все длительней и злее. И Свифт с ужасом стал замечать, что они имели своим последствием потерю памяти. Правда, она возвращалась потом, но урывками, клочками, и все большее количество событий, имен, лиц отходило в небытие, погружалось во мрак. Это было страшно: жизнь умирала как бы частицами. И тогда-то возникло у Свифта убеждение, что последние годы жизни проведет он пораженный слабоумием. И от этой угрозы пытался он отгородиться воздвигавшейся им стеной «пустяков». Не он ли сам отчеканил когда-то формулу: «Забавы – счастье тех, кто не умеет думать». Теперь нужно внести многозначительную поправку: «Тех, кто не хочет, кто боится думать…»

Учащающиеся приступы болезни каждый раз выключают Свифта из мира. Уже раньше Свифт избегал встречаться с людьми, он стыдился своей глухоты. Теперь же он настаивает на полном одиночестве. Каждый новый приступ – новый тяжелый камень в воздвигаемой им самим стене, отделяющей его от мира. В тюрьме болезнь построила для него другую, внутреннюю тюрьму.

Друзья… Где они? Умер Джон Гэй, умер благородный Арбетнот, умерли Питерборо и другие… Все реже становится переписка с больным Попом, с Болинброком, который не может оправиться от нанесенного ему удара, торжество Уолпола – крушение всех его планов…

Только Томас Шеридан и Патрик Дилэни в какой-то мере могут поддержать с ним беседу, и то в стиле этой формулы: «Да здравствуют пустяки». А остальные? Разве Свифт не видит, что они друзья-коршуны… вот прилетел и молодой, хорошенький коршуненок, миссис Пилкингтон, и озабоченно хлопает крылышками…

В 1736 году Свифт работает над большой сатирической поэмой «Клуб Легиона» – об ирландском парламенте. Этот орган, представляющий англо-ирландских лендлордов и чиновников, провел законы, ущемлявшие и без того скудные имущественные права низшего духовенства в Ирландии.

Повод для Свифта был совершенно достаточным: богатые ограбили бедняков. Бешеная ярость охватила его, ярость против ирландского лендлорда – «угнетателя духовенства, мучителя арендаторов, спекулянта общественным достоянием, наглого, безграмотного…». Двести строк сатиры – сгусток гнева: «Дьявол их бог – пусть же проклянет их сам дьявол!» – вот последние строки памфлета.

Но сатира осталась неоконченной: небывало сильный приступ головокружения охватил Свифта. Приступ этот имел особо тяжелые последствия. Свифт уже не мог оправиться, промежутки между новыми приступами становились все реже. В конце 1737 года Свифт пишет в письме: «…годы и болезнь разбили меня окончательно; я не могу ни читать, ни писать, я потерял память и утратил способность вести беседу».

И действительно, в оставшиеся годы он не написал ничего сколько-нибудь значительного, если не считать неоконченного «Наставления слугам» – наставления о том, как должны вести себя слуги в порядочном барском доме: как надлежит им воровать, какими методами обманывать хозяев, как лицемерить, как ненавидеть друг друга…

Но нужно чем-нибудь заполнить оставшиеся годы.

Круг одиночества сомкнулся. Обширный дом декана пуст.

Ухаживает за ним помимо домоправительницы его дальняя родственница, Марта Уайтвей, самый хищный из коршунов; она в сговоре с Оррери и другими, она сумела отвадить от дома Шеридана, Дилэни, она ведет деловую переписку с лондонскими издателями; ведь столько неопубликованных рукописей разбросано повсюду в доме.

Свифт все это видит, знает – но не все ли ему равно!

Он молчит. Обедает в одиночестве. Из дома он почти не выходит. Врач требует физических упражнений, и несколько часов в день, быстрой походкой, он поднимается и спускается по внутренним лестницам своего обширного, пустого дома… Но в дне столько часов, но ведь есть и ночи. Читать он не может или не хочет. И он пишет – лихорадочно, жадно, – пишет письма, по большей части Шеридану. Своеобразные письма!

В стихах и прозе – на изобретенном собственном наречии – англо-латинском: начало слова английское, окончание латинское, или наоборот… Содержание писем шуточно-заумное.

Значит, судьба сжалилась над Свифтом – он наконец впал в слабоумие? Отнюдь нет. Если не считать потери памяти, разум его так же силен, как раньше. Но только… только он не знает, как истощить его, как заставить его замолчать.

…Не все письма он посылает Шеридану – тот не успел бы все прочесть; значительную часть написанного он сжигает, рвет.

Проходят годы: 1737, 1738, 1739. Все так же, все то же. Изредка Свифт берется за книгу, изредка промолвит несколько слов. К концу этих годов уходит из его жизни и Шеридан: хлопотливой Марте как-то удалось поссорить Шеридана со стариком. Но разве старику не все равно? Он может и не посылать англо-латинских сочинений Шеридану, он может все сжигать…

Но еще бодрствует его разум, жив неукротимый дух. В начале мая 1740 года он редактирует окончательный текст своего завещания: единственное за всю жизнь сочинение, подписанное именем Джонатана Свифта. Сочинение достойно подписи, ибо оно завещает потомкам «суровое негодование». Свифт согласен отдать «пустякам» свой могучий интеллект, но не свое суровое негодование.

Наступает 26 июля 1740 года: слабой рукой набрасывает он последние свои строки, последнюю жалобу в своей жизни, и по своей откровенности это первая и единственная жалоба!

«Всю ночь я невыразимо страдал и сегодня ничего не слышу и охвачен болями. Я настолько отупел и потерял разум, что не могу объяснить, какие муки унижения переживает мой дух и тело. Все, что могу сказать, – я еще не в пытке агонии, но жду ее ежедневно и ежечасно… Я уверен, что дни мои сочтены, они должны быть недолги и жалки…»

А дальше – тишина.

Дни агонии были долги. Они длились пять лет.

Но и за эти годы Свифт не лишился разума и сознания.

С 1741 года Свифт почти совершенно перестал говорить. Он не утратил дар речи, его состояние нельзя назвать афазией, изредка он все же произносил отдельные слова, фразы, и не бессмысленные. Но полное отсутствие памяти и глухота привели, очевидно, к утере механической способности составлять слова. Однако сумасшествия, в его клинической форме, не было – легенда о сумасшествии была пущена впервые в клеветнических мемуарах Оррери. Правда, в августе 1742 года специально образованная комиссия нашла, что Свифт «не в состоянии заботиться о себе и своем имуществе, как лицо слабого ума и лишенное памяти», но нигде в выводах этой комиссии не говорится о сумасшествии.

Тяжело об этом и подумать, но, очевидно, Свифт до последних дней понимал, что с ним происходит. Тем мучительней была его пытка.

За последние годы он меньше двигался и потолстел. Лицо его округлилось, в глазах застыло детски-жалобное недоумение… Последняя его фраза относится к 1744 году. Она очень проста: «Какой я глупец…»

19 октября 1745 года шарканьем ног, шумом голосов, почтительно приглушенных, наполнился обширный и пустой дом Джонатана Свифта, декана собора св. Патрика. Тело семидесятивосьмилетнего старика лежало, прикрытое, в его кабинете, на широкой софе.

Люди шли нескончаемым потоком. Жители Дублина, ремесленники, лавочники, бедняки, старухи, те, кто видели его на улице, в церкви, те, кто слышали постоянные толки о странном английском священнике, заступавшемся за ирландцев, помогавшем беднякам, о суровом декане, написавшем веселую книгу, о гневном человеке, ненавидевшем угнетателей и поработителей, о безумном старике, который был мудрецом… Подходили к телу, останавливались, вглядывались в спокойное лицо с закрытыми глазами и седыми прядями волос, свешивавшимися на высокий лоб, на котором разгладились морщины… Кто-то постоял у тела, наклонился, отрезал прядь волос и бережно спрятал у себя на груди. Шорох прошел по комнате, люди сгрудились у тела… Снова стало тихо, и в чинном, торжественном порядке образовали очередь к телу, и каждый получил маленькую прядь седых мягких волос.

Так простился ирландский народ со своим великим защитником. И если б мог знать об этом Джонатан Свифт, улыбнулся бы он перед смертью гордой, радостной улыбкой, какой так редко приходилось ему улыбаться в жизни…



Эпилог
Свифт пишет завещание



…Свободный человек менее всего думает о смерти; в исследовании не смерти, а жизни состоит его мудрость…

Спиноза

…Меч вы должны возложить на мою могилу: ибо был я храбрым солдатом в войне за освобождение человечества.

Гейне

Так редко приходилось ему улыбаться в жизни. «Суровое негодование» не разрешало улыбки. Свифт прожил долгую и трудную жизнь. В ней было очень мало радости, солнца, смеха. Но зато в ней не было сомнений, шатаний, борьбы с собой. Если б спросить его – была ли его жизнь счастливой, он должен был бы ответить честно: «Нет». Но если б спросить его – была ли его жизнь правильной, с той же честностью он мог бы ответить: «Да». Правильная жизнь не должна быть счастливой,

счастливая жизнь не может быть правильной… Такова стержневая форма «свифтианства»; таким хотел он видеть урок, назидание, завещание своей жизни…

С этим завещанием – оно провозглашено уже в «Сказке бочки» – начинает он «Путешествие в некоторые отдаленные – страны мысли и чувства Джонатана Свифта, сначала исследователя, а потом воина в нескольких сражениях»; об этом завещании рассказывает он в каждой своей книге, а особенно в той, которая называется: «Путешествия в некоторые отдаленные страны света Лемюэля Гулливера, сначала хирурга, а потом капитана нескольких кораблей».

В его веке, в его среде то были действительно путешествия в отдаленные страны. Конечно, нельзя сказать, что Свифт, подобно Гулливеру, был единственным, кто их посетил. Некоторые открыли подобные и схожие страны до него. Свифт, по-видимому, не знал о существовании Спинозы, не видел ни одной строчки, им написанной, хотя «Богословско-политический трактат» был опубликован в 1670, а «Этика» – в 1678 году. Но тем более разителен тот факт – несомненный, хотя и не замеченный ранее, – что оба путника странствовали в одной и той же стране, пили воду из одного ручья, обращали свой взгляд к одному и тому же солнцу мысли и познания. Не зная того, Свифт повторял и развивал в своих политических и церковных памфлетах многие положения «Богословско-политического трактата» (полемика с Гоббсом, отношение к государству и власти, роль и значение религии). И какое же количество схолий и теорем спинозовской «Этики» фигурирует, гениально воспроизведенное, в «Гулливере»… Стержень учения Спинозы – отождествление разума и добродетели – он же и лозунг Свифта; Спинозовская критика «страстей» воссоздается у Свифта яростной сатирой против одержимости, глупости, порока. Но Спиноза жил жизнью и счастливой и правильной: потому, конечно, что он не думал о «совершенствовании рода человеческого» в свифтовском смысле.

Но одиночество Свифта в его «путешествиях» было гораздо более подчеркнутым, непримиримым и принципиальным, чем одиночество всех тех, кто посетил «отдаленные страны» до него или в его эпоху. Не хотел или не умел он видеть тех, кто в его время, рядом с ним вступал на путь гуманистического познания жизни и человека, – Ньютон, Бойль, Толанд, Коллинз – большие, славные имена… Но к ним – подлинным его товарищам на пути гуманизма – не знает Свифт иного отношения, кроме гнева и насмешки.

А скольких из современников-спутников он просто не знал, не

нашел… В 1721 году уже вышли «Персидские письма» Монтескье, и опять разительны совпадения между сатирой Монтескье и «Гулливером». Целых пятнадцать лет после выхода «Писем» жил еще Свифт полной умственной жизнью, но нигде в его работах, письмах, беседах нет и намека, что он не то что читал, а хотя бы слышал об этой книге.

Случай, печальный случай.

Но только ли случай?

Духовное одиночество Свифта, пребывание его вне гуманистического движения и Англии и Европы первой трети века обусловлено причинами, лежавшими вне воли Свифта. Но в какой-то мере он сам и намеренно создавал свое одиночество, особенно в дублинские годы. Ибо было это духовное одиночество важнейшим элементом правильной жизни, которая не могла быть счастливой.

Свифт хотел быть одиноким.

Одинокий и побежденный… Конечно, побежденный: другим он не мог себя чувствовать. «Теперь я навсегда покончил с этими фантастическими планами» – таково признание уставшего путника поздним вечером, признание о планах, рожденных на утренней заре, таков итог «путешествий». Нужно ли признание более четкое итог более красноречивый?

Одинокий и побежденный. Не примирившийся. Не пожалевший о счастливой жизни за счет правильной жизни. Оставшийся человеком «сурового негодования» – до последнего вздоха.

Есть у Свифта небольшая сатира-притча: «Судьба священника». Литературные достоинства ее невелики, и в ней как будто отсутствует целевая установка, свойственная всем его произведениям. Просто и бесстрастно Свифт рассказывает о двух приятелях, одновременно окончивших университет и вступивших в жизнь, но пошедших по совершенно различным путям. Один был в ладу с миром и людьми, и жизненный путь его был легок и блестящ, хотя нельзя его было назвать ни талантливым, ни честным человеком. Талантлив и честен был другой, но жизнь обошлась с ним сурово, ибо он не умел обходиться с ней. И все отчаянные его попытки найти достойное его место в жизни кончились плачевным крахом.

Надежды оказались разбитыми, и он окончил свой путь одиноким священником в глухой дыре…

Нетрудно заметить в этой притче несмелую попытку рассказать самому себе о своем будущем. Свифт знал, что его жизнь будет трудной жизнью, несчастливой жизнью. Но именно ею он гордился. В этой

мужественной гордости пафос поэмы – «На смерть д-ра Свифта».

Побежденный, но не раскаявшийся.

И если б спросить его поздним вечером жизни: избрал бы он другой путь на утренней заре, – ответ был бы короток и односложен: «Нет!»

А потому

ЗДЕСЬ ПОКОИТСЯ ТЕЛО ДЖОНАТАНА СВИФТА, ДЕКАНА ЭТОЙ КАФЕДРАЛЬНОЙ ЦЕРКВИ, И СУРОВОЕ НЕГОДОВАНИЕ УЖЕ НЕ РАЗДИРАЕТ ЗДЕСЬ ЕГО СЕРДЦЕ.

ПРОЙДИ, ПУТНИК, И ПОДРАЖАЙ, ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ТОМУ, КТО РЕВНОСТНО БОРОЛСЯ ЗА ДЕЛО МУЖЕСТВЕННОЙ СВОБОДЫ.

Подражай мне, если можешь. Подражай, хотя был я побежден в борьбе. И я должен был быть побежден, и каждый, кто мне подражает, будет побежден, ибо такова участь нормального человека в ненормальном мире, такова судьба людей «сурового негодования». Я вышел в путь на заре, вооруженный любовью к разуму и свободе, долог и труден был мой день; и теперь, на пороге ночи, я знаю, что никуда не пришел, я знаю, что никуда не мог прийти в этом мире… мое сердце разодрано, но я не раскаиваюсь, я одинок, но не раскаиваюсь, я побежден, но не раскаиваюсь. Подражай мне, если можешь.

Свифт ошибся.

Он не был побежденным, он победил.

Победил потому, что теперь, спустя два века, именно теперь, как никогда раньше, Свифт воинствует, Свифт жив, и завещание его жизни читается как призыв к борьбе.

Весь земной шар стал ныне полем борьбы за разум, достоинство и свободу человека, за правильную и счастливую человеческую жизнь, и в этой борьбе совершенствуется человеческий род. Борьба идет до конца: до уничтожения омерзительных еху, оскверняющих звание человека, тех еху, против которых направлено и сейчас свифтовское слово-кинжал, которых и сейчас хлещет гневная сатира, которые именно сейчас сжигают на своих кострах сочинения Свифта. В рядах борющихся место Свифта: он жив, он воинствует, он с нами, с теми, кто победит.

И если б мог это знать и предвидеть Джонатан Свифт, одинокий путешественник в прошлом, боец в рядах теперь, – улыбнулся бы он перед

смертью радостной, гордой улыбкой, которой так редко приходилось улыбаться ему в его долгой и трудной жизни.

---

notes

Примечания

1

В статье цитаты из Свифта приводятся в позднейших переводах, не всегда совпадающих с переводами, которые давал в свое время М. Левидов.

2

ваш брат *(фр.)*.

3

разумное животное *(лат.)*.

4

animal rationale – разумное животное.

5

rationis capax – способное быть разумным.